Максим Горецкий

Родные корни

Избранное

Минск
Издательский дом «Звязда»
2014

УДК 821.161.3-3
ББК 84 (4Беи)-44
Г67

Предисловие *Михаила Кенько*

Перевод осуществлен по изданиям:
Гарэцкі, М. Збор твораў: у 4 т. / М. Гарэцкі. — Мінск: маст. літ., 1984. — 1 Т. — 1985 — 3 Т.
Гарэцкі, М. Творы / М. Гарэцкі. — Мінск : Маст. літ., 1990.

Выпуск издания осуществлен по заказу Министерства информации Республики Беларусь

Горецкий, М. И.
Г67 Родные корни : избранное / Максим Горецкий ; пер. с белорус. И. И. Кононец ; предисл. Михаила Кенько. — Минск : Звязда, 2014. — 352 с.
ISBN 978-985-7083-60-2.

Настоящее издание предназначено познакомить с наиболее значительными произведениями писателя. В том числе с теми, путь которых к читателю был наиболее длительным и сложным.

УДК 821.161.3-3
ББК 84 (4Беи)-44

ISBN 978-985-7083-60-2

«Словом возрождать человека...»

Максим Иванович Горецкий (1893–1938) — один из классиков белорусской литературы, писатель, критик, литературовед, переводчик, журналист, краевед, этнограф. Он успел за свою недолгую жизнь (45 лет) сделать очень много в самых разных областях человеческой деятельности, в сфере культуры и науки. Если бы его жизнь не была трагически оборвана, он сумел бы сделать очень многое для белорусской культуры. Но и то, что он смог создать в крайне неблагоприятных для жизни и творчества условиях, впечатляет. Он стал основателем белорусской художественной прозы, открыл, проложил путь, предвосхитил новые направления в ней, которые позже осваивались не одним поколением. Это был художник провидческого таланта, всецело преданный идее национального возрождения.

Родился Максим Иванович Горецкий 18 февраля 1893 года в деревне Меньшая (ныне Малая) Богатьковка на Могилевщине в небогатой крестьянской семье. Учился в начальной школе в Большой Богатьковке, затем в Вольше. После окончания в Вольшанской школы учительских классов он мог стать учителем, но не захотел останавливаться в своем желании «мудрость книжную познать» и решил продолжить образование в Горецком землемерно-агрономическом училище, где обучение было бесплатное. Годы учебы он использовал для основательного пополнения знаний, много читал. Тогда же у него пробудилось и желание писать.

Начинал он с небольших заметок для газеты «Наша ніва». Туда же отправил написанный в декабре 1912 года свой первый рассказ «В бане», который в январе следующего года был напечатан под псевдонимом Максим Белорус. Следом появились новые рассказы. В 1914 году вышел первый сборник прозы Максима Горецкого «Рунь» («Зеленя»).

В это время молодой писатель работал землемером на Виленщине, мечтал продолжить учебу. Однако настала пора отбывать воинскую повинность, и он записался в качестве вольноопределяющегося (добровольца) в царскую армию. Вольноопределяющиеся получали право служить на год меньше. Но вскоре началась Первая мировая война. Максим Горецкий участвовал в боях в Восточной Пруссии, был тяжело ранен, лечился, потом был направлен в Павловское военное училище, служил в Иркутске, Гжатске, а в 1916–1917 годах он снова на фронте, воевал в районе Пинских болот.

В тяжелых условиях войны, в окопах он находил время и возможность вести дневник, в котором записывал свои фронтовые наблюдения. Позже на их основе будут созданы документально-художественные записки «На империалистической войне».

В 1917 году М. Горецкий тяжело заболел, был эвакуирован в Орел, затем лечился в Железноводске. Подлечившись, вернулся в Смоленск, работал в газете «Известия Смоленского Совета», хотел продолжить учебу в Смоленском археологическом институте. Но его пригласили работать в газету «Звязда», редакция которой переехала в начале 1919 года в Минск, а после объявления Литовско-Белорусской республики — в Вильнюс.

Во времена оккупации Вильнюса польскими войсками Горецкий не прерывает своей литературной и общественной деятельности. Он был преподавателем в Виленской белорусской гимназии, читал лекции также на белорусских учительских курсах, потом стал редактором-издателем газет «Наша думка», «Беларускія ведамасці», писал рассказы, статьи, одновременно с этим работал над монографией «История белорусской литературы». В 1922 году был арестован польскими властями, затем выслан, жил в Ковно, Двинске, вернулся в Вильнюс, а в октябре 1923 года переехал

в Минск. Здесь он работал преподавателем на рабфаке Белгосуниверситета, принимал активное участие в общественной и литературной жизни. Заинтересовавшись судьбой белорусов-переселенцев, в 1926 году Максим Горецкий ездил по железной дороге в Сибирь и на Дальний Восток, вел по пути записи, которые легли в основу цикла «Сибирские сценки». В 1926–1928 годах работал в Белорусской сельскохозяйственной академии в Горках, затем стал ученым специалистом Института белорусской культуры (Инбелкульт).

В июне 1930 года Максим Горецкий был арестован, по обвинению в принадлежности к не существовавшей на самом деле организации «Союз освобождения Белоруссии» осужден на пять лет и сослан в город Вятку. Ему было запрещено заниматься преподавательской работой. Пришлось перепробовать ряд новых специальностей — от землекопа до техника-калькулятора. И все же Максим Горецкий, несмотря на то, что высылка лишила его возможности осуществить многие планы, которыми он тогда жил, не оставил литературного творчества. У него не было нормальных условий для того, чтобы писать, как и надежд на то, что написанное будет когда-либо напечатано. Но и в этих неслыханно тяжелых условиях Горецкий пишет роман «Виленские коммунары», обрабатывает материалы к «Комаровской хронике» — большому документально-художественному произведению о жизни нескольких поколений одной семьи от времен крепостничества до современности.

В 1935 году, казалось бы, наметились изменения к лучшему в условиях жизни ссыльного Горецкого. Он переехал с семьей в городской поселок Песочня (ныне Калужской области), начал работать учителем. Но в страшном 1937 году, когда особенно свирепствовали репрессии, Горецкий снова был арестован.

Семья получила извещение, что он умер 20 мая 1939 года в КомиАССР (на самом деле — расстрелян 10 февраля 1938 года в Вязьме).

Жизнь Максима Горецкого оборвалась в сорок пять лет. Талант писателя был в самом расцвете. Он имел много замыслов, планов, интересов в самых разных сферах деятельности. Однако то, что сохранилось из написанного им, что

чудом удалось сберечь из рукописного наследия благодаря усилиям его родных, показывает, какой весомый вклад он внес в белорусскую литературу.

Отвечая на анкетный вопрос о профессии, М. Горецкий писал, что он считает себя «литератором, педагогам и научным работником». Действительно, это были основные направления его деятельности. Основные, но не единственные. Он был автором не только многочисленных рассказов, пьес, повестей, романа и незавершенной «Комаровской хроники», но и «Истории белорусской литературы», которая при жизни автора переиздавалась четыре раза и долго была, пожалуй, единственным учебником, в котором прослеживался путь белорусской литературы от древности до современных Горецкому дней. В 1992 году издательством «Мастацкая літаратура» она переиздана в пятый раз.

Большое значение Максим Горецкий придавал и делу взаимосвязей литератур, сам способствовал более широкому ознакомлению народов-соседей с белорусским художественным творчеством. Об этом свидетельствует изданная им на польском языке брошюра «Краткая запись истории литературы белорусской», статья «Белорусская литература. Краткий очерк», опубликованная в 1928 году на русском языке в журнале «Октябрь» и на украинском в журнале «Красный путь».

Максим Горецкий — один из составителей хрестоматий по белорусской литературе, а также русско-белорусского и белорусско-русского словарей. Он записал около трехсот песен, которые знала его мать, издал их отдельной книжкой. На первом Всебелорусском краеведческом съезде в 1928 году выступил с докладом «Собирание и обработка фольклора».

Перечисленное представляет собой лишь одну, научную, сферу его интересов, в которой он выступал часто первопроходцем, и притом не дилетантом, а глубоко знающим специалистом.

Многосторонность интересов Максима Горецкого показывает, какой необычной, чрезвычайно талантливой личностью он был. Но прежде всего Максим Горецкий — самобытный писатель. Его рассказы, повести «Две души», «В чем его обида?», «Меланхолия», «Тихое течение», записки

«На империалистической войне», романы-хроники «Виленские коммунары» и «Комаровская хроника» по праву занимают самое почетное место в белорусской литературе.

Горецкий вошел в литературу сразу как зрелый мастер. Его первые произведения и сейчас стоят среди классических образцов новеллистического жанра, им не делается скидок как «ранним», «ученическим». У Горецкого не было периода творческого ученичества, не было произведений подражательных. Были среди его первых рассказов менее и более совершенные, слабее и сильнее, но не было незрелых, проходных.

Такая «внезапная» творческая зрелость и сегодня впечатляет. Кажется странным, как мог двадцатилетний юноша так быстро впитать в себя опыт созданного в литературе до него и как точно определял он для себя свою тему, смог быстро найти свой голос. Однако было именно так. Не в университетах, гимназиях, а в начальной школе, училище, а наиболее путем самообразования Максим Горецкий приобрел широкую литературную эрудицию, которая помогла ему найти свой путь в литературе. Но не только и не столько это питало его талант, сколько то, что шло от родной земли, народного опыта, народного творчества. С детских лет М. Горецкий внимательно прислушивался к родному языку, полюбил народные песни, предания, сказки. Навсегда вошла в его творчество родная Богатьковка. В начале своей писательской работы он, видимо, еще не осознавал, что родная деревня, история своей семьи, своего рода будет для него неисчерпаемым источником творчества. «Клочок родной земли размером с почтовую марку заслуживает, чтобы о нем писать, и не хватит жизни, чтобы сказать о нем все», — утверждал американский писатель Уильям Фолкнер. Эти слова можно полностью отнести и к творчеству М. Горецкого, в котором важное место занимает отражение прошлого и настоящего, судеб нескольких поколений его земляков.

Рассказы М. Горецкого, печатавшиеся в «Нашай ніве» в течение 1913–1914 годов, вошли в первый сборник прозы писателя — «Рунь», изданный в 1914 году в Вильно в типографии Мартина Кухты Белорусским издательским обществом.

Сборник был замечен читателями, которые следили за развитием молодого белорусского литератора. К нему благосклонно отнеслась и критика. Академик Е. Ф. Карский в книге «Белорусы» (т. III, выпуск III, Петроград, 1922) проделал весьма подробный анализ произведений, вошедших в книгу, и увидел в лице М. Горецкого писателя с большим будущим: «...в них [рассказах] есть все данные, чтобы из автора со временем развился хороший писатель с самородным талантом».

В рассказах внимание Максима Горецкого привлекал духовный мир человека, который вырос на земле, был воспитан на прадедовских традициях и обычаях, и писатель пытался разобраться — что из многовекового жизненного опыта было направлено на утверждение благородного в людях, а что шло от предрассудков, забитости и пробуждало самые низменные, отвратительные стороны человеческой натуры. Исследуя поступки и поведение героев, М. Горецкий даже в ранних рассказах «Большое и мелочи», «Похороны», «Все проходит», «Скрипочка» показывает человека, поставленного в тяжелые условия, но уверенного в том, что лучшие времена для него еще наступят.

Ряд рассказов М. Горецкого из сборника «На рассвете» (1926) — о том, как калечит людей жажда богатства, ощущение своей власти над другими. Писателя интересует, как пробуждают в человеке низкие устремления, лишают надежд на радость, счастье сословные, религиозные условности, предрассудки, ограниченность духовного самовыражения, убожество жизни.

Но не только мрачное, темное видел писатель в той, прежней, жизни. Он показал, что издавна жило в народе и высоко ценилось благородство души, что человек в самых тяжелых обстоятельствах проявляет свои лучшие чувства — достоинство, честность, справедливость. Словно на крайних полюсах разграничения высокого и низкого в человеке стоят рассказы «Дурная голова» и «Присяга». Первый — о духовно искалеченном человеке, который с легкой душой бездумно согласился поднять руку на таких же крестьян, как и сам, и не испытывал при этом никаких угрызений совести. В другом рассказе крестьянин Тарас,

спасая людей, преодолел в себе даже извечный страх перед Божьей карой и не выдал подозреваемых представителям власти. Хорошо зная психологию крестьянина, М. Горецкий высоко ставит поступки людей, которые пытаются преодолеть предрассудки, свойственные дореволюционной деревне. В рассказах «Что оно?», «Страх», «Помешанный учитель» он показывает смельчаков, стремящихся своим умом дойти до смысла жизни. И пусть из-за ограниченности мировоззрения, живучести пережитков они не достигают цели, но стремление к свету истины поднимает их в глазах писателя, так же как уступка мракобесию, даже временная, мелкая, решительно осуждается им. Недаром в рассказе «Старый профессор» М. Горецкий вывел образованного человека, ученого, который, пытаясь спасти от смерти жену, изменил своим убеждениям. Интересно, что первоначально рассказ имел счастливый конец, больная выздоравливала, но позже писатель в соответствии с логикой повествования придал трагический оттенок, дал понять, что истина торжествует над предрассудками.

Горецкий отразил в ряде рассказов то, что ему, выходцу из крестьян, было особенно близко, — поиски истины деревенской молодежью, которая только-только начала тянуться к свету знаний и, задумавшись над проблемами жизни и смерти, смыслом человеческого существования, преодолевает в себе суеверное, отжившее. Среди них такие персонажи, как студент-медик Архип Линкевич («Родные корни»), учитель Якуб Тимохович («Помешанный учитель»), которые мучительно ищут ответы на особенно волнующие их мысли о смысле жизни. Преодолевают предрассудки и пытаются уже как-то вывести из тьмы своих односельчан, крестьян Клим Шамовский («В бане»), Константин Зарембо («В чем его обида?»), учитель Лексей Лексеевич («Зима»). Так в творчестве Максима Горецкого тема жизни белорусского крестьянства в дореволюционную пору переплетается с темой народной интеллигенции, темой поисков смысла жизни. М. Горецкий не мог не показать отрицательных проявлений поверхностно понятых понятий об образованности, интеллигентности как проявления отчуждения от народа. Если Клим Шамовский или

Константин Зарембо болезненно переживают отчуждение от родственников, односельчан, которое стало ощущаться после того, как они некоторое время пожили в другой среде, получили определенное образование, переживают из-за того, что не могут ничего сделать для них, то учитель Лексей Лексеевич уже пытается как-то действовать.

Максиму Горецкому было присуще обостренное чувство хода истории, исторического развития человечества, и он в своем творчестве хотел отразить явления, связанные с людскими судьбами во времена, которые вели к коренной ломке извечных представлений о мире, понятий добра, справедливости, совести. Он начал изучать историю человеческой души с близкого ему времени, постепенно углубляясь в те времена, свидетелями которых были его старшие родственники, пытался показать и более далекое прошлое, снова возвращался в настоящее, чтобы отразить события, проходившие перед его глазами.

Среди высших достижений М. Горецкого в 1915–1926 гг. — произведения, в которых отражались впечатления участника войны: «Литовский хуторок», «Генерал», «Русский», «На этапе», записки «На империалистической войне». В них автор выступает как гуманист, он протестует против убийства человека человеком, против превращения войны в игру судьбами миллионов простых людей, не имеющих друг к другу никакой вражды. Горецкий насмотрелся на то, что принесла бессмысленная бойня воюющим народам, убедился в безнравственности взаимного уничтожения народов, приобретений их материальной и духовной культуры. По своему антивоенному пафосу, отрицанию безжалостного уничтожения людей во имя чуждых им интересов записки «На империалистической войне» Горецкого стоят на уровне лучших мировых произведений о Первой мировой войне.

Нельзя не вспомнить, что Первая мировая война во всей советской, да и мировой литературе больше отражена в документальных, чем в художественных произведениях. Но и документальных книг было немного. Была популярной изданная в 1972 году переводная книга американской писательницы Барбары Такман «Августовские пушки», «Пер-

вый блицкриг. Август 1914», были биографические книги о генерале Брусилове, прославленном летчике Нестерове. В советской исторической литературе эта война на протяжении всего периода считалась «реакционной», тема войны почти не исследовалась, упоминались в основном антивоенные демонстрации, дезертирство, нежелание рабочих воевать в интересах царя, помещиков и капиталистов. К тому же в литературах народов СССР она была как бы заслонена событиями революции 1917 года и Гражданской, а потом Великой Отечественной войны. В западноевропейской литературе есть высокохудожественные, впечатляющие произведения о Первой мировой войне Эриха Марии Ремарка, Анри Барбюса, Ганса Фаллады, Бернгарда Келлермана, Вольфганга Борхерта, Генриха Бёлля, Ричарда Олдингтона, в японской — Оока Сёхэя. Если бы не обособленность белорусской художественной литературы от мировой, «железный занавес» советских времен, то рядом с этими произведениями могла бы занять почетное место книга Максима Горецкого «На империалистической войне». Она названа так в духе тогдашней советской идеологизированной историографии: к началу Второй мировой войны Первая называлась «империалистической». Эта война также считалась несправедливой и захватнической, но не трактовалась как война идеологий. Писательство Горецкий воспринимал как призвание, дело всей жизни. Поэтому и на войне он, не имея возможности творить, вел дневник, который впоследствии обработал и издал под названием «На империалистической войне. (Записки солдата 2-й батареи N-ской артиллерийской бригады Лявона Задумы)». Дневниковая форма как основа обеспечила «Запискам...» особое доверие ко всему написанному, подчеркнула невыдуманность, предельную правдивость во всем, что автор представил на суд читателя. А художественность произведению придали умение автора выделить во всей многоликости событий наиболее значимое для него, типичное, характерное. Поэтому это произведение так сильно впечатляет во всех отношениях — и правдой описанного, и эмоциональным восприятием самим автором, непосредственным участником запечатленных им событий

фронтовой жизни. Максим Горецкий неизменно обращает свое внимание на то, как война отразилась на судьбах людей, как повлияла она не только на их дела и поступки, но и на самосознание, на осмысление ими войны, своей жизни, отношений гражданина и государства. В «Записках...» читатель найдет немало интересного, особенно тот, который пытливо ищет невыдуманную правду событий, хочет почувствовать дух времени.

Перу Максима Горецкого принадлежит ряд небольших пьес, представляющих собой иногда скорее рассказы в форме диалогов, чем сценические произведения. К ним относится и пьеса «Шутник Писаревич». Это автобиографическое произведение, прототип его главного героя — сам автор. Действие связано с началом Первой мировой войны, рассказывается о беженцах, их мытарствах. Ни до, ни после него эту тему никто не разрабатывал. Горецкий «застолбил» многие темы в своих произведениях, некоторые из них до сих пор никто не попытался освоить. Так, он первый и единственный показал жизнь белорусских эмигрантов в Америке в рассказе «Американец». Тема миграции белорусов в Сибирь в поисках лучшей жизни, описанная в цикле новелл «Сибирские сценки», также до сих пор не подхвачена никем из белорусских писателей. В ряде рассказов он затронул тему взаимоотношений верующих православной и католической конфессий, проблему веротерпимости, в то время как советские писатели в своих произведениях переключились на пропаганду атеизма, клеймили религию. В последних по времени написания лирических миниатюрах «Лявониус Задумекус» (1931–1932), «Кипарисы» и «Сокровища жизни» (1932–1935, 1937?) Горецкий с потрясающей силой передает ощущение трагизма жизни репрессированного писателя, задолго до наших современников, еще во времена тоталитаризма, положив начало теме ГУЛАГа.

Интересовался Максим Горецкий и той историей, которая делалась и уходила в вечность на его глазах. Запечатлевая эпизоды прошлого и современного Беларуси, писатель затронул и некоторые болевые точки, о которых совсем еще недавно было запрещено вспоминать.

Поэтому и не вошли в достаточно полное собрание сочинений М. Горецкого в 4-х томах, изданное в 1984–1986 годах, рассказы «Песни лирника», «В 1920 году», «Фантазия», «Апостол», «Неудача», «Всебелорусский съезд 1917-го года». Первый из них напечатан в сборнике «Рунь» и был единственным произведением, которое более чем пятьдесят лет после первой публикации не переиздавалось. Упомянута в нем старая легенда о княжне Анне Соломерецкой, которая предала свою родину. Эта легенда затрагивала межнациональные отношения. Слова проклятия, сказанные вдогонку беженке старым священником, в представлении цензоров были крамольными. И повествование, в котором ставилась тема национальной независимости, неизбежно попадало в ряд непечатаемых. Рассказ «В 1920 году» восстанавливал некоторые обстоятельства времен Гражданской войны. Персонажи этого произведения размышляют о судьбе Беларуси, о том, что им делать в том положении, когда «с одной стороны большевики, с другой поляки». Да уже одно то, что в рассказе упоминается о «взятке большевику», о гимне «Испокон веков мы спали», даже самим текстологам, готовившим произведения Горецкого к изданию, не предоставляло никаких шансов на то, что это произведение может увидеть свет. А то, что писатель по горячим следам событий стремился осмыслить вопросы национальных отношений в условиях территориального и идейного размежевания в Беларуси, обостренного войной, во внимание не принималось. Не вписывался этот рассказ в привычный ряд произведений о Гражданской войне, созданных по установленным шаблонным схемам. Так же как не вписывался в традиционно положительный, непорочный облик коммуниста персонаж рассказа «Незадача» «временный комиссар N-ской фронтовой чрезвычайной комиссии в деле борьбы с контрреволюцией, спекуляцией и дезертирством товарищ Батрачонков» или «пламенный коммунист и давний поборник белорусского движения товарищ Курапа» из рассказа «Апостол», которые показаны во время их поездок «в народ» с целью «просветить» его. Но это было совсем не то просвещение, о котором мечтал писатель. Хотя Горецкий показал этих деятелей в несколько карикатурном облике,

но подмеченные им черты того, что мы сейчас называем перерождением, двойственностью сознания, двойной моралью, демагогическим догматизмом мышления, оторванностью от реальности, явлениями, так ярко проявившимися в среде партийной номенклатуры, оказались ядовитой сатирой на пороки новой власти, истоки которых Горецкий увидел еще в самом начале 1920-х годов. Рассказ «Фантазия», впечатляющий пронзительно-тоскливым настроением, с которым Горецкий размышляет о судьбе Беларуси во времена ужасной войны, не разрешалось печатать по той причине, что среди деятелей белорусского возрождения назывались Иван Луцкевич, Алесь Гарун, Сергей Полуян и некоторые другие писатели, причисленные к тем, кого уничижительно называли «бебурнацами» — белорусскими буржуазными националистами.

«Две души» — повесть, написанная в 1918–1919 годах, рассказывает о недавно прошедших бурных событиях. Горецкий не стал ждать, пока годы революции и Гражданской войны увидятся издали, с расстояния, он поспешил отразить это смутное время в актуальном для читателя произведении. Повесть также не переиздавалась долгие годы, в ней увидели якобы искаженное изображение революционных идей, которыми руководствовались большевики, между тем как Горецкий провидчески уловил в самом начале негативные тенденции, которые получили развитие впоследствии.

Повесть «Тихое течение» (1918) — одно из наиболее зрелых, значимых, высокохудожественных произведений Максима Горецкого. Через историю жизни мальчика Хомки от его рождения до трагической гибели во время Первой мировой войны Максим Горецкий показал исторически достоверную картину жизни белорусского села в начале двадцатого века. Тонкий психологизм, наблюдательность, чувство времени привлекают в этом произведении.

Повести «В чем его обида?» (1925–1926), «Меланхолия» (1916–1921, 1928) и документально-художественное произведение «На империалистической войне» (1914–1915, 1919, 1925, 1926) отождествляются с эпизодами биографии писателя, связаны они и сквозным образом

главного героя — Лявона Задумы. Они имеют сложную творческую историю. Повести берут свои истоки из рассказов «В бане», «В чем его обида?», «Как Лявон ходил на почту», «В роще», которые потом были органично вплетены в ткань повествования.

Неоднократно пересматривал М. Горецкий и план композиции записок «На империалистической войне», позднее они были даже включены в «Комаровскую хронику». Был у Горецкого также замысел написать роман «Крест», в который вошли бы обе повести. А позднее его целиком захватила идея создания еще более широкого эпического полотна, в котором был бы выведен не только Лявон, но и весь род Задумов на историческом отрезке от глубины веков, от времен крепостничества до современных писателю дней («Комаровская хроника»). Образ Лявона Задумы имеет автобиографическую основу, на нем писатель решал проблему, особенно его волновавшую. Он сам вышел из крестьянской среды и очень хотел всем, чем мог, поспособствовать тому, чтобы деревня избавилась от первозданной тьмы невежества, необразованности. Лявон Задума в повестях «В чем его обида?» и «Меланхолия» проходит весьма сложный путь от болезненного ощущения своей отчужденности от той среды, из которой он только-только вышел, став учеником землемерного училища, до отчаяния и осознания того, что он не может ничего сделать, чтобы улучшить условия жизни людей. Это отчаяние едва не приводит Лявона к самоубийству. Но поездка в родную деревню отвратила его от этого. Герой приходит к мысли, что он, один из тех немногих, кому в те годы удалось приобрести образование, вырваться из мрака к культуре, не должен губить свою жизнь, ему надо жить и отдавать все силы и способности осуществлению своей цели.

Творчество Максима Горецкого долгое время было неизвестно читателям даже в пределах Беларуси. С 1930 года, когда он был безосновательно репрессирован, и до 1960-х годов написанное Горецким не переиздавалось. Только в 1960 году был издан небольшой сборник «Избранное», в который вошли отдельные рассказы и повесть «Тихое течение». В 1965 году увидел свет его роман «Виленские коммунары», а в 1973-м был

подготовлен двухтомник избранных произведений. В 1984–1986 гг. было издано четырехтомное собрание сочинений, куда, однако, вошло далеко не все из созданного писателем. Изменения, произошедшие в общественной жизни Белоруссии после 1985 года, вызвали к жизни еще один том — «Произведения» (1990), где помещены повесть «Две души», рассказы, пьеса «Шутник Писаревич», литературно-критические статьи и публицистика — многое из того, что раньше не представлялось возможным напечатать.

Михаил Кенько

В БАНЕ

Ученик последнего класса землемерного училища, казенный стипендиат Клим Шамовский, к Рождеству приехал домой и уже вторую неделю жил под отчим кровом в родной деревне Мордолысове.

Как раз в тридцать первый день декабря, перед Новым годом, дядька Якуб, закончив мять пеньку, натопил баню, которых в Мордолысове на двадцать пять дворов имелось даже две.

Вечером Климов брат Порфирий напоил коня, покормил скотину и, придя в хату, стал собираться в баню. Отыскав опорки, он сел на чурбачок переодевать лапти и заговорил:

— Дядька баню уже истопил. Готова. Собирайтесь поживее. Ты, папа, бери ведро да иди; тем временем и я с парнями подойду; надо за вениками на чердак слазить. А чего это Клим сидит? Иль ты не пойдешь сегодня в баню? — спросил он брата.

Клим положил на полочку «Низшую геодезию» Бика и «Песни скорби» Якуба Коласа, которые держал в руках, о чем-то задумался, откинул со лба свои длинные волосы и, немного помолчав, ответил:

— Я и сам не знаю, идти мне или не стоит. Сколько уж лет я не бывал в ваших банях, отвык. Но помыться сегодня не мешало бы: тело начинает чесаться.

— Что это ты, Климушка, — заговорила мать. — Почему б тебе не сходить в баню? Правда, грязноватая она, воды

теплой совсем нет, а холодная в полынье на канаве сильно мутная, но все ж, как бы то ни было, попаришься, косточки свои погреешь, может, и на душе у тебя немного полегчает. Иди, иди, сынок.

Отец надел кожух, сунул ноги в дырявые валенки и подождал, пока Клим вынимал из кармана ключики, ножик, кошелек с деньгами и старыми перьями «рондо»*, чтобы не потерять это добро в бане.

— Скорее! — поторапливал его малолеток-пузырь брат Савка. И Клим, отцепив карманные часы, надел материнский кожушок и вышел из хаты.

Баня находилась за гони**. Пар — баня, легкий дух!..

Один из парней-подростков, пришедших туда раньше Савки, в тон к его приветствию прибавил несколько слов, а к слову «дух» складно отмочил такое словцо, что дед Кузьма обозвал его сыном известного всем брехливого существа.

Отец Клима пошел к полынье, осторожно зачерпнул краешком ведра, чтобы совсем не взбаламутить, и так мутную, со льдом воду, опустил в нее березовый веник, чтобы размяк и его легче было распарить, и, согнувшись под тяжестью ведра, побрел в баню вслед за Климом. А тот, увидав там и раздевавшихся стариков, и уже вдоволь напарившихся и отдыхавших на мялках***, сказал:

— Добрый вечер! — и огляделся вокруг, где бы ему пристроиться.

— Милости просим! — ответил ему солдат Захар Какста.

— Копеек на восемь, — добавил какой-то шутник.

— Присаживайтесь, вот тут удобное местечко, Клим Романович, — заговорили голые бородатые «мужи» из темноты, так как свет в предбаннике зажигать, должно быть, не посчитали нужным и устраивались кто как мог впотьмах.

Предбанник был сплетен из прутьев, и сквозь щели дул ветер. Под ногами — льняная костра. Возле стен лежали, раскорячив опоры, самодельные мялки. Климу было неуютно, баня казалась грязной, замызганной.

Из парилки то и дело выскакивали красные, как раки, довольные любители попариться. Оттуда доносился гул…

---

* Рондо — перо с тупым концом. (Здесь и далее примечания переводчика.)

** Гони — мера длины в 60–100 саженей.

*** Мялка — самодельное приспособление, на котором мяли лен, коноплю.

«Кто их знает, как они тут моются», — думал Клим, выискивая местечко, где бы пристроить кожух.

Старики толковали о том о сем, говорили, кто сколько шпал от еврея свез к реке Вяхре, обсуждали иные дела.

«Но что ж это я? Разве я сам не родился в Мордолысове, разве сам не купался в этой грязи, не видел всякой неопрятности? — так думал Клим. — Нет, я не злюсь, что это со мной?..» И вошел в баню.

Глаза стал разъедать дым. Ногам было холодно на грязном студеном земляном полу. Головой ударился о шест. Наверху жарища, как в пекле. Ничего невозможно было рассмотреть.

Жах, жах, жах, жах… — работали веники.

— Ого-го-го-го! — гоготал кто-то, взбираясь на поло́к. — Поддай, поддай… Еще горсточку воды… плесни полкружечки на печь. Братцы, не пожалейте полковшика… Духу мало, духу нет, эй, духу!

Аж стон носился в бане. А Климу думалось: «Полнехонька баня людей: повернуться негде». Внизу в грязи — малышня. Один из них плакал от дыма или еще от чего-то, тер глаза кулаками и плескал грязной водой. Но и ее кто-то запретил ему брать, сказав: «Слетай сам, принеси». Другой сидел неподвижно, зажав голову между колен. Кто щипался, кто толкался, кто шутил: нащупав в темноте чьи-то глаза, спрашивал: «Хорошо ли поел?»

— А па-а-почка, ай-ай, ой хва-а-тит! — верещал, насколько хватало сил, малыш, а старательный отец, держа мальчика за шею, с полной уверенностью, что пообвыкнет, горячим, как огонь, веником хлестал его по всему телу.

— Дай спинку, дай животик, еще немножко, ну, ну, ну, глупенький, не плачь; довольно, довольно, не бойся… А то, брат, комлем получишь. Хочешь?.. — наконец разозлился отец и выругался.

А рядом с Климом двое нескладных мальчишек ссорились из-за чего-то.

— Охти мне, охо-хо-о! — чуть живой выкатился в предбанник какой-то дедок.

— Как то было, как то будет — вот те на! — кричал Юрка, и вдруг неожиданно — бах! — выплеснул полнехонький ковш

воды на маленькую печь. Аж камни заурчали, зашипели угли, и с полка́ посыпались, как картошка те, кто был послабее. А более крепкие, стойко продолжая свое дело, усерднее заработали вениками.

— Господи, помилуй! Боже, смилостивься! Миром Всевышнему помолимся, — приговаривал один, в помощь рукам, а второй, третий, четвертый не брезговали и самой грязной бранью. Даже не по себе сделалось Климу от омерзительных слов, носившихся в темном жарком подобии пекла — этой бане.

— Вот когда ошалели мужики! — определил солдат Какста, хлеща себя веником.

Кто-то, разыскивая на шесте свою рубашку, уронил в самую грязь чужие штаны.

— Савка! Сбегай, сынок, за водой; горю, страх как горю... Скорей беги... А ты, Клим, полезай на поло́к, забирайся на него, парься, — зазывал Роман.

Клим полез, обжег ляжку на горячем полку, от дыма текли слезы, и, махая веником, расстроившийся, проклинал и баню, и тех недоумков, кто построил ее такой. «Живут же люди, — думал он. — Лес под боком, евреи у пана отвоевали его за долги и вот уж сколько лет распродают, а крестьяне, ежегодно пропивая рублишки и живя среди леса, имеют баню... чтоб она, этакая-то, прости господи, сгорела в чистом поле».

— Эй, хлопцы, духу поддайте! — из кожи вон лез старый Микита.

— Пользуйся, дядька Микита! Погрейся, — ответил «веселая голова, да гнилые кишки» малец Яхим и — плюх! — полведра воды на печь.

— Холодно! — упорствовал Микита.

— И так горим, — буркнул Клим, сидя возле деда, и лил холодную воду на голову. Он вспомнил, что Панас Микитенок каждый день пьет «ханжу»* как воду... Паном стал наш землемер, нежен слишком Клим Романович, духу боится... А мне, мужику, любо-дорого, — радовался Микита.

«Какого тут черта «паном стал!» — досадовал Клим. — Свиньи, а не люди, — думал он, злясь, пожалуй, на все Мор-

* Ханжа – технический спирт.

долысово. — Я вез сюда книги, чтобы читать им, а они каждый вечер, каждое воскресенье в карты дуются в Микитовой хате, а на книги и внимания не обратили… Еще говорили — умники! — что «некогда им заниматься панским делом». И только этот «святой» Хлимон просил почитать, хотел послушать что-нибудь «божественное», да бабы говорили, чтобы он, Клим, прочитал им «слезно-жалостливое». И куда ни ступишь — везде слышишь дурацкое: «Паном стал, заважничал, загордился».

— Погоди, потерпи, Клим. Порфирий сейчас воды чистой из колодца принесет. Будем обдаваться.

— Хорошо, папа, тут останусь, — сказал он, а сам, уже не в силах выдержать адской жары, пара наверху и одновременно холода возле ног, а также сумятицы, гама, ругани, вышел, как пьяный, в предбанник, схватил одежду и быстро, как справлялись руки, не обдавшись, с прилипшими к телу листьями от веника, стал одеваться.

«Однако грех мне говорить «дурацкое», если это всего лишь темнота», — гвоздем сидела в голове давняя мысль. — «Откуда же знать старому селянину, «крепостному» Миките, что он, Клим, учился не для того, чтобы «загребать» деньги, что он иной, что он не чурается деревни, любит ее и жалеет, как родной сын, что он хочет приложить все силы, чтобы видеть ее трезвой, светлой, довольной жизнью и добросовестной; «паном» он вовсе не стал, как думает Микита… Им легко, — продолжал рассуждать Клим, — прямо в глаза выпаливать мне «паном стал», зная тяжесть своего извечного мужицкого труда, но пусть бы они почувствовали боль моего сердца и печаль души, примака в «панстве» и пасынка деревни, тогда они лучше бы поехали с сохой на родные пашни, чем, оторвавшись от дедовских селений, висеть в новой и непонятной им атмосфере…»

Рубашка не надевалась, пахла чем-то неприятным. Искал и никак не мог найти шапку в раздражающей и досадной темени предбанника.

— Братцы, что ж это такое, я же совсем зазяб: признайтесь, кто взял мои штаны? — хныкал дядька Якуб, снуя из бани в предбанник в одной сорочке. — Кто тут? — споткнулся он о Климовы ноги.

— Я, — ответил Клим, снова впадая в уныние.

Некоторые старики отдыхали, сидя на мялках, другие одевались, обувались. Говорили о Новом годе, вспоминали, что было примечательного в старом. Все, кто шел домой, говорили:

— Тем, кто баню топил, кто воду носил, и всем почтенным господам-хозяевам спасибо за пар, за дух, за хорошую баню. Доброй ночи!

Клим прислушался к равномерному голосу деда Банадыся, похожему на осенний дождь, барабанивший в окна:

— ...А вот, братки мои, истая правда. Слышал я это от самого Панаса Демянка, который служил у одного зажиточного хозяина, однако, не тут будь сказано, у большого колдуна. Но, может, и рассказывать дальше не надобно?

— Да уж рассказывай, рассказывай, — настаивал Микита, — а то клещи принесем, словà из тебя тянуть будем.

— ...Поехал как-то Панас с хозяином за дровами. Приехали в темный густой лес, каких нынче и не сыщешь. Хозяин и говорит ему: «Ты посторожи тут лошадей, а я скоро вернусь», — и ушел куда-то. А Панас, не будь дураком, немного выждал да потихоньку вслед ему подался».

— Клим, вот твоя шапка, — прошептал Савка, надевая жупан* и прислушиваясь к рассказу деда Банадыся.

— ...А хозяин, немного отойдя, — кувырк: через пень перекатился и побежал... И кем? В волка оборотился. «Ага, — думает Панас, — греши богу, вурдалак». Чуть погодя и он перепрыгнул через пень и — ей-правда, не лгу — сам Панас говорил, — и он сделался волком, побежал, но понимал все, как человек. Глянул он вперед, а там хозяин выскочил на поле, схватил барана из стада, да и в лес. Но на бегу увидел он Панаса, догадался обо всем, перескочил снова через пень и превратился в человека. А на Панаса наложил такое заклятье, что тот три года пробегал зверем. Однажды чуть не убили его люди, потому как он, хоть и противно, но, чтоб не умереть с голоду, ел то, что и все звери едят...

Еще продолжал о чем-то говорить Банадысь, но Клим дальше не слушал и ушел из бани.

---

* Жупан – род полукафтана, верхняя мужская одежда.

Был тихий вечер. В высоком небе сияли звездочки, светила скупым светом луна, скрипел под ногами снег. «Завтра Новый год...»

И как-то грустно-грустно было Климу, «заважничавшему», как говорил старый Микита. Мысли плыли, цеплялись одна за другую, роем кружились в голове. «Беларусь, Беларусь, чем ты была и чего ты, наконец, дождалась?» — звенело в одной стороне. «И что с тобой будет?» — возникало в другой.

А звездочки так славно блестели на небе. И скрипел снег... И прилетали откуда-то ритмичные горестные стихи:

Мой родны край, краса мая,
З табой навек расстаўся я!..

И задумался Клим. И по-иному звучали строки:

Мой родны край, краса мая,
З табой навек не ў згодзе я...

Под ложечкой щемило что-то незнакомое.

Мой родны край, як ты ж мне мілы,
Забыць цябе не маю сілы...

И летели мысли. И дрожали струны души дивно-печальным звуком.

Мой родны край, як ты ж мне мілы,
Уцяміць цябе не маю сілы...

«Да, понять, познать, уразуметь никогда не сможешь», — слышался шепот. «Ой ли?.. Что?»

Однако ж не отрекаться, не быть предателем, а любить, почитать родную Отчизну обязан, должен...» — слышался и другой шепот. «Люблю... разве ж не люблю?.. Но страшно оно, родное... чем?..»

И помрачнел Клим, быстрее зашагал по скрипучему морозному снегу. А мысль вдогонку: «Мой родны кут, люблю цябе без меры!» — задергалась, не убегала. Не заболела ли у тебя голова, Клим, после бани? — спросил отец.

— Пройдет, — ответил сын.

ПОТАЕННОЕ

Аж стонет село, аж волки в лесу воют, пугаются, дивятся, даже птицы, на ночь темную глядя, успокоиться не могут — так свадьбу справляют люди добрые.

Танцы идут за танцами. Поют свахи песни свадебные, задушевные — будто сама старина вернулась. Водят хоровод молодые танцоры. Поддает музыка скорби и отваги, и печали и бодрости. Надрывается сердце почему-то. Думы летят дивные.

Гуляют хлопцы и девчата, мужики и бабы, а поздно уже, сумерки наступают, небо темнеет — ночь на землю идет.

Жалобно завыли собаки за селением, гавкнут неизвестно в какую сторону и шмыг! — в хлев с рычанием прячутся или бегут туда, где людей больше.

Кудахчут куры на насестах — может, что-то недоброе чуют?

А солнышко низко-низко. Вот зайдет, закатится оно за Темный Лес, за густой бор и за тихую рощу, и будет ночь. И надвинется ночь какая-то неспокойная, тревожная…

— Ходит что-то невидимое по земле, за гумнами, — говорит старенькая бабуля. — Спрячутся лисы в норы свои, волки в ямы свои волчьи, медведи — в логова, а люди в хатах укроются…

— Не говори ты так, бабка, не говори, милая, страшно мне, — жалуется молодица-сваха, — и надо же нам, надо домой ехать в такую ноченьку…

Так жалуется — тоскует молодица-сваха. Хватит уже и песни петь свадебные. Не до гулянья тут, не до свадьбы этой…

* * *

А собаки лают и воют. И коровы с поля возвращаются — ведет их черная. Да и не все коровушки домой идут: остались некоторые в пуще в этакую-то ночь.

Закатилось красное солнышко.

— Дж!.. Дж!.. — жук прожужжал.

На западе туча необычная черная повисла, висит, поднимается.

— Тру-гу-гу-у-у!.. — гудит по лесам, по мхам, по болотам нехоженым труба берестяная. Созывает, кличет скотину из лесу — только жути прибавляет.

И сразу услышали все, что идут по дороге, по большаку, из-под рощицы, за селением, идут и песню поют то ли старцы какие-то, то ли гуляки заядлые, безмозглые. Слышна лира старцев и псалом стародавний…

Разные бывают старцы… Может, это и не старцы, а будто старцы.

* * *

Потихоньку бежит конек вороной, полегоньку в темноте стучат колеса по корневищам, которые ужами расползлись по дороге от стволов деревьев. Ночной прохладой приятно обвевает головы после хмеля-вина. Еще бренчит в ушах музыка, веселые голоса слышатся.

Тревога и страх еще сжимают сердце молодой свахе, но после шума большого так приятно дремлется. Утихомирилась молодица…

И уже видится ей, как цветут на лугу цветы, чуть колеблются. Стрекочут кузнечики. Возле ореховых кустов земляникой и грибами пахнет. Радостно вокруг!..

И вдруг печаль. Хата… Что-то недоброе происходит там. Старик умирает… Причитает старуха, слезы, как горошины сыплются. Сбоку сын стоит опечаленный. Молча вытирает слезы невестка побледневшая. Умирает дед… И совпала кончина с той ночкой неспокойной. Не к добру это, ой не к добру!

Горестно в хате…

— Голубок ты мой дорогой! — просит старуха старика своего несговорчивого: — Привезем попа, исповедуйся ты…

— На какое лихо мне поп твой! — вот как он отвечает.

— Га-а-у-у! — тревожно воет бедная собака в будке своей во дворе. Выбежит и землю скребет под самым-самым окном — смерть чует. А воет — аж кровь в жилах стынет.

Лежит старик на лавке, от святых икон отворачивается. Почернел, как уголь. И зубами скрежещет от муки предсмертной. Слезы людские ему отливаются.

Настанет час, и явится нечистая сила с вилами своими по душу безбожную.

— Спасите! Спасите! — просит смертник. — Выносите из хаты иконы, — приказывает он старухе своей, — а то я помереть не могу.

— Что ты, что ты задумал, старик?! — простонала она, чуть не обомлев. — Куда твоя душа попадет? Подумал ли ты об этом?! — и начала поклоны бить перед ликами святых.

Будто от ожога внезапного, как безумный, вскочил с лавки страшного вида смертник. Бросился к иконам, схватил среднюю — образ Бога Саваофа. Одним махом содрал со стены и поднял высоко над головой…

Подкосились ноги у старухи, побледнела, как бумага, и онемела от страха адского.

— Гру-ру-ру! — загрохотало в ушах, будто большая груда камней с горы посыпалась…

Проснулась молодица — это тряхнуло телегу на корневищах. Выезжали из лесу. Холодком приятно обвевало.

И не могла молодица вспомнить, что такое ей снилось, от чего цепенеет душа. Какие-то потаенные нити оборвались — оборвались или сокрылись…

— И я, было, задремал, — сказал муж. — И снились мне те старцы, что на свадьбу заходили. Привидится же такое лихо. Будто бы лира играла — а это колесо скрипело: сухие грибы вчера на подмазку попались.

Ныла душа. Светает. Утро. Из головы хмель-вино улетучивается. Темный Лес, немой богатырь, стеною зубчатой позади стоит.

ТЕМНЫЙ ЛЕС

Быстро бегаешь ты, серый волк! Крепок ты на ноги, ходок на бег, вынослив в пути…

Да не обежать тебе, скороход-живодер, не обежать тебе за целый твой волчий век всех просторов страны этой по-

таенной, не протопать тебе стежек по всем этим пущам дремучим.

* * *

И ты, могучекрылый аист-черногуз!

Видел ты пирамиды фараонов египетских, в прозрачную, сверкающую, зеркальную воду исторического Нила гляделся ты, красавец! Через Дунай многоводный перелетел ты, длинноногий, и много краев с разными людьми, не нашей веры, языка и облика, видел ты.

Но никогда не исходить ни тебе, ни аистятам твоим болот стороны этой сокрытой...

Любуешься всем, чудный ты мой!

Однако никогда не налюбоваться тебе бескрайней и неоглядной вдоль и вширь лентой полей этих разноцветных, этих лесов, иссиня-зеленых, этих рек тихих, обросших ивняком и цветами неяркими...

* * *

Сверкаешь ты, молния-зарница, по всему небу сверкаешь от края до края.

Сверху вниз пронзаешь ты в мгновение ока неохватную бездну надземную.

Но никогда не осветить тебе стороны этой потаенной...

* * *

— Гу-гу-гу... — гудит дремучая пуща, рокочет, качает вершинами.

— Жгу-жу-шу-шу... — гомонит листва на березах. — Т-т-т!.. — испуганно, как в ознобе, трясутся, трепещут мелкие листочки несчастной, горемычной осины.

— Го-го-го-гей! — разозлился ветер, ибо не пускают его дружные деревья в свою семью.

Бросился он, как шальной, на старого деда лесного, на могучий, корнастый дуб, который был самым старым во

всем лесу: думал швырнуть его внезапно в бескрайнее, бездонное болото, которое тянется в непроходимый лес, неведомо куда.

— Не прикасайся! Не тронь! — только и молвил могучий дуб. Склонился на одно мгновение к трясине и вновь выпрямился. Расправил свои корявые ветви — и снова задумался о стародавних временах, когда люди венчали его славой и хвалой, и искали под ним ответы на свои вопросы, и клятвы под ним давали.

Минуло все, прошло…

Скрипят больные деревья, грохаются наземь с жуткими звуками. Стонут старые деды лесные. Рыскают испуганные звери и делают еще более печальным глухой грустный лес.

Стонет лес.

Зарастает болото, хотя так бдительно стережет его (…)* вечное до последнего часа — зарастает болото!

Но журчат еще лесные струйки, струи и целые ручьи студеные из Лоз Совиных, Мошков Соловьиных, Залужья, Чертовщины, Гайка и из всего Леса Темного.

Не совсем еще обессилел Темный Лес…

* * *

Красиво там весной, когда деревья в зеленом убранстве, в одежды свои дивные одеваются, когда вырубки по краям цветочками пахучими и нежными устилаются, когда лозы серыми, пухло-пушистыми почками привлекают в хорошую, теплую погоду диких пчел со всех окрестностей, когда воздух теплый, легкий.

— Я-куб! Я-куб! — громко тоскует кукушечка. Да это не просто кукушечка серая… В давние времена случилось так, что мать обездоленная в кукушечку серую обратилась и с той поры несчастливой ждет сына своего Якуба, которого украл поганый Цмок, страшный змей, и отнес в неволю, в царство свое подземное, подводное.

---

* (…) — пропуск в авторском тексте.

— Я тут! Я тут! — слышится ей издалека голос другой кукушечки — быть может, это сын Якуб. И еще звонче-громче несется, разносится по всему лесу кукование безнадежное.

* * *

Там все в истоме, когда весна на исходе, когда над озером под березами гонкими, с макушками высокими и ветвями длинными, гибкими, качаются русалки белотелые, с косами черными, с глазами грустно-шальными.

— Ту-у-та! Гу-та-а-ши! Гута-ре-ли! — кричат они и зовут к себе парня красивого, мужчину слабовольного.

— Ме-еме-ме! — ревет тогда там коломазь бесовская, будто и правда баран-птица.

— Сю-да! Сю-да! — по-совиному кричит кто-то.

Страшно там осенью темной, когда пуща стонет, и волки воют, и скулит неизвестно кто, будто душат кого-то, и непонятное что-то происходит. Жуть великая сердце гложет.

СТОНЫ ДУШИ

...Шумят ветви на березах, шумит-гудит ветер, ловко бросается он, непослушный, ко мне в окно и рвет на столе бумаги. Где-то звенит муха, звенит, будто осенью перед смертью... Быстро прочирикал под крышей свою песню воробей... А у меня опять тоска, тоска, тоска... Я не болею всемирной скорбью-ужасом, нет, нет, — я болею чем-то другим. Но чем?

Я хочу жить вольной жизнью — с радостью, с добродушным, веселым смехом и со всем прочим, что создает гармонию жизни. Я хочу новой, лучшей жизни. Очень, всеми своими силами желаю. Ибо не удовлетворен, крайне не доволен... Как только составилось собственное представление о свободе, появилось большое желание, устремления сердца выползти самому и других вызволить из такой жизни. Ведь вокруг огромные мерзкие груды грязи, грязи отврати-

ной, гнойной... Я не хочу терпеть! И не вытерплю, ибо нельзя вытерпеть. Я сброшу, сорву цепи своей старой жизни и создам новую. Сделаю! Порву цепи извечной лени-гулянья, цепи издевательств, шельмовства и страшной, огромной темноты вековечной, цепи, превращающие человека в скотину, быдло, создающие «панов» и «мужиков». Цепи эти придумал разве что сам Люцифер, выковал их в своей кузнице, нанеся этим обиду людям всего мира, тем, которые жили и умерли и которые прозябают и теперь, страдая от этих цепей... Нельзя, нельзя! Так не должно быть и не может быть!..

РОДНЫЕ КОРНИ

I

...А еще надо сообщить тебе, дорогой наш сынок, — читал, лежа на жестком топчане после обеда, отцовское письмецо студент-медик Архип Линкевич, — что в нашей новой хате мы очень боимся жить...

Архип раз-другой затянулся папиросой, отряхнул пепел на железяку, буркнул под нос: «Что за чудеса?» — и, заинтригованный, стал дальше разбирать закорючки заляпанного чернилами письма:

...Видать, ни разу не было такого в нашем селе, что происходит теперь в этой хате...

— Ну и писаря же нашел себе отец, — вслух заговорил Архип, с трудом прочитывая слова в присланном письме.

Он опять затянулся, мысленно отругал писаку, который, несмотря на хорошее крестьянское угощение и пять копеек, так скверно пишет письма, совсем нечитабельно, стал думать о далеком родном селе, о дорогих сердцу стареньких постройках и саде, который сажал с отцом несколько лет тому назад.

«Как много хорошего в наших деревнях, селах, а вместе с тем какие они неподвижно-мертвые в жизни. Идет время — высоко в небе летают аэропланы, дирижабли; под водой, как

на земле, живут люди; переговариваются за тысячи верст; доходят до того, что собираются замораживать человека на любое необходимое время и снова оживлять его; все стремительно движется вперед, только наше село, как обросший мхом камень у большака, с места не стронешь... Уныние, тоска».

«В двадцатом веке боятся жить в новой хате. Почему? Ну, наверное, черти не дают». — Так думал-сокрушался студент.

...Мы уже и попа привозили и святили ее, но кто-то засел в ней и не дает ночевать... — прочел он и даже разозлился.

— Выдумают себе всяких дурацких привидений и, как дети, забавляются. Будто делать больше нечего. Э-эх!

...В прошлый четверг пошел туда батрак ночевать, там прохладнее, а в старой хате в теперешнюю летнюю пору слишком душно, да и мухи покоя не дают. А скамеек в новой хате мы еще не поставили, так он лег на печке: мы же сейчас ее не топим, и спать там хорошо...

Студенту немножко смешно было читать все это.

...Какое уж, не при нас будет сказано, лихо померещилось ему там, — сообщалось дальше в письме, — или, может, вечером он с девками нашутился, а может, к Михалю в корчму забегал, кто его знает, но не успели мы уснуть в старой хате, как вдруг наши окна так задребезжали, что мы сразу же проснулись и очень испугались. Мать и говорит мне: «Нупрей, Нупрей, что это делается, не убивать ли нас кто лезет?» А я — шасть к окну! Вижу, батрак в одной сорочке, без шапки, босой, как полоумный, кричит истошно: «Дяденька, открой скорее!» Открыл я окно, впустил его, а он дрожит, зуб на зуб не попадает... «Что случилось? Что случилось?» — спрашиваем мы. «Кто-то в новой хате с печки меня сбросил!» «Вор, может, да там же красть нечего», — сказал я, однако батрак клялся, божился, что в хату человек залезть никак не мог, потому что он на ночь заложил палку в пробой и собачку из щеколды вытащил. Никто влезть не мог... Но кто-то невидимый скользкими, как ужи, холодными руками схватил его за ноги и швырнул с печки на пол. И действительно, у батрака был побит бок и ободраны о кирпичи руки:

— Бесы там завелись, что ли? — ехидно рассмеялся студент и подумал, что батрак подрался с парнями из-за девчат и ловко одурачил стариков чертовщиной.

Архип встал с топчана и в задумчивости быстро зашагал по комнате. Огорчился немного. И вспомнил старого деда Михалку, про которого все рассказывали. Что он три года бегал оборотнем. Сам Архип когда-то верил в это.

— Что за народ наш, белорусы? — вслух задал он себе вопрос и решил, что доктором будет служить в Беларуси, одновременно собирая материал о духовной жизни своего народа.

...А намедни пошел с батраком ночевать и я, вдвоем пошли. И тоже прибежали ночью в старую хату, потому что проснулся я, чуть не околев под скамейкой, хотя уснул на ней; а на батрака кто-то навалился и душил...

— Непонятно, уразуметь невозможно, что за штуковина такая, — ломал голову медик, и в глубине его души стали возникать образы чего-то таинственного, страшного, исконно-белорусского...

Недаром Архип, как две капли воды, был похож на своего деда, который до самой смерти горячо молился Богу и в то же время привечал, по мере возможности, домовых, леших, водяных.

...Мы уже ставили в углу и «хоругви», псалтирь читали и псалмы пели — ничего не помогает, поселился кто-то в хате и не дает покоя. Не посоветуешь ли ты что-нибудь, а то хоть хату разбирай...

Еще больше задумался Архип. Дочитал письмо, в котором сообщалось, что коровки, слава богу, погуляли, молока дают много, жеребенка продали Залику, подсвинок сдох, яблок уродило видимо-невидимо. А потом шел целый лист поклонов «от белого лица до сырой земли».

Студент посидел немного в раздумье, щелкнул пальцами и тут же подскочил от внезапной мысли — поехать домой, самому убедиться в этой чертовщине.

Яблок, огурцов, земляники, черники, малины, грибов теперь там... На сенокосе с косой пройдусь, как прежде когда-то, с девчатами знакомство возобновлю, — тешил себя студент, — и старики будут рады-радешеньки!

Мрачные мысли его рассеялись.

К черту уроки, учеников передам товарищам, денег хватит, а то и зимой заработаю, как-нибудь внесу плату за учение, а сейчас ведь в нашей деревне — углу захолустном — рай!

. . . .

На другой день Архип уже трясся в поезде.

II

Ну и кони же твои! С крупорушки на шкуру тебе продали, что ли? — спросил Архип у возчика, удивляясь, что едут они — тише некуда.

— А как зе... Чтоб вы знали, пане Линкевич, известное дело, сто ш крупоруски.

— Ну, ну, погоняй, а то мы и к утру не доволочемся.

— Гэ, гэ, гэ! Нэ-нэ, посли, стервоцки мои, — зачмокал возчик, стегая кнутом по земле. — Доедем, пане, доедем! Гэ, гэ, гэ... Нэ!

Кони ловили кнут хвостом, взбрыкивали и лениво трясли по колдобинам извозчичью будку-телегу.

Лес кончился. Выехали в поле. Дорога пошла ровная. Архип залюбовался красой летнего вечера. Его сердце, чуткое к красоте, сильнее забилось в молодой груди. Вокруг стояло такое спокойствие, было так по-небесному празднично, живописно. Темнело. На западе горела вечерняя заря.

Джу-нгу-у... — пролетел жук.

— Мэ-э-э... — проблеял над болотом бекас (по-народному — дикий баран) и сел где-то на кочке.

По обе стороны дороги стояла рожь в бабках и на корню еще не сжатая. Со стерни доносится приятный ржаной запах. С лощины тихий теплый ветерок дохнул сеном. На небе показалась звездочка, потом вторая, третья...

— Го-го-го, — катилось в глубине леса.

— Тпроля, тпроля, тпроля... — звал кто-то жеребенка.

Впереди по дороге слышно: «Скри-ги-ги... Скри-ги-ги...» — что-то везут: то ли снопы, то ли сено, а может, и хворост. «Но-о, но-о!» — вожжами подбадривают коней, а они тяжело ступают по пыльной дороге, только — шлеп-шлеп, шлеп-шлеп — долетает издалека. Возы чернеются издалека, затем ближе и ближе и вот, сразу же вынырнули:

— Добрый вечер! Далеко ли еще до Бели?

— Да верст пять наберется.

— С гаком, — добавляет из-за воза второй голос.

— Но-о! — поехали дальше, и снова: скри-ги-и...

На дороге гомон. Возвращаются с поля люди: за целый день наработались, утомились.

Из-под леса летит-катится песня — жницы идут от Хаима с поденщины. И работа нипочем молодым, пышущим здоровьем, круглолицым девчатам… Они поют:

Загарэлася вячэрняя зара…

А с другой стороны идущие со своего поля жницы поют иное:

Добры вечар, гаспадынька мая!..

Молодые, звучные голоса смакуют песню, она рвется ввысь из здоровой души в сильном теле:

Ці зрыхтована вячэрыца твая?

Отголосок долго летит над лесом. Эх! И погода же, погодка будет завтра.

И жницы, и гомон, и песни понемногу отдаляются… Проезжают тихую деревню; огней нет, где-то гавкнула собака и умолкла, в сараях, хлевах жуют коровы, а старые хозяйки, пришедшие с поля пораньше, с подойниками там: цур-цур, цур-цур…

Переехали мостик, пошли яровые, а в поле все темнее и темнее. Небо, усеянное сверкающими звездами, дивное, бесподобное. Волшебной красоты небо!

Драч-драч-драч… — верещит коростель; потом умолк. Тихо-тихо.

Нет, вот в стороне слышно, как повели в лес лошадей в ночное, смеются, гогочут, шутят. Какой-то балагур с нарочитой гнусавостью затянул частушки:

Не хадзі ты па балоту,
Не мачы ты ног, ног…
Не любіся з багатаю —
Не паможа Бог, Бог…

— Ай-я-я-я, я-я-я, — айкает, валяет дурака кто-то из парнишек.

Багатая — гарбатая,
А к тому ж і пышна,
А бедная, дык чэсная,
Як у садзе вішня.

— Трам-трам, трам-трам, — в такт басят остальные парни, веселые, радостные.

В поле все успокоилось. Ни звука. Архип был в благодушно-умильном настроении. «Краіна родная мая...» — мурлыкал-пел он себе под нос и думал-думал, как тут, в этих местах будет через двести, триста, четыреста лет? Когда-то леса здесь были дремучие, непроходимые, в лесах люди пням молились и жили со своей долей-недолей. Шло время, вырубались леса. Загарцевали в здешних местах люди военные, ратные, немало косточек московских, польских, казачьих полегло «паміж пустак, балот беларускай зямлі...» Шведы, французы обрели себе здесь вечный покой. Боже, Боже, как все это страшно и интересно!

— Панич! — заговорил возчик с каким-то страхом, — вы, верно, знаете, что слева, где теперь болото, когда-то в давние-предавние годы целый город провалился сквозь землю. В купальскую ночь слышен колокольный звон из-под земли, а возле кургана, где раньше монастырь был, некоторые слышали, как монахи в склепах обедню правят...

— И кто же это слышал? — спросил студент.

— Как это — кто? Все, кому случалось поздней порой здесь оказаться... И, говорят, еще так бывает: какой-то огонь над болотом мечется. Ты за ним — он от тебя, ты ближе — он убегает. Синенький такой, небольшой огонек. Говорят, много денег тут спрятано под каким-то большим заклятием.

Не успел возчик закончить свой рассказ, как далеко в поле, на земле, показался огонь... Горит что-то. Пламя то взметнется вверх, то вбок, то, обессилев, никнет.

Черная тень, похожая на человеческую фигуру, пробежала по нему раза два.

Спустя некоторое время пламя вспыхнуло в другом месте, в третьем…

Возчик умолк от страха. Лошади выше подняли головы, начали стричь ушами. Архип тоже чувствовал, как заколотилось его сердце и взмокли волосы на лбу.

— Что за ерунда? — вслух сказал он, чтобы здраво обдумать, откуда же здесь в стольких местах костры: ночлежников на пашне под пара́ми быть не может, а что же еще?

Возчик тихо зачмокал губами, понукая лошадей, дернул вожжи и что-то шепнул лошадям — те побежали резвее.

Архип удивленно вглядывался в поле, в темноту.

«Вот так чертовщина! Ну и пойми тут, в чем дело. И если мне становится не по себе, то что было бы с нашим батраком? Черти и привиделись бы», — рассуждал студент, чтобы как-то извинить свой испуг.

Он еще долго-долго вглядывался в пламя, а оно уже не так полыхало, становилось тише и понемногу исчезло совсем.

Возчик молчал, пока не подъехали к самой хате Линкевича. Там он, взяв деньги и пожелав доброй ночи, добавил в недоумении:

— Вот так привидение!.. — и поехал ночевать к Михалю в шинок.

III

Архип спал долго и сладко. Ночью снилось что-то непонятное, но, проснувшись, ничего не помнил. В хате никого не было, только за стеной, в пристройке, мать стучит в кочережнике ухватами. Пахло блинами… Солнышко бросало лучи света на скатерть и на старенькие иконы в углу, где горела лампадка. Было слышно, как на улице, сидя на бревнах, разговаривали старики и парни.

«Ага, сегодня же воскресенье», — вспомнил Архип, потянулся и сел.

— Что, проснулся уже? Поспал бы еще, сынок: утомился с дороги, — говорила мать из-за стены.

— Выспался. Спал, как пеньку продавши, — весело отозвался Архип и стал одеваться.

В голове теснились мысли о городе, товарищах, уроках, к ним прибавлялось удивление вчерашним привидением и чертовщиной, которая завелась в новой хате. Но все-таки на сердце было радостно и спокойно от теплой домашней обстановки.

— Ну и сибирники, расколы!.. На головах начинают ходить, — громко и с возмущением заговорил кто-то на улице, подойдя к группе мужчин.

Архип прислушался.

— А что такое? Ты чего? — спросили у сердитого.

— Что? Ну разве ж так может быть? Семьдесят лет на свете прожил, а такой проказы да и, правду сказать, паскудного дела не видел. Вы вот тут сидите и ничего не знаете, а в поле ночью какие-то арестанты неведомо что натворили. Янка! Сходи в поле, поищи свои бороны… И ты, Самусь, и ты, Гаврила…

— А что? Какое еще там лихо с боронами приключилось?

— А такое, что какие-то шельмы сожгли их ночью.

На улице поднялся шум, крик, гомон.

Архип все понял.

«Так вот какое пламя на поле полыхало? Ничего себе привидение!»

Тем временем мать уже накрыла на стол, положила блины, поставила сковороду с яичницей.

Отец принес полбутылочки, и хотя старикам не хотелось грешить (обедня еще не отошла), но ради дорогого, любимого сына и они сели завтракать.

Потекла бесконечная приятная беседа о том о сем и обо всем.

IV

И не уследить, как прошел длинный день. Архип сходил в поле, побывал в лесу, навестил кое-кого из ближайшей родни, осмотрел сад.

Вечером он надумал непременно идти ночевать в новую хату. Взял кожух, подушку, табак. Отцу тоже захотелось пойти с сыном. Пошли вдвоем.

Новая хата стояла в конце сада, недалеко от большака и близко к реке. Построена она была добротно: Архип прошлый год неплохо зарабатывал уроками, у самого деньги имелись да еще собрал и родителям на хату.

Пришли, осмотрелись. Отец лег на холодной печке, а Архип устроился на скамейке у окна. Дверь он запер, а окно, возле которого лежал, открыл для свежего воздуха.

Под окном шелестела листва на яблонях и грушах. На небе собирались тучи, где-то сверкала молния.

Архип закурил, расстегнул и отвернул ворот рубашки, чтобы было не так душно.

— Архип, не забудь же окно закрыть.

— Хорошо, папа.

Отец привык вставать рано, поэтому с вечера быстро засыпал.

И теперь вскоре захрапел.

Архип лежал, курил и думал...

«Как, в сущности, все вокруг нас странно и непонятно... Наука? Что наука! Она, скажем, дает некоторые ответы на происходящее в природе. Ученые люди подсчитали, сколько весит Земля, как далеко от Земли Луна, Солнце; они знают пути движения планет, но пусть они ответят, кто дал им такой гармоничный ход, пусть найдут первопричину всему живому. Наука знает, какие микробы, невидимые простым глазом, вызывают болезни, она знает, чем питаются клеточки, из которых состоят люди, животные, растения. Ну и что? А как бы ответил он, студент-медик, на постоянный вопрос дядьки Якуба, задаваемый «грамотным» людям: «Почему человек растет-растет лет эдак до двадцати, а потом, как ты его ни корми, в росте не прибавляет. Ведь и ест так же, а иной

и лучше, чем в детстве, а роста, такого, как прежде, нет. В чем причина?» Вот так. Ученые теперь знают, как человек зарождается, из чего состоит, познали и многое другое. Но пусть они наберут из земли все, что им нужно, и создадут человека. Нет, наука никогда не даст, потому что не может дать ответ на проклятые вопросы. Да у нее и цель совсем иная».

И Архип вспомнил, с каким пылом и огромным желанием он начинал учиться, так как думал, да что там думал — крепко верил, что в книжках есть все, книги все расскажут: не только как оно, но и откуда оно.

И вот он «вкусил» от книжной премудрости… Сказать правду, нашел такие и этакие ответы, но — Боже! — никакой определенности нет, нет. Кто дал эти ответы?

Те же люди. Ага! Бог один, а сколько вер на земельке божьей?

Архипу было тоскливо и как-то тревожно.

«Мы не знаем, что будет после нашей смерти, а на этом свете ответа на все найти *невозможно* — ищи не ищи. И счастлив тот, кто легко мирится с таким устройством жизни или кто почти не задумывается над этими «безумными» вопросами, или же в поисках куска хлеба забывает о них — эти счастливы. Но горе, большое горе тому, кто захочет хоть на один миг, одним глазом заглянуть по другую сторону занавеса! Тому один путь к разгадке, страшный и, главное, сомнительный, неопределенный путь, этот путь — смерть».

Закурил вторую папиросу.

«И что еще удивительно: пусть бы люди тонкие, чуткие и душевные, не замученные тяжким трудом, пусть бы они корпели над этими больными вопросами; так нет же, народ простой, народ, которого обзывают «темным», почему он, этот серый бесцветный народ, по глухим углам, в лесах своих, среди болот и пней, почему он мучился и мучится этой же болью?»

Архип закрыл окно. Его начало уже клонить ко сну. А все еще думалось: «Ничего не знаем, не знали и знать не будем… Сердце начнет биться сильнее и успокоится, а что-то черное, огромное станет перед глазами, какие-то узоры мельтешат, и так хорошо, удобно лежать. Наука, черти, привидение… Ничего не знаем… Бог, черти, ду́ши... Не знаем…»

И Архип уснул.

А на улице грохотал гром, то и дело сверкали молнии. Надвигалась гроза. Яблони ветвями — шу-шу-шу — тихонько шумели.

Архип спал.

V

Лес гулко шумел. Макушки деревьев то тревожно и порывисто, то степенно наклонялись друг к дружке и шептали что-то свое, лесное. Тропинка между густыми елями становилась все уже и уже: ни пройти, ни продраться сквозь колючие зеленые ветви.

Сухое дерево страшно и жалобно скрипело, словно высказывало свои беды, горе и всякое лихо. А еще далеко-далеко…

— Бом… — гудит колокол в нескольких верстах впереди, призывает к себе, зовет, кличет. А как дойти туда?

— Бом, бом, бом, динь-динь-бом, — тихо отдается в ушах. Шумит лес. Захохотал злой дух, заплакал жалобно, заскулил, соединив все звуки в одну ужасающе-скорбную песню скрипучего дерева.

Блестит огонек под кустом, а вот второй под старой березой, а вот третий у черного пня, и еще один, еще, много-много, призраки…

«Что это я? — сетует на себя Архип. — Это же червяки купальские светятся: чего же мне бояться? Пойду на колокольный звон быстрее, к ночи доберусь, доплетусь».

— Троп, троп, хр…гкрдзбдэр… — у самого уха пронеслась летучая мышь.

— Дз-з, дз-з-з… — не перестает о чем-то плакать дохленький комарик и не дает покоя.

Зашлось сердце Архипа; схватила или не схватила летучая мышь волосок с его головы? Унесет она волосок на скрипучее сухое дерево, защемит его там между расщепа вострого… И будет Архип сохнуть, как то дерево: хворать, недужить до тех пор, пока дерево скрипеть-жить будет; а упадет на землю оно — и Архип помрет.

Расступился лес. На полянке стоит Архип. Смотрит — что это? Перед ним их новая хата на одной ноге вертится, прыгает, крутится...

«А-а, это я сон вижу, это все снится мне... — догадался Архип, — однако же какой дурной, зловещий сон. Черти, видно, решили напугать меня за то, что я не верю в их существование. — И смешно ему стало. — А хорошо спать, привидений уже нет».

«Скрипело какое-то дерево? — припоминал свой сон Архип. — Да нет, это же отец на печи храпит».

«Кажется, опять засыпаю, — подумалось ему. — А где же музыка такая безотрадно-мучительная играет?..»

«Ай-я-я-яй...» — страдает Архип. В этих звуках горести, боли, скорби, печали неизбывной сверх меры, а музыка все ближе и ближе.

Звенит и звенит лира старцев о временах минувших, стародавних. Поет слепой старец-музыкант, не спеша перебирает струны звучно-тоскливые...

Но это не струны гудят-поют, а человеческие голоса слышатся там. Высоко вверх, в поднебесье, задумчиво так возносится среднего тона, не низкий и не высокий, не слабый голос, о какой-то доле-недоле поет он, плачет-плачет, рыдает, потом вниз спускается, к земле клонится, в один стон плач сливается с другим, более густым, более сильным, протестующим голосом, который не хочет видеть, как кривда-неправда над миром властвует... А третий, слышно, слабенький голосок, как дитятко малое, заходится-заливается, к Богу и Матери Пресвятой шлет в звуках дивных мольбы-просьбы свои детские, простодушно-невинные...

Что-то подкатывает к сердцу Архипа от музыки этой: рыдать, стонать, слезы лить хочется, думы выстраданные выплакать-выкрикнуть жаждется, и так тошно-дурно делается... Щемит в груди молодой, жалко-жалко всех людей — добрых, хороших, милых: ведь так мучаются, бедные!..

В спор с черным, страшным-неправедным вступают игрой своей музыканты-скоморохи — и кипит-бьется сердце молодецкое... Эх! Пойти бы и силу свою миру показать, прогнать обидчиков, оборонить от них людей бедных, душевных, мирных и покорно-дружелюбных, людей родных и до предела оскорбленных.

И хорошо всем будет на Земле! Все родные, все сильные, статные. Солнышко светит, в роще так весело, так красиво птички поют, и цветы цветут, в воздухе запахи-ароматы приятные, дивные носятся, шумит рожь высокая, налитая, шепчет думу святую, тихую, колосьями крупными, благодарность поет труду мужицкому и «не мужицкому» — крестьянскому труду праведному…

А в хате все светлее и светлее, но откуда же свет этот удивительный? И музыка все громче слышится, разносится все шире и приближается.

Слышно уже и пение погребальное, надрывное-горестное. Рыдает кто-то, заливается… это девичий плач неутешный, вот что.

Открыл глаза Архип, видит, пол возле печки раздвигается и появляется, поднимается гроб большой с покрывалами черными. То поднимется, то опустится, то появится, то исчезнет…

У Архипа волосы дыбом становятся. Хочет он голову поднять, получше рассмотреть гроб страшный — тяжела голова, не поднимается. Хотел крестом себя осенить — рука, словно палка, не шевелится. Попытался кричать-звать, «спасите!» — орать, но голоса совсем нет, будто и не было его никогда, только в раскрытый рот смрад набирается, зловонием все заполнено.

Крепко спит Архип, богатырски спит.

А на улице молния сверкнула ослепительная, острая, жуткая, загремел гром, по всему небу грохотание-громыхание пошло, в самые дальние концы глухо и мелко покатилось, посыпалось и вдруг: трах-тара-рах-рах… — треснул-стукнул перун.

Рванулся изо всех сил своих, изо всех жил и еще в страшном сне со скамейки полетел и больно о пол ударился.

Проснулся Архип: дымом пахнет, горит что-то. Соскочил отец с печи, крик поднял.

— Сынок! Архип! Хватай подушку, молния, видать, ударила, горим…

Архип вскочил, оглушенный сильными раскатами грома. Хорошо, что сначала в сенцах полыхнуло. Помог Архип отцу в окно вылезть и сам выскочил, а пламя из сеней так и рвется, в хату уже бросилось, все углы охватило…

— Бом, бом, бом... — зазвонил на колокольне сторож.

— Папа, папенька, тебя не задело? — спросил Архип у отца.

— Нет, слава богу, нисколечко. Только звон в ушах, слегка оглушило. Ну надо же такое! О Боже мой, вот горе-то, ой-ей-ей...

— Папа, куда же ты?

— А? Это я смотрю, как полыхает... Пойдем, иди, а то мать увидит, испугается, живы ли хоть мы остались.

— Пожар! Пожар! Спасите! — кричал уже кто-то на селе. Засуетились люди, сбегаются.

— Где, кто горит?

— Новая хата у Линкевичей.

— Неужто?

— Да, да, вон там, ай-яй-яй...

— Гляди, во как полыхает, уже и помочь нельзя.

— Какая тут помощь: перун черта убил.

— Помолчи-ка. Или ты рехнулся? На ночь глядя черта поминаешь...

— Хорошо, что поодаль домов построили: на село не перекинется.

— Нет, нет, помилуй бог.

Большие клубы черно-серого дыма пробивались через новую соломенную крышу, красные язычки пламени с алчностью и ненасытностью усердно лизали бревна, метались в стороны и своей молчаливой и непонятной старательностью приводили к извечному и безответному вопросу: откуда все и что оно?

Стены хаты трещали в огне и понемногу рушились. Буря прошла. Ураган сменился тихим, приятным ветерком. Зашумел по листве дождик. Далеко за панским лесом вспыхивали зарницы.

— Ну, скажи ты! Бог знает, что тут и к чему? И этот случай: молния ударила, люди живы, а хата сгорела. Наверно, старый Линкевич и не будет слишком переживать, лучше она сгори, чем в ней жить в этаком-то страхе. Злыдни в ней были все-таки.

— Ай, не говори так, кум; может, и правда, а может, батрак набрехал, что его с печки кто-то сбросил. Лихо его знает.

— А сам Нупрей Линкевич? Он же говорил, что уснет на скамейке, а проснется под скамейкой.

— Да мало ли что бывает. Скамейка узкая, низкая, вот и упал старик.

— Ну, братец, тут что-то не так. Услышал бы он…

— Что? Разве я не рассказывал? Когда кончили крыть крышу, зашел во двор какой-то нищий. Мастеров потчевали водкой — надо бы, если по-хозяйски, и нищему поднести, угостить. Не поднесли. Вот он, наверно, и заколдовал. У него глаза такие красные, кровью налитые, чародейские. Я так и подумал, что он колдун, что не простит.

— Да хватит тебе, дед, чепуху пороть. Заколдовал, заколдовал… Еще чего выдумай.

— Думай что угодно, сынок, а я хорошо знаю, что это так.

— Так вот же, лет двадцать тому назад осиновым колом могилу пробивали, потому как, не тут будь сказано, выходил из нее кровь сосать, покойника, то…

— Хватит, не рассказывай… Теперь ночь, буря, кладбище неподалеку, довольно… не гоже, не стоит, если заговорного слова не знаешь.

— Пойдем спать, братцы.

VI

Уже с полмесяца прожил Архип дома, в родной старой хате отцовской.

За сгоревшую хату выдали деньги — страховку, но о покупке леса пока что не говорили: надумали мужики на хутора выйти.

Людей предприимчивых, энергичных и способных душила общественная жизнь. Ни улучшения хоть какого-то в поле не сделать, ни лучшего сорта ржи не посеять, ни лучшей скотиной не обзавестись… Из-за каждой мелочи грызутся, из-за незначительного и случайного ущерба ругаются, как оголтелые.

Эх, беднота, беднота, беднота!

До чего же ты доводишь человека! И жалко, и горько, и обидно…

Но из лучших людей царь-голод делает зверей, не имеющих совести.

Стали сельчане пошевеливаться, о хуторах калякать.

Архип об этом с мужиками не говорил, боялся: начнут потом отца допекать: «А-а, это твой сын подбил на хутора переселяться, паном заделался, по-пански жить захотел; станет доктором, денег накопит и скупит у бедных хозяев захиревшие хутора, будет помещиком, живодером».

Как огня, боялся таких разговоров Архип и жил у родителей тихо, смирно, в серьезные беседы не вступая.

Радовалось сердце старого отца, когда, он, Нупрей, вместе с сыном и хлопцем-работником Осипом отправлялись на сенокос.

Возьмут сала, блинов мать напечет, воды в баклагу наберут и идут втроем в Дубравку, где была Нупреева десятина сенокоса, купленная у панов.

Осип впереди гонит прокос, а позади него студент из самолюбия не поддается. Только и слышно: вжик-вжик-вжик...

Вот уже студент и соломенную шляпу с головы сбросит, и расстегнется, и ремень снимет — старается плечо в плечо идти со сноровистыми работниками.

Весело! Ветер сорочку поддувает, холодком обдает. Кузнечики стрик-стрик-цирр... — песенку свою поют. Под кустом жупаны лежат, и песчанка с бруском стоит; их там Разбой стережет, лежит, свернувшись клубком. В тени под березой прохлада. Приятно пахнет скошенной травой, и вокруг много-много красивых цветов и стоит, и в прокосах лежит.

Старик Нупрей сидит на пне и — кляп-клеп, кляп-клеп — косу отбивает и радостно на сына посматривает: молодой, ученый, красивый и такой добрый. Сам земский первый к нему здороваться подходит и руку подает. И мужиков, своих людей, сынок не чурается, земляка, если надо, всюду защитит и чужого не обидит... Неплохо студенту отойти от городских повседневных забот, поэзией родного народа насладиться, душу удрученную оживить.

Вот только привидения эти... Вопросы каверзные... Печаль эта... А что! Ничего, ничего... Довольно. Не выспросить ли у Осипа, кто сбрасывал его? Не пойти ли с ружьем на кладбище ночевать?

Фу! Смешно...

Но в чем тут дело, почему они все не говорят об этом с тех пор, как он приехал?

Они спокойны: они знают, что нечистая сила есть, но если она не досаждает, то им и нет до нее дела. Зачем им дознаваться, откуда она?

Да и студента как-то все меньше стало занимать то, таинственное. То ли работа тому помеха, то ли что-то иное. Может, сельская жизнь времени на это не оставляет? В родном доме время бежит быстрее.

Новая хата сгорела, и привидения стали забываться. А, просто почудилось отцу… Да? А Осип посмеивается. Может, напоить его, чтобы правду сказал? Однако все недосуг: то одно, то другое, и о привидениях не вспоминается. Но зачем он, Архип, приехал? Да вот… родителей проведать. Любо здесь! Любо быть причастным к самому святому труду — труду землероба. Любо быть здоровым телом и духом. Но и тут допекают «проклятые вопросы»… А бывает — да ну их! Не до них, некогда. Поработать, отдохнуть, пошутить и снова с удовольствием взяться за работу. Не в городе, в деревне. Любо здесь. Любо в хорошую погоду теплым, тихим вечером снопы возить. Любо утром в реке с водой прозрачной, не очень холодной, искупаться. А днем огурцов в грядках поискать, отведать или небольшими сладенькими яблочками — ранетом полакомиться. А в воскресный день встать пораньше и в лес пойти за грибами (может, лесники не отнимут), потом в церковь сходить и в гости, а вечерком, взяв скрипку, на улице возле хаты посидеть, сыграть несколько танцев и разных песен шутливых. Иван играет на гармони, а Тимох на дудке мастак; студент танцует с девчатами-хохотушками, застенчиво-смелыми, пышущими здоровьем, красивыми.

Время бежит, скоро к отъезду в город готовиться надо… Подумаешь об этом — и грустно становится.

А разговоров о страхах-привидениях так и нет. Да и отец с сыном уже неохотно говорят об этом. Отец за сына боится, единственного, любимого. Боится потому, что уж слишком интересуется сын непонятным, таинственным, страшным, потусторонним.

* * *

— Ой, Нупрей, приглядывай за сыном, — говорит сват Яхим, седовласый умный дед, — возраст его опасный, мо-

лод он. Никто еще лбом стену каменную прошибить не смог, а головы разбивали многие, ой-ой, многие, как вспомнишь. Большие науки прошел Сроил Давыденок, который на главного раввина учился, а потом стал задумываться, задумываться и вот — на тебе: в одной длинной рубахе ходит теперь по Шамову с палочкой, головой вертит и все что-то говорит, шепчет себе под нос: «Аденой, Аденой, отзовись Сроилу. Куда ты спрятался от Сроила? Ага, ага, ну нет здесь ничего». Аж страшно становится. Был одним из самых разумных евреев Шамовских, да вот одурел, бедолага, от этих дум постоянных.

Беречь надо Архипа: немногие из нашего крестьянского рода в люди ученые выходят, а если и выйдет кто, то храни его, Господи! Уж очень трудно такому сразу прижиться в ином кругу людей, ситцевых* людей. Потому трудно, что, как-никак, родные корни глубоко в нем сидят. Вот и мучают его вопросы разные: почему я — пан, а мой брат, брат, который во сто раз больше меня трудится, пот льет, у которого руки заскорузли и в мозолях, который весь свой век кручинится, страдает и в водке душу топит, думы тяжкие заливает, этот брат, дорогой, родной сын моей мамочки, он — мужик, мужик, эх! Вот и мучается человек: почему на свете все так устроено? Дальше — больше вопросов: откуда мир, откуда вообще все? Бога начинает искать, как тот Сроил. Смотришь: ковылял, ковылял человек по такой осклизлости — поскользнулся и упал… И наука не поможет, а поборет такого, потому что природа и науку одолевает.

Так говорит сват Яхим, а кум Михась добавляет:

— И подумать только: сколько забот, болячек и бесконечного труда надо вынести родителям, пока сынок или дочурка на ноги встанут! Да иной, когда на ноги встанет, родителей вспомнит: сам учится или служит где-нибудь и родительскую старость к сердцу принимает, заботится, помогает, как скажем, Архип. А ведь другой, бывает, и от родителей отречется. Учи его, такую дрянь. Ого! Мало ли этаких, далеко искать не надо…

— Так что ж делать, сваток? — обращается к Яхиму Нупрей. — Живем как бог даст.

* В данном случае — городских.

— А что ж? Надо жить. Перво-наперво надобно, чтоб родители вкладывали в головы этим парням-ученикам: пусть они не стыдятся слушать наши мужицкие рассуждения про Божий мир. Это мы, на первый взгляд, серые, но, браток, душа и под серым жупаном может быть светлая. О! Помню, бывало, приедет к нам в село на лето, а иногда зимой, из Петербурга пан Беляевский. Шибко ученый, книжки сам составляет, печатает, а со мной, бывало, как пойдет говорить, аж захлебывается. Вижу, передо мной, мужиком, главные мысли выкладывает. «Я, — говорит, — только у вас и отдыхаю и покой нахожу. У вас, крестьян, все стараются правду во всем отыскать. Какой-нибудь пастух сло́ва при пане вымолвить не может — забитый жизнью или уж натура такая у него, к скрытности склонная, — а заглянул бы в его душу писатель, или архиерей, или там еще кто, он удивился бы и позавидовал». Во как пан говорил.

Нерадивости, зверства, грязи много. Однако где ж этого нет? Бедность нас одолевает.

— Известно, она.

— А ты, сваток, погляди на панскую жизнь. Она ж по большей части такая, что хуже... собачьей. Блуд, паскудство. Только все у них делается под темной дерюгой, из-под нее и жизнь настоящая мало видна.

— Известное дело, так.

— А наши хлопцы, что в люди идут, они от родной деревни отдаляются. Приедут в гости из чистоты, от хлеба белого, на хлеб с мякиной; увидят, как мы чахнем в родных углах, становится им холодно, и неуютно, и противно. Уедет назад, к себе, завертится там, в городском водовороте, умается, в деревню уже ни ногой, мужика сторонится, хотя, может, кто-то из них и переживает. А детки его уж и корней родных не имеют в себе, те и в расчет не идут.

— Сваток, когда ж по-иному будет, когда, в какую пору это будет, а?

— Будет. Но, вот горе, не при нас. Ты ж посмотри, за примерами далеко ходить не надо: поляки, латыши, которые фольварки в округе скупили, живут, нельзя сказать, чтоб на больших участках, а живут как-то чище, и газеты читают, и деток по разным гимназиям и хозяйственным училищам учат. Немного подрастут эти дети — как твой Архип, например, — сами зарабатывают и учатся. Один доктор, второй

агроном, третий учитель или еще кто… От родни не отрекаются, братскую руку всегда протянут да еще племянников и племянниц за собой в люди выведут.

— Поживем — увидим. Чего-то ищут и наши молодые… аж порой хнычут, стонут.

— А-а! Наша старина им уже очень не по нраву.

— На то и молодые.

— И правда, жаль их, что найдут они?

— Поживем — увидим.

— Если доживем.

VII

На станцию Архипа повез тот же сват, седой дед Яхим. Ездить с дедом было очень интересно: чего он только ни расскажет, чего ни наговорит, и все разумно, к месту, лишнего от старика не услышишь.

Былое, как в зеркале, проходило перед глазами студента, когда Яхим рассказывал о старине.

Ехали уже долго. Стемнело. Архип молчал, вспоминая, как прожил дома до самой осени. Дед, набив табаком трубку, курил и что-то говорил лошадям.

Дорога шла через старый казенный лес. Время позднее, темное. Деревья, как черные немые великаны, обступили дорогу с обеих сторон и смыкались впереди. Кони под ласковый, подбадривающий говор деда резво и осторожно бежали по чуть белеющей перед самым носом лесной дороге.

Дед легонько подхлестывал их кнутом и думал, как бы, с Божьей помощью, поскорее проехать лес и выбраться в поле. В каких-нибудь полутора верстах справа тянулась Большая Потапеча: болото, мох, кочки, заросли. Там еще водились волки, и осенью и зимой ездить безоружным было страшновато.

Архип думал о матери. Какая она изработавшаяся, глаза запали, вся как щепка, и все копошится, хлопочет. Провожала его… Долго крепилась, но слезы потекли сами… Крупные-крупные, как горошины. «А может, я и не увижу тебя больше, мой сыночек, мой Архипочка…» И ночью, наверно, плакала. Эх-хо-хо!

— Гав-ву-у-у, — истинное, но отчаянное завывание донеслось издалека, с Потапечи.

— Дедушка! Слышишь? Воют... Волки?

— Да не, это собаки бесятся в Булине; в той стороне большая деревня Булино.

Кони подняли уши и в испуге насторожились. Шумел темный лес.

— Гав-гав-гав-у-у, — послышалось уже намного ближе.

Кони, дрожа и стрижа ушами, держались самой середины дороги, жались друг к дружке и водили головами по сторонам, откуда молча глядела кромешная тьма. Гнедой тихо всхрапнул.

— Дедуля! Волки!..

— А если и волки, разве мы их бояться будем? Придут, поклацают зубами и отправятся куда им нужно, — беззаботно сказал дед.

— Что вы, дедуля! Надо коней погонять, может, удерем. Или остановимся, и костер разложим, до рассвета не подступятся.

— Ничего, обойдемся и так. Я заговор знаю...

Дед соскочил с телеги и взнуздал гнедого. Конь бил копытами землю и стучал зубами по удилам.

— Ну, Архип, надо только коней держать, — сказал дед, усаживаясь на телегу.

Сбоку блеснули огоньки, пара, вторая... Кони храпели, мотали головами, рвались из постромков. Волки подбежали к самой телеге, бросались на нее передними ногами, отскакивали в сторону и злобно сверкали глазами.

Люди молчали; кони дрожали, как в лихорадке...

Волков было штуки четыре. Они бежали по бокам и спереди, тыкались мордами в ноги лошадей, но не рвали. Кони все тряслись и бросались из стороны в сторону. Если бы не новые вожжи и не железные удила, они понесли бы, как шальные.

Лес стал редеть, деревья расступились, на поляне возле дороги из мрака выплывало что-то большое, темное. Это была хата лесника.

Может, с полверсты волки бежали рядом, беззвучно принюхиваясь к конским мордам.

Отстал один, второй... Возле лесниковой хаты не оказалось ни одного.

— Ну, Архип, к леснику заезжать, по-моему, не стоит. Сейчас выедем в поле, а там и станция, вот только на пригорок поднимемся.

— Хорошо, дедуля.

— Скоро и машину услышим, как закричит. Успеем, наверно, к поезду.

Дед старался развеселить студента.

— Ну, разве ж я не говорил, что волки не тронут? — заговорил он.

А с Архипом происходило что-то необычное. Вспомнилась ему и новая хата, в которой батрака кто-то с печки сбросил, пожар от молнии, припомнил он и страшные рассказы о ведьмах, оборотнях, колдовстве. Все ему было непонятно. А тут и эти волки… Диво! Набежали в лесу, носились вокруг, конские морды нюхали, но не тронули. Что это? Заговор? Колдовство? Гипноз?

Тут вдруг студент с возмущением обратился к деду:

— Деду, родненький, что же это такое? Скажите, в чем причина? Что тут к чему и как?..

— Что? Про волков? Да тут ничего удивительного нет. Я с малолетства знал эту волчью повадку. Бывало, пасешь возле леса стадо, а лесá тогда были большие, дремучие, волков да и всякого зверя бессчетно, — набегут они, зверюги, кажется, все стадо проглотила бы, сожрала эта прорва ненасытная. Выбегут они, и тут от злой радости, что напали на жратву, как сожмут пасть — разинуть не могут: бегают возле скотины, мордами ее — толк! — тычут, носом по горлу водят, а никак не осилят… Пока не отбегут куда-нибудь далеко, зубов разжать не могут. Ну, известное дело, это с ними бывает, когда они сильно проголодаются и разъярятся так, что дальше некуда.

— А сейчас? И сейчас то же самое? — спросил очень заинтересованно Архип.

— И сейчас, наверно, слава богу, так. Я тебе не говорил, пугать не хотел, но у меня топор на всякий случай припрятан. Думал: убежать не убежим, а им, может, пасти судорогой сведет, однако если уж Бог допустит, топором обороняться буду. Вот оно так по-моему и вышло.

— А-а… Вон оно что, — немного разочарованно, но с некоторой долей удивления произнес студент.

— А ты что думал? Я ж не колдун какой-то… Хе-хе!

— Дедуля! Но вы ведь верите в колдовство?

— О-ей-ей! Охота тебе говорить о том, о чем не следует... Да кто его знает! Мало ли что говорят, братец мой. Все равно ответа не добьешься. А начнешь думать об этом — покоя лишишься.

— О Боже! Так неужто из-за этого, простите, свинского покоя гнилой колодой жизнь прожить и ничем не интересоваться?

— Почему ж? Я этого не говорю; известно, без интереса — что за человек? Но это... Меня вот удивляет учитель Балазевич: на все ответы нашел хлопец. Бога нет, помрешь, сгинешь, вот тебе и все... Ну не дурак ли? А кажется, и парень ничего, покладистый.

— Так как же, дедуля?

— Как? А так: сколько надо, знай, а в большое не суйся, а то как бы, случаем, себе шею не свернуть. И не думай, что все так просто.

— Вы, дедуля, когда были помоложе, наверно, не говорили такого?

— А что — «помоложе»... Когда был моложе, шел я однажды в полночь возле кладбища, а там была свежая могила: давеча пан войт помер. Дался он, этот войт, при жизни людям. Жестокий был человек, никому спуску не давал. Пусть уж спокойно лежит. И помирал долго и страшно, очень мучился, никак помереть не мог. Иду, значит, я с палкой, гоню прочь мысли о покойнике, а они так и лезут. В ту сторону, где могила, и не смотрю, но кто-то как бы подбивает: «Глянь, глянь, что там?» Не утерпел я, скосил глаза: глядь! А на могиле, над холмиком — белый, как в тумане, человек стоит и будто точь-в-точь на пана войта похож. Заколотилось у меня сердце, ноги онемели, плетусь как неживой, даже боюсь дышать. А то, над могилой, дрожит-дрожит, колеблется, как воздух в погожий солнечный день; только оно белое, как бумага. Не знаю, как уж я до хаты доволокся, седые волосы у себя на следующий день, правда, нашел, болел долго, ходил как чумной...

Дед помолчал. Студент тоже притих, но потом все-таки спросил:

— И что же это?

— Что? Если бы с другим — не знаю, что было бы. А уже лет двадцать спустя слышал от пана Беляевского, что случа-

лось такое и другим видеть; ученые люди говорят, что как только покойник начинает гнить в могиле, из него сквозь землю выходит что-то — забыл название, какое-то ненашенское слово — и собирается над могилой в такую форму, какой был похороненный там человек...

— Фосфор, наверно... Знаю.

— Может, и так, забыл, названия не помню.

— А-а... — задумчиво произнес студент.

— Когда-нибудь, может, обо всем непонятном, что окружает нас, разведают люди. Бог знает...

Дед умолк. Лошади побежали веселее, так как лес темной громадой остался далеко позади, а где-то справа, тоже далеко вдали, голосил паровоз. И станция была уже близко.

— Одно только останется людям навеки святой загадкой — это Творец наш Всевышний. Если бы не дано людям было этой загадки, не было бы человеческой жизни. Пропали бы люди.

«Ишь, какой дел, — подумал Архип, — недаром же собрал целую божницу* богословских книг, недаром же когда-то и у базильянцев** учился в Мстиславле».

А дед в этот момент молчал, погруженный в важную для него думу. Витали образы минувшего перед помолодевшим стариком. Спустя некоторое время он, подумав, заговорил.

— Так вот, милый ты мой Архип. Вижу я, крепко в тебе сидят наши родные корни. А мне, старику, помирать пора. Смерть моя из-за кургана уже смеется: может, и не увидимся больше, так вот, будь добр, обрати внимание на мои стариковские слова. Едешь ты в далекий свет. И первое, что я тебе скажу, это — читай, голубчик, в книжках и у разумных людей спрашивай, как жили в давние времена здешние люди... Исполнишь этот наказ — не ошибешься в жизни, будешь знать, что надо делать. И никакая, братец, чертовщина, никакие черные думы не одолеют тебя. А второе: чаще в родное гнездо прилетай, тогда оно не будет казаться тебе страшным, и не побежишь ты, испугавшись, от него прочь, если порой от какого-нибудь глупого или темного и обиженного человека услышишь нарекания неправедные, хулу на твои дела и труд.

---

* Божница – в данном случае полка с книгами.

** Базильянцы – униатские монахи.

И еще добавлю: не забывай в городе, даже в доброй товарищеской беседе за сладкими напитками и смачными дорогими закусками, не забывай спросить себя: «А может, сейчас у кого-нибудь корки хлеба нет?» И знай тогда, что нытьем и стонами беде людской не поможешь… Помни, чтобы другого из беды выручать, надо самому крепким быть, не растрачивать силы, а то и самого затопчут… Только ты не гневайся, что я даю тебе наказы…

— Что вы, дедуля! Мне это любо, легче мне так.

— А чертовщина… Может, она не такая непонятная, как нам кажется… внуки наши больше нас знать будут.

— А все же обидно, дедуля, что люди такие слепые.

— Это возраст у тебя такой! Хуже всего, что рос ты среди нас, темных людей, в лесу, где еще дед мой возле осинового пня молился Богу Дуплинскому-Ильинскому. Вот оно и отзывается в тебе. Ничего, привыкнешь среди панов — все уладится…

— Э-э, нет, дед! Почему же тогда…

— Ку-гу-гу-гу… — загудел паровоз, заглушая слова студента. Недалеко от станции, по насыпи, бежал пассажирский поезд.

В теплых, удобных движущихся хатках ехали люди, ехали со своим горем и радостью.

— Ча-чах, ча-ча-стук, — быстро и громко стучали-чахали, — чах-чах, ча-чах-стук, — татахали под вагонами огромные колеса.

Подул тихий ветерок, закачал лозу над канавой, пробежался по примятой придорожной травке.

«И триста, и четыреста лет назад тут так же дул ветерок и так же шевелил-целовал травку, поникшую и безмолвную… только чудо-машины не было», — подумал студент и загрустил…

В ПАНСКОМ ЛЕСУ

— Ах ты, шутник проклятый! Отстань, тебе говорю, а то, знаешь ли, оплеуху схлопочешь!

— Погоди-ка, не испугались. Да и не кочевряжься понапрасну, пока с тобой по-хорошему. Не хочешь с лаской, будет без ласки!

— Убирайся, дрянь старая. Бери мешок, бери платок, обдирай до нитки, собака панская, а эти шутки ты оставь, поганец!

— А мы вот как...

— Ы-ы-ы, не трогай...

Хрясь! Хрясь!

Зашатался старый лесник, наклонился, раскорячил ноги и совсем уж некрасиво осел на землю.

Дрыгнул ногами в поношенных сапогах и вытянулся.

Черная, мерзкая, страшная кровь потекла из его головы, пачкая новый жупан, ружье.

Молодица остолбенела, в ужасе вытаращила глаза, тупой нож, которым корни копала, выпал из ее рук и шмякнулся на землю.

Ой! Тошно, страшно... Не оживить его. Это уже навеки.

Бежать...бежать... О-е-е-ей... Что это?

Закачались по-недоброму макушки деревьев, поникла трава, чуть слышно треснул сухой сучок, легкое облачко убежало с одного края неба на другой.

И, как сумасшедшая, бежала молодица.

Лежал неподвижно, как колода, старый лесник.

ЧТО ОНО?

* * *

...А когда темная, пасмурно-сонная ночь сползала на землю и проникала в самые потаенные уголки, когда все вокруг затихало, успокаивалось и смыкало веки в загадочном сне, когда даже чуткие, брехливые в ночную пору собаки начинали, поджав хвосты и угревшись, дремать на соломе в укромном месте под навесом, в это безмолвно-сонное время она, скорбная, тихо шла по очень знакомой узенькой тропинке за селением в сторону спящей, безголосой, онемевшей рощи, неясным черным пятном вырисовывавшейся

далеко впереди, на фоне нечетко очерченного ночного неба в каких-нибудь шагах пятидесяти увидела белеющий новый высокий крест над свежей могилой, простирала перед собой тонкие, сухие руки, наклонялась всем туловищем вперед и, как заколдованная, шла так до самого креста.

Тихо, глухо… Ночное безмолвие…

Будто сломанная ржаная соломинка, с глухим болезненным стоном падала там, на холодную, еще не слежавшуюся землю…

Вокруг ночная тишь, и она лежит, лежит молча.

Порой седые, мутные, как дым, облака разбегались в стороны, соединялись по краям в огромные, черные с беловатыми просветами тучи, а посередине выходила бледная, немая луна и заливала тусклым оловянным светом и пустое поле, и березы с обвисшими ветвями, и поодаль кудрявую, с просветами между сучьями сосну, и дубовый, еще не потемневший крест, и ее, неподвижную; некоторое время посмотрев с удивлением и как будто задумавшись о жизни, луна снова пряталась за небольшие тучки-облачка, а она все плакала, стонала и, обессилев от скорби, тяжко вздыхала и начинала что-то шептать.

Справившись со слезами и чуть окрепнув, поднимала руки над головой, пристально вглядывалась в темноте в маленькое жестяное распятие, прибитое к кресту, и все шептала сухими, запекшимися губами, все шептала…

Горючие слезы текли по впалым бледным щекам, остывали и в красном блеске бусинками — кап!.. кап!.. — капали на свежую могилу и, проникая сквозь еще рыхлую землю, достигали гроба, смачивали его — солью со временем покроется.

А вокруг ночное безмолвие… Безмолвие…

Онемевшие, уставшие руки обвисали, разболевшаяся голова под черным платком склонялась на молодые груди.

И тотчас же безжалостно, беспощадно принималась колотить себя кулаками в такие молодые груди, в порыве отчаяния рвала на клочки белую кофточку.

Громче, с болью в душе стонала, падала, билась о землю и припадала к ней ухом…

Вдруг целовала глину, землю, долго, не отрываясь…

— Очнись! Встань! А-а-а... Отзовись мне! Отзови-и-ись...

Мертвая тишина стояла возле рощи и в роще, и необъяснимая жуть плыла-тянулась в этой тиши.

А она распростирала руки на могильном холмике и снова лежала, будто бездыханная...

Потом начинала с трудом шевелиться, как после тяжелой болезни...

Шевелилась, но так, словно кто-то прижимал ее к земле, не давая возможности подняться.

Вставала на ослабевшие ноги, шатаясь, медленно крестилась и целовала распятие, осеняла крестом воздух в одну сторону, вторую, третью, четвертую, и всякий раз целовала покрытую росой землю на могиле.

Перекрестила всю могилу.

Вынула из кармана небольшой перочинный нож, а из-за пазухи листочек исписанной бумаги, прижала к грудям молодым, поцеловала, слезами облила...

Нагнулась. Подняла дернину, копнула ножиком.

Положила в ямочку листочек, засыпала землей, затихла...

Взяла горсточку земли и высыпала себе за ворот на молодую измученную грудь...

Зябко...

Молилась снова, но уже тише, с приятной мукой и легким сердцем, плакала...

А возле рощи и над нею — тишь, ночное безмолвие и покой... Ни звука...

Невидимый воздух был полон этой тишиной, совершенно не понятной.

Темная, она сидела над белеющим крестом... Положила голову на ладони, дрожащими пальцами давила на обсохшие глаза и думала:

«И откуда оно все? И почему оно все?»

Тишина, нет ответа...

«Где душа его, где дух его?»

Тишь безответная...

Выше и ниже быстро бегут по небу облака, спит роща, и березы, и сосны, и кресты, и надмогильные теремки, росно на поле, а пахнет так мягко и томно, хотя и ночь прохладная.

А под землею гниль...

«А у него в гробу? Он… Не такой, неживой, страшный… Мертвое тело, не он… Прах, труп… Как и тогда, на похоронах, тяжелый дух…»

И от всего спящего вокруг, от всей таинственной, непонятной и страшной природы, вроде бы обычной, но непонятной, от нее теперь со всех сторон летала во мраке одна мысль-загадка: откуда все и что оно?

«Как же это, неведомый Всевышний? Как оно? Жил, ходил, любил… Оставил, умер, нет духа, нет его… Гниль… Кости, череп, прах...»

Безответная мрачная тишина…

Сидит темная под белеющим крестом… Думы, думы…

Далеко впереди темнеют хаты. Проснулся в свое время петух, запел, за ним — второй, третий… А поле, и роща, и кресты спят…

Тишь… Сон…

* * *

«…Целую ночь ты обливаешь своим блеском уныло, но упорно и беспрерывно.

Нет, не блеск, не серебро, а что-то оловянное…

Потому что некуда пойти, кончилось… Нет того серебра ядреной ночи, когда голову пьянили пышные, сочные, росные розы и сердце стучало от ее взгляда милого, глубокого, долгого и что-то важное говорящего…

Ты и тогда была оловянной, но казалась серебряной… Тихо было под старыми липами. Лунная ночь… Ядреная… Чего-то хотелось…

Было, было, но обманул…

Ты своей бледной красотой и непонятным вечным молчанием влечешь к себе маленькую синеокую Антосю, поднимаешь ее, малютку, возводишь на высокую крышу…

Тс-с… Нельзя кричать… Луна, как раз сегодня полная, возвела маленькую девочку, а вдруг... тс-с! Упадет, разобьется насмерть…

Чем она привораживает? Чем? Чем притягивает к себе?

— Погоди же!

Схватил ружье, набросил на плечи жупан и выбежал на улицу.

А ночь! Боже мой, какая ночь! Она необычайно хороша...

Старые, тихие сеновалы под серебристо-белыми крышами спят среди темных садов, отбрасывая черную-черную тень...

А там молчат гумна, бани... Крыши и огороды вдали в серебре, а ближе — темно...

Луна... Луна...

Беззвучно, тихо, думая свою извечную думу, смотрит на лес, поле, хаты... Высокая, далекая...

Иногда чуть скроется за прозрачное облачко, которое тонкими мазками растянется по ней, будто вышитый разноцветными нитками рушник тонкого полотна над иконой в святом углу.

Мигают, мигают, мигают звезды...

Как драгоценные цветные камни, переливаются. Как лампадки, блестят огоньками белыми, золотыми, красными, желтыми.

Думается о чем-то тихом, но тревожном...

Как красиво, как волшебно-мило, какое великое мастерство в каждой мелочи из творений Великой Непознаваемой силы!

Приятно, любо, не страшно, но тревожно...

— И все-таки подожди!.. В твоей безмятежности нет покоя... Ты лишаешь покоя... Зачем влечешь к себе, притягиваешь, молчишь?

— Выстрелю в тебя!

Прошипел он хрипло, злобный среди красоты, невольно заскрежетал зубами, стал целиться.

С взлохмаченной, поднятой вверх больной головой, без шапки, в наброшенном кое-как на плечи жупане, вскинув ружье и держа его в дрожащей руке, был он страшен и красив...

Не рано, поздно...

Лунный свет... Лунный свет вокруг, светло, необыкновенно, и лезет что-то лунное, безмолвно-непонятное, лезет в слабую душу, побежденную необъяснимой красотой всего, что погружено в сон здесь, на земле и что, невидимое, спало в воздухе и что, быть может, имеет душу или ее истоки там, далеко, на других планетах Вселенной...

Больно, невозможно, выше человеческих сил услышать все это слабым ухом, невозможно и безнадежно...

Лунный свет... Со всех сторон, со всех сторон охватил спокойно-неотвязчивый, чуткий в невидимой атмосфере, серебряный и тревожащий, когда некуда деться, лунный свет.

И тогда было ядрено-бело, и теперь... И тогда было серебристо-бело, и теперь. Какой чарующий голосок был у Яди... Личико ее, руки ее...

Нет, нет, свет был оловянным. И теперь он оловянный...

Нет того, где оно? Где живут те мысли, куда они деваются?

Спит за озером панский фольварок, хаты спят...

Только сторож: «Хлоп!» — молчание... «Хлоп!» — молчание... Далеко...

Целился, целился, навел на середину, поднял выше.

Возмущение утихало, дрожь-волнение проходит... В усталом сердце тихая досада.

Что там на ней, на луне? Горы, тени или Каин с ведром густо-черной запекшейся крови Авеля? Что там?»

Бессильно упала рука, старое, плохое, дедовское ружье шмякнулось на землю.

Невольно и сам опустился на землю, согнулся, скорчился...

Обхватил голову ладонями, подобрал под себя ноги, свернувшись калачиком, лежал на траве, глотая что-то горько-обидное, подкатившееся к горлу, и, чувствуя теплые, нелепые слезы на глазах, шептал, сломленный неодолимыми силами:

— Что там? А? Что там?

А время полуночное, луна высоко... И лунный свет разлит повсюду... Светло, но и видно и не видно вокруг, хотя такой серебристый свет!

— Ума лишусь, рассудок потеряю, головушка моя бедная, как трещит она, как болит, помутилось в ней все, гнеты там из пруда, стучит в висках, горит...

Лунный свет...

— Пусто на сердце... и ничего не знаю. И уже нечего делать... Думы мои, мечты мои, идеалы мои... Кончилась дорога, некуда бежать-торопиться. Куда идти нельзя? Ничего и никого нет у меня...

* * *

В ту ночь страшно разъярился злющий, студеный, свирепый и неутихающий ветер, с диким воем гулял он по оголенным черным полям, с визгом носился по оставленной картофельной ботве, словно осатанелая собака, бросался на темные безлистые, голые ольхи, трепал их с омерзительным смехом-шипением и, перелетев через чернобыльник и со злобой покомкав остатки пеньки на пустом конопляном поле, он тонко звенел и проскальзывал в самые крохотные щели гумнá и сеновала.

Ему нравилось наводить ужас на земле этим своим: дз-дж-джуг-аэ-эй-сю-сю-скригр...

И он голосил в щелях, во всяких дырочках, воротах, под крышей, в проломах, а потом, окончательно озверев и потеряв последний стыд, бросался в печную трубу и начинал там выть и заливаться на все лады, справляя свои длинные колдовские поминки: «Гойо-о-у-у...»

На небе ни звездочки. Темно и черно: на небе, на земле, вокруг...

В трех шагах человека не увидеть.

Не зная хорошо дороги, дед-странник с котомкой на спине и длинной палкой-посохом в руках то и дело попадал в глубокие лужи с липкой густой грязью, натыкался на камни, несколько раз падал в придорожную канаву и чуть-чуть не прошел мимо моста.

Так и плюхнулся бы он в холодную бурлящую неширокую, но с обрывистыми, осыпавшимися берегами и бездонными омутами речку, зацепился бы там лаптем за корягу, седой головою ударился бы о камень или колоду и захлебнулся бы во взбаламученной воде...

Вдруг бултыхнулся бы, только бы забулькало-забульбатало: буль, буль, буль... Разошлись бы круги, поднялся бы ил, пузыри вскочили бы, постояли, покружились бы, поплыли и исчезли бы, не оставив пены.

И снова бы там — тишь и гладь, и светлая вода, кажущаяся ночью черной... А поодаль на камнях все также бурлила бы и шумела вода в стремительном беге узких, извилистых струй...

Темно, холодно, влажно, сыро, грязно, ветер неистовый.

Из мрака на деда-путника поглядывает кто-то неясный, искрящийся, зыбкий, неестественный...

А убогий, дряхлый дедуля-старец, озябший в потрепанном, дырявом жупане, с дрожащими от холода худыми ногами в тоненьких холщевых штанах, шлепая растоптанными, разлохмаченными, грязными лаптями, шел по этой хляби, стремясь к теплой печке, и уже не думал о том, как ему плохо, а как-то привычно воспринимал свою судьбу.

Иногда пристально всматривался в темноту и уже не размышлял о том, почему все так устроено в мире, как это случилось и почему такая ненастная погода, а как-то привычно и безропотно недоумевал, не понимал, отчего неустроенна жизнь, почему плохая погода.

Вглядывался внимательнее и видел, что по сторонам дороги, за ольхами, за канавами искры сыплются и исчезают... мелькнет что-то искристое, и нету...

«Это глазам мерещится... Кости ломит, простуда...»

Или так показалось, или в голове мелькнуло, но выглянул из мрака кто-то с оскаленными зубами, высунув длинный толстый, как полено, язык и вылупив красные глаза...

Жизнь, жизнь... как та мечта. Зачем так Бог сотворил, с чего все началось?

Когда служил он «человеком» в распутном доме... Чего только не было! Забылось... Лапти, ревматизм, нищенская сума... Нет уже той сумятицы... Только одно засело в памяти: толстый седой генерал за столом среди бутылок, среди девиц сидел и жутко плакал: «Пейте, мои, мои... люди добрые! Тоска, тоска заедает!..»

Темно, грязно... На теплую бы печь.

По черному, холодному небу прилетел бы вдруг из-за леса змей и сыпал бы искрами...

Летит... Клубок огненный... Осветилось все вокруг. Шум страшный и шипение. Ближе... Стучат о землю камни, шлепает во все стороны смрадная грязь... Деньги несет... Глаза большущие красные вытаращены, клыки длинные клацают, шея тонкая... то ли крылья, то ли ноги с копытами и руки с когтями... Красные угли разлетаются, трещат, шипят... Во дворе лесника жутко завыла собака, но тихо, чего-то опасаясь...

Ничего нет... Это только мысли в темени ночи под шальным ветром.

Кто может знать, откуда пошла жизнь? Сразу было много людей или с одного началась? Как? Почему он не рассказал внукам, откуда он, первый, взялся?

Холодно деду... И что это за жизнь? Зачем жил? А жить хочется... Ничего не понять, все неведомо.

Все непонятным и проходит... Только порой вспомнится седой толстый генерал в распутном доме... Плачет: «Пейте, мои, мои... люди добрые! Худо мне, горько мне, о Боже мой...»

* * *

Думы мои, думы, пчелы кусачие, птички крылатые, облачка летучие! Где сгубили жала свои, где крылья растеряли, где дождем пролились?

Кто покалечил вас? Кто, какой злыдень? Кто, какой злыдень изуродовал вас безжалостно, вред причинил, скривил в сторону, в дурную сторону?

Ползут бескрылые, мокрые, усталые по пустынной дороге в седой пыли...

Почему без жал? Думы мои, думы, мечты мои...

....

Все люди спать легли, а ему... как его?.. а Янке не спится.

Сидит он одинокий, в закопченном углу под закопченными иконами и черную книгу читает. А ветер, ветер в трубе: «Гугу-за-гу-блю-у...» — знай поет, будто воет, да березовыми сучьями над окном по мокрым стенам бьет, хлещет, шестом качает, колышет: «Драб-драб... скиги...» — бушует непрерывно. А дождик осенний, не утихая, в стекла барабанит, словно покойник, стучит и плачет мутными мелкими капельками-слезами.

Темно на улице, света уже нигде нет, полночь уже. Черную книгу читает Янка, добивается-доискивается ответов на свои вопросы-искания... И слышится ему порой — нет не слышится, а думается, что в ночной тиши звуки живут бесконечно, что не ветер в трубе завывает, а ребенок некрещеный, которого его мать-девушка грустно-красивая — греховной любви невольница — удавила тесемкой красной и схоронила у дороги без святого креста, что это он плачет-

стонет в трубе, крещения просит. И слышится-думается Янке, что не ветер ветвями березы о стену бьет, а скребется тот страшный колдун, который при жизни волком бегал и по ночам летучей мышью носился и кровь человеческую сосал у спящих младенцев, что это он в хату скребется, так как нет ему покоя на том свете. И слышится-думается Янке, что не дождь за окном слезы льет, а самоубийца просит молитвы праведной, что Бога достигнет, это он там стонет...

Ужас наваливается на Янку, но не поддается он, найдет то тайное, что ищет в книге черной...

Посидел еще немного и решился. Встал из-за стола, надел жупан и шапку-ушанку. Взял нож складной, освященный, что в лукошке лежал, когда Пасху святили, взял свечку, которую во время грозы зажигали, и просвиру* поминальную и на цыпочках за порог вышел. Тихонько закрыл дверь, запер сенци и за ворота по двору, огородами к гумну направился.

Черно и темно. Студеный ветер и противный дождь — а вокруг тишина: и петухи не поют, и собаки спят, не лают.

Смотрит Янка по сторонам — ничего не видно, но все страшнее ему делается... А может, потому, что ничего не видно?

Хак! Кто-то темный метнулся из-за старой груши... Нет, это слива там качнулась.

Продолжает свой путь к гумну Янка, а на голове волосы дыбом встают...

Вошел в гумно. Теперь только до сушильни добраться.

Ступил несколько шагов, на соху наткнулся, шмякнулся. Ощупал себя — повеселел.

Вот и яма** в сушильне. Поднимает доску... «А не вернуться ли? Не бросить ли все это? Когда-то же смеялся, веселым был... что я делаю, что я вытворяю?»

Отодвинул доску в сторону, полез в яму... Темно, тихо, копотью пахнет гуменной.

Одна ступенька, вторая... Впотьмах оступился на третьей, сразу соскочил на пол, а земля с неплотной стенки — гур-р-р... — посыпалась...

Сердце заколотилось. Присел на землю и торопливо просвиркой стал круг обводить. «Как там по черной книге

---

* Просвира (просфора) — круглый белый хлеб из крутого теста, употребляемый в православном богослужении.

** Яма — подвал, где находится печка для просушки снопов перед молотьбой.

положено? Как там по ней?» Едва слышно зашептал: «Сила темная-черная, сила бесплотная-грешная, сила нечистая антихристова, к послушанию призываю тебя раз, и второй раз, и третий!..»

Сказал так Янка и просвиркой обвел вокруг и как бы успокоился, но тут опять — шпок! — упал комок земли со стенки возле печного отверстия. Мороз пробежал по спине, руки и ноги похолодели. Святой свечой стал круг обводить, хриплым голосом шепчет: «Люцифер, Сатана, Аримане, Черный Бог! Ниспошли мне мелочь такую — на послушание — говорю первый раз, второй и тре!..»

Он еще не договорил, как кто-то под локоть толкнул его. Или ему это показалось, или только подумал об этом, или сам задел нечаянно за столб, который потолок держит?

«Наверно задел, здесь никого нет».

И второй раз свечой обвел, и уже нож освященный взял.

«Что я делаю?» — снова мелькнула мысль, однако и ножом круг обвел.

Ведет, ведет… Вдруг: динь… — зазвенело в ушах… Что это? Крикнул, мяукнул кто-то в гумне?..

Как ужаленный, вскочил Янка и бросился вылезать из ямы. Круга не довел… в беспамятстве ухватился за ступеньки, полез… Выскочил наверх, а там позади земля посыпалась, загудела стена подвала…

Бежит, бежит Янка по току; волосы на голове дыбом встали, под коленками онемело.

Вылетел из гумна, несется по огороду, шапку в руках держит. Ветер рот забивает, дождь в глаза хлещет.

Добежал до сеновала, пришел в себя, постоял.

«Чего ж я побежал? Ничего ведь не было. Испугался… И нож, и свечка, и просвирка там остались. Ввела в заблуждение черная книга…»

Расстроился. И снова думы тягучие, печальные.

«Не выдержал… Не явились силы черные. А может, и исполнилось бы веление книги черной, колдовской? Кто знает? Если бы не исполнялось, то и не говорили бы, не выдумывали бы такого. Струсил, побежал, испугался, как молодой конь…»

Безмолвные деревья нечеткими силуэтами чернеют в ночной темени, ветер дует порывами. «Так было, так есть,

так будет, и неизвестно, откуда все это, кто это сотворил и что будет после смерти? Помер, исчез... а силы таинственные? Никто ничего не видел... С того света никто не являлся, не рассказывал. Может, и того света не существует? Так что же тогда, как тогда? Зачем же этот свет создан?»

Темно, глухо, сонно...

Колдуны ныне живущие! Скажите, какой нечистой силе душу продать, чтобы всего лишь спросить кое о чем? Не идут бесы, потому что знают, поганые, что у них душа моя, несчастная...

Зачем направил меня в жуткую гуменную яму лезть? Зачем?

Вера, вера! Мало веры! Нет веры ни в то, ни в это, есть только жуткое желание, есть оно, проклятое... Зачем оно пришло ко мне? Зачем?

А когда-то же был я веселым, смеялся же я...

* * *

— Дурачок, дурачок...

Разумные люди дурачком называют.

Он не спорит, ведь все равно он дурачок по людскому понятию.

Но сперва был угрюмым парнем, затем «вороной», потом придурковатым и наконец стал дураком.

— Дурак, дурак...

А он хочет самим собой быть. Глупый...

Но почему обидно? Что мучает его? В чем его глупая грусть-тоска?

И разве не понимают этого обыкновенные, умные люди?

Еще чего захотел! Глупый, глупый!..

Сами они все глупые... Разве ж не глупцы? Прячутся, только, скрытничают. Разве так разумным людям надо жить? Нет, глупцы, глупцы...

Их много. Все они зовут его дураком. Весь приход. И паны. А он один. Над ним смеются люди, если он называет кого-нибудь дураком. Люди... Их много. И только одному ему нельзя называть их дураками. Мать плачет, отец молчит, старший брат дерется, а жена брата ругает его, дурака, по-

тому что ходит грязным, а сама не хочет рубашку ему постирать.

А он желает по-своему жить. По-своему...

А дети плюются и сыплют пыль в глаза... Правда, не все. И дразнят дурака.

Идет за гумнами, за огородами, по дороге и осеняет крестом все: и поля, и березу, и сине-золотого жука, и какую-то бабочку, и птичку, что слышна вон там, в рощице.

Дождик прошел. Пыль прибил. Зеленее-веселее стали еще маленькие березовые листочки, озимь веселее, чище, полосами колышется, умылась, покрасивела. Какой легкий воздух! А рощица зеленая-презеленая, и птички охотнее поют.

Прошел дождик, прибил пыль, землю освежил, траву обмыл.

Кладет кресты по сторонам, потому что ему так хочется... Воздух такой приятный.

Едут со стороны леса. Пани Иванецкая там ездит. Вороные кони, рысаки, бегут быстро. Сидит в черной блестящей коляске, как обычный глупый человек, неизвестно что разглядывает по сторонам из-за широкой Минковой спины; вдруг его увидела. Прищурила глазки, вынула из сумочки тонкий душистый платок, пальцами подзывает.

— А-а! Поди сюда, дурачок! Кого это ты благословляешь? Благослови, дружок, меня...

Коням не стоится. Умный Минка натягивает вожжи, сдерживает лошадей, потом оглянулся, смотрит на дурачка, усмехается, растягивая толстые сытые красные губы.

А дурачок молча на них смотрит, насмешки своей над ними не показывает.

«Глупые! Думают, что все уже знают... Веселые, потому что натешились в темном лесу, но противно же, делают при этом умный вид, дурачье...»

А он видит, чего они ездят в лес, на это они не дураки.

Прикидываются перед дурачком. «Зачем ее благословлять? От нее распутством разит, а она притворяется, что понимает что-то в жизни, умную из себя корчит... Сказать бы ей...»

— А Минка в лесу... га-га-га...

Сразу покраснела, глупости поубавилось и денежку назад в сумочку положила. «Ну и пусть не дает, все равно дети отберут».

— Что ты мелешь, дурак? Пошел прочь, сумасшедший! Минка, трогай!..

Покатили...

Засмеялся и пошел посидеть в кладбищенской роще. «Надо ту могилу перекрестить, где живого закопали».

Задумался.

Смешная эта пани. Смех и грех. Посмотришь на ее жизнь и загрустишь. И помереть хочется.

Жизнь, жизнь, сто́ишь ли ты того, чтобы жить? Вот пани живет... А может, так и лучше. И уж наверняка веселее. Но если вспомнишь всю правду жизненную — стыд один, стыд! Волнами мягкими, теплыми кровь к щекам приливает — красными становятся.

Жена брата ругается и рубашку мне не стирает. Умер бы, да смерть не приходит. И надо пожить побольше, чтобы, умерши, не жалеть.

Надо перекрестить могилу, где живого закопали.

Проснулся, пришел в себя, ощупал стенки со всех сторон — ни единой щелочки. Дышать трудно. Кричать — только хрип отдается, сквозь землю не услышат. На сажень под землей тяжелой, воздуха нет, смерть. Волосы дыбом встают на сморщенной коже. Дышать, дышать нечем, нечем... Ай, хри...

Руки, видно, кусал, головой бился, скорчился, глаза выкатил, конец. Не услышали умные люди, дурачку не поверили, и живой под землей остался... В страшных муках кончился.

Сгнил. Дух вышел. Какой там дух! Ему не хватило духу, воздуха не было, умер. Воздух — это дух его.

Надо перекрестить ту могилку... «Дурак, дурак»... А я хочу по своему жить... хочу воздухом дышать... хочу... хоть часик-другой... — Почему нельзя? Почему нельзя? Почему так тянет к себе земля? Мне не нравится здесь, в лощине, среди плетней, изгородей, заборов, оград, нет... И черта не видно...

Черта, черта, чертеночка... И я черт. «Дурачок, дурачок...» Попову батра́чку в болото завел. Плакала, плакала Рипинка Неподступная... Разве я знаю, зачем так надо было?

Дурачок, дурачок...

* * *

Янка-колдун болеет, но не помирает.

. . . .

Выскочил из-под печки синенький огонек и побежал по хате… Катился, катился и белым дымом изошел. Из этого дыма выскочил малюсенький старичок в черной войлочной шапке, в руке какую-то красную торбочку держал, на палку опирался…

Откуда он, бес, взялся?

Развязал торбочку, выхватил из нее какие-то вилки и сразу же к Янке подскочил.

Что ему здесь надо, что ему здесь надо?

Зубы Янке моментально разжал, с сатанинской быстротой вилку в рот саданул…

— Сотер… Оропотоцинет… перекрутил… — захрипел Янка, таинственный знак в воздухе сделал — и тотчас же исчез черт, словно сквозь землю провалился. Серой и падалью-тухлятиной в хате запахло, туман рассеялся, и нигде никого.

Пора, пора Янке умирать, а душа не покидает тело за его колдовство. Муки непомерные, страхи великие.

На крыше хаты: «скраб, скраб… Скребется кто-то, будто кот неуемно-вороватый… Лезет, дырявит соломенную крышу.

Беспрестанно скребет когтями, беспрерывно грызет острыми зубами, резцами-шильцами.

— Стреляйте по крыше из моего дедовского заклятого ружья, — хрипит колдун.

Боятся все, боятся. Откуда этот страх великий в темени ночной появляется?

— Погодите, вот заряд к ружью… — сказал и изо рта черно-гнилой зуб… нет, не зуб — галушку хвать! И протягивает ее сыну Василю.

Онемел Василь, взял зуб и от нестерпимой боли вскрикнул истошно: как огнем обожгло руку от этой галушки… Пальцы почернели, и гарью потянуло.

Схватил Янка сына за руку, стал шептать над ней, подул, пофукал, вложил в нее галушку. Теперь не обжигает…

— Не пугайся, Василь! Заряди старое, видавшие виды ружье и пальни по крыше… в него, в того… Вот и не буду по

ночам ходить и детей твоих грызть... слышишь? — и захрипел злобно, по-сатанински.

Выбежал Василь на улицу. Ночь темная, на высоком небе ни звездочки, только облака-тучи черные плывут, словно горы большие, грозные, словно таинственная орда страшилищ-силачей...

Зарядил Василь ружье, прицелился как следует на самый конек крыши и то ли сказал, то ли подумал: «Помоги мне, Господи Бо...»

Рвануло ружье, ахнуло, зыкнуло, посыпались искры из глаз, захохотал на крыше...

. . . .

О, хватит мне, хватит мне, довольно... Что я пишу? Люди смеяться будут. Все будут смеяться над моей писаниной: товарищи-студенты, которые зовут меня белорусом из-под пущи, и товарищи — парни-шахтеры, которые приедут к Николе Весеннему из Юзовки и, услышав мою песню извечную, скажут мне: «Не ходишь ли и ты, порой, молиться в овин за сушильню? Заплесневел ты в Богатьковке... Поедем осенью в Юзовку, опустишься на полверсты под землю, подолбишь уголь — и забудешь малость про всякую чертовщину, рад будешь выпить, закусить и на ярмарку пойти. Веселым станешь...»

Предрассудки мои! Откуда вы? Я же знаю, что ничего того нет... чего... Но разве знаю? Нет! Я детям рассказываю о природе по-научному, редко говорю о чем-нибудь страшном. Милые мои детки...

Думы мои! Откуда вы? Давно это было, когда дедуля, теперь уж покойник (вечный ему покой) сказки мне страшные рассказывал, пугал меня чертями и бесенятами.

Думы мои, откуда вы?

БОЛЬШОЕ И МЕЛОЧИ

Вышел замученный трудом и житейскими заботами человек из своей тесной хаты подышать свежим весенним воздухом.

Сел на скамеечке на высоком берегу реки и смотрел на город.

И увидел: высоко над рекой вороны летели...

Блестела в реке вода, отражались в ней у берегов голые сучья деревьев.

Синее небо на западе бронзовело, желтело.

Вороны летели тихо и по-человечески важно, даже немного напыжившись. И безучастно, по необходимости, махали крыльями.

Вспомнил человек о своем труде, о своих заботах...

И сам себе показался маленьким.

«Все большое и все мелочи...» — прочитал в своем сердце.

И не спешил возвращаться домой.

— Все успеется... большое и мелочи, — разгонял он свою тоску.

ВСЕ ПРОХОДИТ

Темное небо хмурится, а вечер теплый-теплый.

Вышел молодой, но грустный парень из душной хаты в прохладу садика.

Сел на скамеечку, глянул на небо и подумал:

«Там черные тучи, а между ними просветы. И ветер не очень теплый. Дождь будет. Но приятно...»

И вспомнил он, что было когда-то под таким же небом, и сказал самому себе, вздохнув:

— Прошел год, прошла любовь, и постарел я... Да. Все проходит.

А тучи, и просветы, и ветер безмолвно, но непоколебимо подтверждали:

— Да, все проходит и все вечно...

* * *

Он сидел и слушал, как вон там, возле хаты, веселятся парни и девчата.

Гармонь то заиграет, то умолкнет. Когда тоскливо, и гармонь печальная...

Там частушки поют:

Почему ты не пришел,
Когда тебя просила?..

А наплясавшись, подурачившись, расходятся по своим хатам.

Вот мимо идет пара, взявшись за руки, как дети. Его не видят, перекидываются словами.

Девушка говорит:

— А завтра праздник. Я так люблю праздники. А то все работа и работа...

Парень молчит и по-детски размахивает рукой, ее и своей, любовно и мило.

И думал тот, в садике, когда они проходили: разбегутся эти тучи и облака, проглянет синяя темная высь, тишина разольется в воздухе, и будет светить красивая луна...

ОЗИМЫЕ

I

Не подумайте, люди добрые, что в рассказе этом выдумка хитрая, плетение словес... Нет.

Явно нарушая законы изящной литературы, я пишу тут о том, что было в действительности. Пишу без прикрас, по крайней мере: пишу так, как теперь проходит минувшее перед моим мысленным взором.

Тут справляю поминки по моему дорогому, незабвенному товарищу.

Я знал великие силы его молодой души и ее кристальную чистоту.

Я знал... И я должен рассказать братьям белорусам, какую силу, должно быть, находившуюся среди нас, мы утратили.

Господи, неужели утратили?

Где ты теперь, мой дорогой Владимир?

Где он, братья мои?

Не думайте, что он покойник. Откуда это известно? Я ведь был его близким другом, и я не знаю, на том он свете или на этом?

Для своих родственников и знакомых он умер. Все думают, что он совершил самоубийство.

А в полиции записано коротко: «Владимир З. — пропал без вести». (Полную фамилию Владимира написать в данное время не могу по не зависящим от меня обстоятельствам.)

Ходят слухи, что он утопился, но тело его не нашли.

А я, зная его характер, вспоминая его мысли и кое-какие слова, думаю, что он живет!

Живет и кует судьбу нового человека где-нибудь в Америке или в какой-нибудь иной далекой стране.

Теперь (хотя это выглядит немного смешно, но утопающий хватается за соломинку), теперь я попросил бы того, кто будет в Америке и, случится, встретит такого серьезного, задумчивого, с грустным лицом, но с горящими глазами белоруса (имя и фамилию он мог изменить), чтобы присмотрелся повнимательнее, может, узнает вдруг в нем Владимира З. Он среднего роста, волосы темные, бледный, круглолицый…

Так вот, прошу не забыть об этом.

Владимир — сирота. Мать умерла очень рано, а отец после смерти матери начал пить и вскоре ушел за ней. Мальчик остался один. Из всей родни — только дядя с материнской стороны, служивший в городе швейцаром в какой-то канцелярии; а вся отцова родня давно уехала то ли в Томск, то ли на Амур. Был мальчик и голоден, и холоден, всего натерпелся от людей… Потом научился у одного садовника-латыша ухаживать за садами, а сын садовника, студент, высланный за политику в N., серьезно приобщил его к чтению и письму. Служил Владимир садовником, читал множество книг, попробовал писать. Его корреспонденции и небольшие зарисовки, чаще всего под разными псевдонимами, а то и вовсе без подписи, печатались в «Нашай ніве» довольно часто в 1909–1911 годах.

Последний отрезок его жизни, известный мне, был связан с жизнью светлой памяти Яди К.

Ядя была единственной дочерью обедневшего местного шляхтича, ополяченного белоруса, человека довольно интеллигентного и когда-то даже революционно настроенного, но теперь болезненно высокомерного и в то же время какого-то опустившегося, несчастного. Говорили, что он круто изменился после смерти первой жены, Ядвигиной матери. Теперь он был женат на приезжей польке, которая раньше служила гувернанткой в семье одного помещика, пана П. Она выходила замуж старой девой, выше всего на свете ценила панские манеры и, прибрав мужа к рукам, муштровала бедную Ядю как хотела. У них тоже был участок земли за городом, но жили они на те средства, которые отец Яди получал тут, в N., за какую-то конторскую должность.

Владимир знал Ядю с тех времен, когда она приходила с мачехой, а потом одна, в сад пана П., где Владимир работал, покупать ягоды на конфитюры или фрукты к столу.

Более близкое знакомство с Ядей началось, насколько мне известно, позднее — во время выборов в нашем небольшом и глухом городе в местное самоуправление — глубокой, очень унылой и очень грязной осенью.

Трудная это в нашей глуши пора. Наибольшее количество самоубийств, всяких злодеяний и скандалов в N. приходится почему-то на осень. И так хочется в эту пору хотя бы немного чего-то светлого.

Владимир с утра допоздна сидел в подвальном помещении с яблоками, а ночью занимался самообразованием — учился на заочных курсах, а кроме того, много читал и писал.

Как раз «Наша ніва» рассылала тогда своим читателям плакаты — разумеется, на белорусском языке — чтобы выбирали в местные советы самоуправления белорусских возрожденцев-социалистов. Владимир наклеил один из таких плакатов на дверь подвала, и гимназистки, православные и католички, проходя мимо, всегда высмеивали печатное белорусское слово на плакате.

Только Ядя К. спорила с подругами, душевно сочувствуя тому, кто это писал и печатал, и тому, кто первым у нас на русифицированном востоке Беларуси посмел наклеить плакат, чтобы все читали.

Однажды Владимир набрался смелости и предложил Яде почитать белорусские книжки, имеющиеся у него. Он же и научил ее читать по-белорусски.

С этого началось их сближение, а затем и любовь.

Была зима, пришла весна, наступило лето…

Ядя стала сознательной возрожденкой, разгневала отца, мачеху, всю родню.

Наконец, ее обманом куда-то увезли и насильно хотели выдать замуж за какого-то глуповатого и старого, но зажиточного шляхтича.

Но сразу после этого, внезапно и неожиданно, однако упорно, стал шепотом распространяться в N. недостоверный слух, будто бы Ядя умерла… Даже говорили: «Бедная Яденька! Не перенесла своего позора и погибла от скоротечной чахотки…» Говорили, что похоронили ее там, в каком-то местечке в Польше, откуда родом ее мачеха. С притворными панскими вздохами рассказывали, будто тот богатый шляхтич поставил ей надгробие, «с милой надписью и белым ангелом, который стоит, подняв крылья, чтобы отнести скорбь молодой невинной души на небо…» Много всякой всячины выдумывали и рассказывали.

Ядины отец и мачеха, как уехали тогда с Ядей, так больше в N. и не вернулись, продав свой участок земли и все имущество через какого-то заезжего пана, родственника мачехи. И тот пан ни слова никому не сказал про Ядю и так уехал.

Все эти загадочные обстоятельства наводили на мысль, что вести о Ядиной смерти выдуманы…

Как только увезли Ядю, не стало в N. и Владимира… Исчез и он. Никому не оставил никаких писем, никаких записок. К сожалению, я тогда был очень далеко от N. на практике в деревне и обо всем узнал значительно позже. Но от нашего общего знакомого Л. Задумы и от хозяйки квартиры, где жил Владимир последнее время, пани М., я услыхал, что Владимира хотели арестовать, и он убежал, убежал — вот так, как стоял, ни с кем не попрощался и без всяких вещей. Ни Л. Задума, ни пани М. не верили и не верят в его смерть.

Напуганная полицией пани М. сожгла абсолютно все исписанные бумаги своего доброго для нее, но неугодного начальству жильца.

Случайно сохранилась только одна тощенькая стопочка его бумаг, которая затем попала ко мне и которую я храню вот уже без малого четыре года.

Тут разные заметки в форме дневника — размышления, записи повседневной жизни. Писаны они не для печати. Но я думаю, что имею право и даже считаю своей обязанностью отдать в печать все, что можно из этих скудных остатков его литературного наследия. Кроме того, я посчитал возможным дать коротенькие выписки из двух Ядиных писем, которые нашел в этом пакете его бумаг.

II

«*1 января.* Как тяжко начинается для меня этот новый год. Люди ходят, гуляют, веселятся, в мне так тоскливо, так грустно, что белый свет не мил.

Спорил с дядькой из-за политики. Говорит, если не брошу, не даст денег на учение. А много он давал их мне?

Как противно все же бывает иногда жить на свете.

6 января. Хотя и мороз, на улице много людей — ходят, гуляют, катаются.

И я хожу! Хожу, как неприкаянный.

И вот смотрю и думаю. Сколько славных девчат! И сколько их так же, как и я, ищут для себя человека среди людей.

Почему же не сходятся наши дороги?

Хожу один...

2 февраля. Видел, как хоронили Остапа, сгоревшего от водки, остались жена и детки-сироты... Вспомнил покойного отца, несчастного человека.

Эх ты, детство мое... Мама умирает. Не понимаю, поэтому и весел. А потом началась беда. Отец пил. И жалел я его, и злился на него. Погиб папа.

Дядька взял к себе. «Чтобы человеком сделать». Бил палкой. Дворничиха спасала. Был дождь, холод, я бродил по улице. Она взяла, обогрела, чаем поила.

— Ноги, как ледышки. Лед — льдом. Деточка моя.

Эту ласку никогда не забуду.

Потом дядька прогнал. Решил я пойти на батрацкий хлеб... Гроза, в ночное коней не ведут, а меня, батрака, хозяин отправлял. Повел я коней в дальний конец поля, к самому лесу: лошадей стреножил, а сам лег под елкой. Страшно одному в бурю. И боялся, чтобы громом не убило. Лег в лощине на поле, под сильным дождем. Лежу, спрятавшись под старый кожух весь с головой, и под меня уже вода подтекает, а сверху, по кожуху, как по лубу*, дождь: бом-боль-буль... кап-кап... Гром: грр-гр-р-грр-р — гремит.

3 мая. Весна. Яблони в этом году очень буйно и очень красиво цветут: все в белом одеянии. Работаю в саду — и здоров. Но иногда, невольно, нападет какая-то тоска, гнетет одиночество, не дают покоя какие-то тревожные желания.

25 июня. Ядя К. приходила покупать красную смородину. Сперва не понравилась. Барышня. Но — большой, гладкий и белый, открытый лоб, нежный-нежный, как у ребенка, и глаза — карие, внимательные, умные. В простеньком платьице, но чистеньком, хорошо пошитом. Держалась, как с равным. Спросила без всякой фальши в голосе, сколько мне платят в месяц.

20 июля. Стонет душа... шумят ветви на березах, шумит, гудит ветер, бросается сдержанно-непослушный ко мне в окно, рвет на столе бумаги. Где-то звенит муха, звенит, будто осенью, перед смертью. Воробей быстро прочирикал под стрехой свою песню... А мне снова грустно, грустно... и так у меня — каждый праздник (сегодня Илья). Читаю Джека Лондона «Мартин Иден».

15 августа. Неужели я влюбился в эту шляхтичку из-за ее хорошего лба и умных глаз?.. Что она мне!

27 сентября. Вот и осень пришла... Грустно... Обвяжем яблони на зиму, и перееду на городскую квартиру. А то сиди в подвале пана П. и взвешивай яблоки — не столько на пуды, сколько на фунты.

13 октября. Кто хочет жить — пусть живет, а кто помереть хочет — пусть умирает...

1 января. Здравствуй, Новый год! Я встречаю тебя здоровым, сильным, уверенным в себе и спокойным. Я буду

* Луб — древесная кора.

жить, буду жить, буду работать и бороться. Мне стыдно за всю мою прежнюю тоску и нытье. Я было оторвался от людей и жизни. Но все это прошло, и я снова живу и буду жить. Мы еще повоюем, и дело наше не погибнет, не радуйтесь, враги, преждевременно!

5 февраля. Неужели это правда, а не сладкий сон? Я не верю своему счастью!

15 мая. От всего прежнего отреклась ты и пошла... Необыкновенная ты!

25 июня. Год тому назад приходила покупать красную смородину, и были мы чужими, далекими, а сегодня ты сказала мне: «Я пойду за тобой, куда хочешь. Все брошу ради тебя. Ты — мой брат и товарищ...» О, родная моя, люблю тебя всем сердцем! Радость мою не выразить словами».

25 августа. Итак, уехать, а там будет видно. Эй, дорогу нам! Мы идем за моря, океаны долю ковать. Выше голову! Ядя! Жить!

«...Мой Владя! Мой дорогой, мой любимый, мой ненаглядный!

Я рада. Да! Ты мой, а я твоя, твоя навеки. И папа, и мачеха все знают. И пусть. Я не боюсь. Сознательная женщина должна уметь бороться... И хотя твоя «маленькая сестричка» Ядя любит отца, уважает многих знакомых, но не посмотрит ни на угрозы, ни на слезы, ни на что бы то ни было... Я все вытерплю, и во что я однажды поверила и по какой дороге однажды пошла, в то буду верить и по той дороге буду идти, идти, идти... До гроба или пока хватит сил...»

«Мой дорогой Владя! Что у нас делается... Меня упрятали за семь замков. Твое имя запрещено упоминать. Папуля молчит и молчит, на людей глаз не поднимает. Если кого из близких знакомых панов встретит, начинает жаловаться, что «хам* голову поднял, молодежь наша беспринципная»; что он «жалеет трудолюбивого парня и рад помочь ему», однако же «хама, хоть и очень способного и талантливого, в родне не имел и иметь не будет...».

«Мачеха... Ой, любимый, боюсь писать о ней. Сам сатана баламутит эту женщину. Боится, что «ее имя приплетут к

* Хам — в данном случае простолюдин.

скандалу…». Плачет: «Пусть православный, ну, это бы ладно, но хотя бы роду шляхетского, А то… какой стыд!» Она, видимо, надумала что-то делать и что-то наговаривает отцу, все шепчет ему что-то на ухо.

Но ничего, Владя, не тужи. Мы — озимые всходы, которые пробиваются и в сильные дожди и холода, но мы еще когда-нибудь, как спелые колосья на доброй ниве, расцветем на родной нашей земле…»

К САМОМУ СЕБЕ

Так вот, незадачливый Владимир, в последнее время чаще и чаще приходит к тебе недобрая мысль, мысль о самоубийстве.

На прошлой неделе ты, кажется, вроде бы повеселел и взбрыкивал, как теленок, выпущенный из хлева во двор, и сердце твое пело: «Жить! Жить!»

А позавчера, после обеда, лег ты ничком на постель, жарко дышал в подушку, сжал зубы, судорожно обхватил голову руками и страдал…

Тоска! Тоска!

Откуда появилась у тебя эта тоска, которая в последнее время так неотступно грызет твое сердце и приносит ломоту и боль твоей голове? Почему ты потерял интерес к жизни?

Чего-то не хватает тебе…

А чего — ты и сам не знаешь. Ты сам не знаешь, что ты за человек..

Идеалов у тебя нет.

Правда? Нет? Неправда? А вот и правда!

Ты — выше обычного человека своим духом, но дух твой тяжко болен, ибо сам собой пришел в своей философии к смерти.

Не стоит жить, так как нет ничего на свете, что удерживало бы тебя в жизни, что звало бы тебя к жизни…

Да… Зачем тебе жить?

Ты не жил, а существовал. И неизвестно, возвратишься ли ты снова к жизни. Неизвестно, поправишься ли ты после

хвори своей, воскреснешь ли духом? Подашь ли ты и другим страдающим исцеляющую надежду, что не все пропало, что еще можно выздороветь?

Владимир! Нет у тебя среди людей человека, кому бы ты раскрыл свою душу, к кому бы прислонился. Может, потому, что сам себе неприятен, противен, вот и боишься показаться людям в такой своей откровенности, в гадости своей.

А ты ведь идеалист...

Ты же с детских лет гнался за правдой...

Бедняга!

Тут снова оторван конец письма. В следующем листке — дыры и пятна, а по тем словам, которые можно прочесть, не удается понять, куда шла Владимирова мысль. Даю то, что хоть как-то понятно в последних листках.

«В самом деле, ну зачем я буду продолжать жить?

Если бы только не плакала Шура и не горевал Г. (дорогой мальчик, какой в нем человек!) и если бы только знал, что будет через пятьдесят лет с белорусским делом, — то цианистый калий...

Белорусское дело... Что я могу? И кто что может? Жизнь идет, идет... к чему-то..

Правда, мы сами творим жизнь, но если и правда, то не все ли равно? Люди!

А кто из них наиболее достоин сочувствия? Кто их поймет?

Я вступаюсь за брата-мужика, но я же его не люблю, и он ведь меня обижал больше, чем кто-либо иной.

А ты способный, ты можешь писать, значит, должен работать, ты и то, и это... Двигайся вперед, прославь родную сторонку. Ничего во мне нет. А если бы и гений был я, — все равно. Зачем? Все когда-то станет безвестным, все нынешнее исчезнет».

Когда я перечитал это место Володиных писаний, мне пришла мысль, что многие одаренные белорусы остались неизвестными миру из-за вот таких своих взглядов, которые к тому же, добавлю, властвуют среди многих белорусов.

«...И все равно, счастья у меня не будет, вообще не будет ничего, ибо пришел к мысли, что в мире нет ничего интересного, нового и такого, ради чего стоило бы мне жить.

А беспроволочный телефон?

Ха-ха!

Кто хочет жить – пусть живет, а кто помереть хочет — пусть умирает...»

. . . .

Часть размышлений опущена из-за цензуры.

«Сколько красивых девчат! И сколько же из них, как и я, ищут человека среди людей.

И я, благодаря современному социально-общественному строю, должен жить аморально.

...Писать — значит работать для того, чтобы люди читали.

А мне люди — противны.

Гордость? Нет...

Ой, гнетет назойливая тоска; ой, великая скорбь гложет мое сердце.

Стонать... Покоя бы мне!

Глотнуть цианистого калия и лежать спокойно...

Мысль о самоубийстве угнездилась во мне основательно и добротно. Значит...»

Тут часть бумаги сгрызена крысами, когда записки Владимира лежали у пани М. на чердаке.

Кроме того, небольшой кусок из написанного им я не даю в печать из-за того, что там Владимир пишет о себе и для одного себя и такое, что, по-моему, не интересно для общества и, напечатанное, не пошло бы на пользу светлой памяти моего друга.

«Душа моя, душа моя! Восстань! Чего ты спишь? Конец приближается... Но, зная, не сокрушайтесь, — воспрянете ибо...»

Эх, темы, темы! Ну, Владимир, вот тебе тема.

От матери в песнях, в сказках, в слезах, в стонах; от отца в рабском молчании, в злых словах, проклятиях — мужицкое дитя собирает в душе ненависть и страшную мстительность к панам... Ах, что сделал бы он, сын мужицкий. Всем!

Хорошо.

Ты — сын народа. Сколько ты сызмала бедствовал! И твой отец, и твоя мать всю жизнь терпели от панов, ненавидели их — и тебя научили их ненавидеть. Сколько ты

всякого лиха замышлял, сколько терзал свое сердце злобой на панов! Ах, если бы была моя власть над панами!

В прах, в пыль!..

Тогда еще ты не читал книжек, неудачник Владимир, и не болел интеллигентскими хворями.

Хорошо, вот и ты теперь — «интеллигент». А! Твоя рука не поднимется на заклятых врагов твоих. Ты даже боишься, чтобы люди не узнали о муках твоего детства и юности. Ты пишешь только «к самому себе». Упаси боже — узнают «интеллигенты», что у тебя на душе! Стыдно тебе! Стыдно, что ночью украдкой водил коней в панский лес. Стыдно, что поклялся самому себе, со слезами от обиды непомерной, зарезать, когда вырастешь, панского лесничего за то, что не только сорвал в лесу платок с головы твоей матери за берестяной туесок ягод, но и кнутом стеганул, и гадким, страшным словом оскорбил ее, маму, при тебе, ребенке синеглазом.

Эх, человек, человек! Все равно не узнать тебе, откуда все и что оно…

Люди копошатся… Не все ли равно, кто кого душит! Я выше смотрю! Жизнь.

Так не стоит жить, ибо тоска».

Все это, как видно, написано Владимиром до его знакомства с Ядей.

Потом, когда они полюбили друг друга, вероятно, дописал еще что-то.

«Самоубийство не получилось.

Да и зачем помирать, если я жив только в мыслях? И только в мыслях дошел до самоубийства. Надо же самому хорошо пожить, хорошо жизнь познать… Может, она ответ даст.

Вот так… Уехать! Ковать долю. А там — видно будет».

«А как же с Я.? Конечно, надо так или этак. Боже! Она ведь все отдала мне, от всего прежнего отреклась и пошла за мной. Святая ты моя. Дай руку. Пойдем! Эй, дорогу нам! Мы идем ковать долю за моря, океаны. Выше голову, Я.!

К жизни!»

Обратите особое внимание на последние строки. Так ли уж они противоречат тому, что я предполагал и предполагаю о судьбе Владимира и Яди?

Они, наверное, живут в Америке или в Австралии.

ВОЙТ

Владимиру З. посвящаю

Комья снега вылетали из-под копыт, набивались в передок саней и падали войту* на кожух. Холодный резкий ветер хлестал в глаза, крутил вокруг саней и коня и дальше по всему полю, насколько это было видно, гонял целые тучи снега.

Мороз брался к ночи еще крепче, еще злее.

Добрый панский выездной конь, весь белый от инея, довольно быстро бежал в этой снежной круговерти по занесенной дороге, фыркал и ржал, выпуская изо рта клубы пара. Полозья без устали скрипели, звенели, пели и вместе с безмолвной грустью убранных в белое берез, застывших по обе стороны дороги, наводили на пана войта уныние и тоску.

После настойки, которую поднесла экономка, голова была немного мутной, в горле противная горечь после перемасленных сырников, которыми угощал повар.

— Все хорошо, все ладно, паны довольны, так как угодил гостям и весело отпраздновали масленицу… чего ж еще?

Войт зло качнулся и засопел, дернув коня за вожжи.

— Не-ет, это черт потянул пана за язык похвастаться красивыми девками… На войта сетуют, а при чем тут войт?

Еще злее задергал вожжи и свернул под горку к хатам, темневшим там, у реки.

Конь, почуяв домашний дух, замахал мордой с обмерзшими усами, сбежав с горы, забарабанил копытами по узкому мосту и вскоре резво подвез сани к крайней хате, где уже зажгли лучину.

Короткий зимний день прошел. Небо, темное, пасмурное, злое, краснело на западе и угрожало оттуда лютым морозом.

Войт вылез из саней, бросил вожжи парню, тотчас же подбежавшему к пану войту, и пошел в хату.

Вместе с холодом ввалился в небольшую дверь, похлопал у порога валенком о валенок и хрипло и важно пробурчал:

— Добрый вечер.

---

* Войт — старшина сельской общины.

В хате было тихо. Горела лучина в светце*, и возле полатей возилась какая-то баба. Увидев войта, торопливо прогнусавила:

— Добрый вечер, паночку!

— Юрка тут?

На печке зашевелился человек.

— А-а, ты на печку спрятался! Озяб. Пан велел, чтобы ты девку прислал в дом. Там сегодня последний бал, поэтому ищут девок петь и плясать, чтобы панам веселее было... А где ж Татьяна?

Юрка заворочался на печи, соскочил на запечек и наконец сказал:

— Добрый вечер пану войту...

И в раздумье почесал бороду: «Чем закончится эта напасть?»

Войт присел на скамеечку, очистил усы ото льда, распахнул кожух, снял теплые рукавицы, согрелся, хотя и не очень, потому что в хате было как на сеновале...

С красного пояса свесилась толстая плеть — знак грозной силы войта.

— А там, паночку, без моей Татьяны нету таких, которые поближе? — отводил Юрка беду.

А войт помолчал и подумал: «Какая глупость и пустяки все на свете...» А потом сказал строго:

— Говорят тебе: Татьяну — значит Татьяну. Пусть собирается, и вези.

— Ладно, паночку, ладно...

И войту было немного смешно, немного противно, что Юрка не возражает, а так легко соглашается и сквозь пальцы смотрит: «Ладно, паночку, ладно...»

«Какие глупости и пустяки все на свете», — подумал он и почувствовал еще большую досаду, потому что все на свете так по-дурному делается...

ГРУСТНАЯ ДЕВОЧКА

Отпустили учеников на масленицу, и они с радостью высыпали из школы на улицу. Шли домой.

* Светец — подставка под лучины.

Стояла оттепель с мягким и чистым ветром. С крыши капало, и падали, подтаяв, сосульки. С приятным кряхтением приминался ногами плотный снег.

Мальчики бросались снежками, шибали комьями в воробьев с встопорщенными перьями, цеплялись к девчонкам.

Вороны, компанейские в общем деле, тяжело пролетали над хатами и гумнами и каркали над бурыми голыми ветками березовых макушек.

Девочка шла со своими подружками, замечая все это, однако, думала о своем. Она увидела, как молодица мыла окна перед праздником, поглядывая из хаты на улицу. И, миновав хату и молодицу в окне, девочка невольно, сама не зная отчего, загрустила — перед праздниками и близкой весной, словно невеста перед свадьбой.

Ее подружки расходились в разные стороны, по своим хатам, и она говорила и шутила с ними на прощанье, но невысказанные одинокие мысли не оставляли ее.

Отец ее жил на хуторе, и, перейдя мост и поднявшись на пригорок, она увидела перед собой огромное белое пространство, окруженное темным венком из старого панского леса. Она невольно оглянулась на село с низкими соломенными крышами и покрытую гонтом крышу школы, на улицу, где еще дурачились мальчишки. И захотела быть веселой.

Но нарочитой веселостью она не превозмогла свою непонятную красивую грусть, только сделала ее еще более утонченной и нежной. И сама девочка не понимала и удивлялась, почему так иногда беспричинно томится ее сердце…

Но всем людям она нравилась своей тихой задумчивостью, хотя самой себе и нравилась и не нравилась: она очень любила веселых людей и сама всегда хотела быть веселой. И когда находило на нее такое, что она становилась большой шалуньей, шутила, смеялась, хохотала, но недолго — потом опять делалась тихой и красиво-грустной.

ЛИТОВСКИЙ ХУТОРОК

I

Худое лето выдалось хуторку. Находился он среди гор, и все яровые выгорали. Да и запруда, синевшая у подножья

горы, чуть ли не высохла, а в колодце воды давно не было. Глинистая дорожка, которая вилась от хуторка вниз, вокруг запруды до Вержболовского шоссе, закаменела и потрескалась.

По весне ходили слухи, что в здешних окрестностях будут большие государственные маневры, сам император приедет. Газеты же приходили только кунигасу*, да и то редко, и о войне никто из хуторян и мысли не допускал.

Когда же поздней ночью с фонарем в руках прискакал в хуторок нарочный из гмины** и забарабанил в ставню, вся семья мигом вскочила в испуге, будто в довершение к невзгодам всего лета пришло еще что-то.

А когда гонец ввалился весь в пыли в хату, спешно достал бумагу и приказал хозяину хутора Яну Шимкунасу тотчас же запрягать коня и ехать для нужд мобилизации в гмину, так как объявлена война с пруссами, – в хату пришел ужас и воцарилось смятение.

— Так… война, значит, — непослушным языком сказал Ян и стал готовиться.

Все молчали. Никаких возгласов, никаких вопросов. Только хозяйка, старая Домицеля, сразу вспомнив сыновей своих: Блажиса, служившего последний год в армии, и Доменика, работавшего в шахтах, — всхлипнула и дрожащим голосом сказала дочерям:

— Собирайте отца в дорогу.

Старшая, Монтя, приподнявшись на подушке, подперев рукой щеку, будто оцепенела в думах, а младшая, Ядвиська, нервно засновала по хате.

В ту ночь уже не уснули.

А на другой день, чуть свет, потекли по всей околице женские слезы, слышались всхлипы и вой, молитвы и проклятия. Провожали запасных. Церковный колокол печально и набожно сзывал всех подъяремных под купол храма к ногам распятого за слова любви и мира.

Плакал сморщенный седенький кунигас, благословляя духовных детей в путь на поле брани, наказывая быть храбрыми в бою и милосердными к побежденному врагу; плакали все, сколько их было, люди, плакала, содрогаясь молельня.

---

* Кунигас *(лит.)* — ксендз.

** Гмина *(польск.)* — управление в сельской местности.

Истово крестились и молитвенным взором прилипали к образу Спасителя в терновом венце и не сдерживали крупных слез призванные запасные.

А на улице — теплое солнышко; беззаботно поют птицы, гудят на липах пчелы. все — как всегда. Не верится новостям.

Проводили... долго стояла осиротевшая толпа с седеньким кунигасом впереди. И все еще махала тем дорогим, кто пошел править кровавую тризну.

— Су Дев, су Дев!..*

— Прощайте! Прощайте! — долго еще отзывались уходящие, махая шапками.

Скрылись за пригорком.

II

Мобилизация заканчивалась.

Возле хуторка на холме стояла полубатарея: охраняла мост от нападения неприятеля с воздуха.

Несколько свободных от дежурства солдат, будто забыв, что вот-вот могут отправиться в поход, что может быть бой и переселение на тот свет, чаевничали у костра, скалили зубы, даже ходили купаться на пруд или щипали горох. А то, сделав большой крюк, подходили к семье хуторян-литовцев, жавшим овес, старались завести с ними знакомство.

Солдаты-наблюдатели, уставившись на них в бинокли, или трубу Цейса, гогоча, сообщали, что «наша берет»: черненькая уже смеется, а беленькая не хочет и смотреть — все жнет.

Потом принимались за работу: косили, вязали и носили снопы. Ермощук и Дудик жали, и все вместе непрестанно смеялись с девчатами и вели беседу с паном-отцом, которому нравилась работа солдат, их веселость и шутки, и величание его паном.

— Неужто сюда, ко мне на хутор, может появиться герман? Неужто тут, на моем родном поле, поблизости хаты моей стрелять будут? И тут лежать будут убитые? Нет, не

* С Богом, с Богом!.. *(лит.)*

может того быть! А что же тогда? — вот из-за чего изнывало сердце у старика.

— Не тревожьтесь вы, отец! Не придет к вам герман. Мы его так турнем! — успокаивал его бойкий, курносый, изрытый оспой костромич.

— Ты не знаешь, братец, пруссов. Они народ китрый*, — не успокаивался старик.

Вечером солдаты гостили на хуторе.

Несмотря на то что девушки говорили с «московлюсами» на скудной смеси русско-польских слов, солдаты, благодаря магнетической силе красоты, были переполнены счастьем от знакомства с ними.

Истинная красота среди литовок встречается не часто, но привлекательных девчат в Литве хватает.

Черноволосая Ядвися была не так красива, как старшая, Монтя, но ее бойкие, веселые черные глаза, смуглые, с румянцем и ямочками щечки, детски-капризные, улыбающиеся губы, молодые, пухлые ручки, гибкий стан и живость пленяли солдат, ломавших голову, чем и как ей угодить.

Красота светловолосой Монти более строгая, и сама Монтя была серьезнее и как-то раздумчивее. Она олицетворяла собой тип литовки. Продолговатое личико с серыми грустными миндалевидного разреза глазами; круглый, но правильный нос; линии рта, легко складывающиеся в покорно-грустную улыбку; ровные белые зубы; длинная богатая белокурая с завиточками коса.

Не всякий солдат решался шутить с Монтей.

— Куда паненки спрячутся, когда германец придет? — заводил разговор за обедом младший фейерверкер Синица.

— А зачем мы спрячутся? — сверкает черными глазками Ядвися (Ах, ей бы еще немного слов!). — Я не бус** спрячутся… Пруссы — народ лабай гражус***... красивый.

Весь дом дрожит от звонкого, правда, непродолжительного смеха. Лишь задумчивая Монтя чуть улыбнулась на слова своей смешливой сестрички.

Стали прощаться. Солдаты достают «пинегу»****.

---

* Хитрый.

** Буду *(лит.)*.

*** Пруссы — народ очень красивый *(лит.)*.

**** Деньги *(лит.)*.

— Нет, нет… Грех брать у солдата. Наш Блажис тоже в армии. Вы идете на смерть за всех. Нет.

И хозяин отворачивается от платы.

Но кто побогаче оставляет деньги на столе.

— Хорошие люди, — говорят в доме после их ухода, — веселые.

— Хорошие люди, — говорят по дороге солдаты, — добросердечные люди.

А тем временем тревога о страшном будущем все росла, доходила до хуторка и вселяла там уныние и беспокойство, хотя все уже немного и привыкли, что война.

Старик, сидя иногда вечером у солдатского костра и попыхивая трубкой, говорил, ища сочувствия, веря и не веря в свои предположения.

— Боюсь, что хлеб собрать не успею. Соберу в гумно все, что есть, а придут свои или чужие — и спалят.

— Не бойся, — успокаивал солдат, — кто тебя будет палить? Мирных жителей трогать возбраняется.

III

И вот два врага-боготыря сошлись. Утром будет бой. Стали закапываться в землю.

Ночью с позиции заявились на хутор солдаты (не те, что охраняли мост, те уже давно находились где-то впереди). Начали ломать ворота, двери, заборы на сооружение блиндажей.

Ян вышел из хаты.

— Не можно! Не позволяли! Я не позволяли, — говорил он солдату, тащившему доску, толщиной в вершок*.

— Не можно? Возьмем… Война, дедуля. Тебе заплатят.

Солдаты идут и идут.

Ян никого не понимает. Вчера он раздал много хлеба и сала. Так, по-христиански, без денег. И самому приятно было. Ему и сейчас не жалко. Только зачем же все разрушают. Досадно. Без войны сгубят.

* Вершок — русская мера длины, равная 4,4 см.

Наступил день. Встречными колоннами, туда и обратно, движутся войска. Гремят телеги, кухни, орудия. Скачут верховые. А утро такое солнечное, теплое. Припекает. Небо синее-синее. Но вдали над лесом выплывают откуда-то белые клубочки дыма. Покажутся и медленно растают. И там какой-то гул, будто далекий глухой гром.

— Что это, земляк? — спрашивает литвин у бегущего в панике пехотинца.

— Что это? — снова спрашивает он телефонистов, спешно разматывающих катушку с кабелем.

— Что? Шрапнели.. Убегай, дед, отсюда!

Ян приставил ладонь козырьком к глазам и пристально вглядывается в белые клубочки, возникающие высоко над лесом. Нет, он не бросит свой хутор, свое хозяйство. И он спокоен: жена и дочери с узлами и котомками еще на рассвете пошли в костел, далеко в тыл.

— Тра-рах!

Ян невольно вздрогнул и едва не свалился наземь от неожиданности. Собачонка жалобно заскулила и кубарем метнулась в подворотню. Огромный черный столб земли и дыма поднимался на склоне горы, а мимо летели со свистом и падали, шипя, на крышу осколки: дзвиг!.. пшшш!

Ян осенил себя крестом и, зайдя за угол дома, прислонился к стенке. Слышно было, как за горой будто хлопают чем-то или бабы на реке в низине белье вальком выколачивают; сперва редко и кое-где: тах! тах! а потом все чаще и чаще, и посыпалось мелко, как горох о стену: хлоп-лоп-лоп!

— Из ружей, — сказал про себя старик.

Сердце стучало. Слышится, заработал пулемет, размеренно и долго: тра-та-та, а сбоку и сзади, в лощине, куда вчера артиллеристы таскали доски, кругляки и жерди, в наступившей на мгновение тишине одновременно прозвучала резкая громкая команда:

— Один патрон, беглый огонь!

Тотчас же оглушительно тарарахнул залп всей батареи. Ян, неведомо зачем, побежал в хату, остановился, намереваясь обдумать все, и снова выбежал за ворота.

— Это же свои… чего бояться.

И потом уже весь день, до конца боя, старик не мог прийти в себя и свыкнуться, стать таким, как всегда, и думать, как всегда. Будто пелена какая-то застлала глаза, будто во сне плыло все в пучину времени, только ни на минуту не оставляло мучительное чувство ожидания конца боя, ожидание ночи и какая-то смутная тревога о себе, и о жене с дочерьми, и о наших солдатах.

Бежали мимо пехотинцы, проносились двуколки с патронами, из лощины прогрохотала на новую позицию батарея, на хутор плелись легко раненные. Старик поил их водой, в хате и во дворе подстелил чистенькую, нынешнего лета и первого обмолота солому.

Слоняясь — только бы не сидеть — по хутору, он в конце усадьбы набрел на убитого. Сперва хотел, не взглянув на него, вернуться, но что-то потянуло его туда. Стоял, смотрел, смотрел, силился привести в порядок мысли, уразуметь увиденное, однако мысль была непослушной или притупилась, и он с затуманенным сознанием долго смотрел на оскаленные зубы, окровавленное лицо и раскинутые руки.

К ночи, когда бой начал стихать, Ян вспоминал, что весь день ничего не ел и скотину не кормил.

Ночь. Утро. Снова солнце, снова день. Не верится, что вокруг тишина.

Немцы отступили. Утром в саду Шимкунаса седоусый полковник говорил с кем-то по телефону:

— Не хватает сил подобрать. Лежат цепями, колоннами. Бог их знает, убиты ли так или уже раненные сползлись в одну кучу. Трупов не менее трех тысяч на одной моей позиции. Может быть, тыл подберет.

Ян слышит и не может понять: много ли в одной куче убитых и как они сползлись?

Пришла жена с необычно бледной Монтей и нервно-суетливой Ядвиськой.

Они весь бой просидели в костеле и ничего не видели, и только молились, плакали и боялись канонады.

В хате Монтя села у окна, по-обычному подперев щеку рукой. Плакала без слов, сухими глазами.

Ядвиська раз десять выбегала в сад и из-за угла смотрела на полотняные носилки с пятнами крови и бородатых запыленных санитаров с красным крестом на рукаве, на неподвижных немецких солдат в синих мундирах и желтых сапогах с подковками, на телеги, где кряхтели, стонали раненые, на быстроходный автомобиль, который пылил по большаку то в одну, то в другую сторону.

Увидела, как санитар передней пары слегка споткнулся о ком земли, носилки качнулись, раненый едва удержался, и улыбнулась, однако же, ухватив прядь волос, сильно дернула ее за этот смех некстати.

Ян ездил с подводой собирать на поле убитых. К вечеру возвратился молчаливый и усталый.

На расспросы семьи отвечал медленно и неохотно. И, говоря об одном, видел перед собой остекленевшие глаза, поднятые вверх руки со сжатыми в кулак пальцами и кровь. И как он, привезя убитых к братской могиле, хватал их, по приказу санитаров, за ноги, как хворостины, и бросал с телеги в яму, будто дрова.

Солдаты иногда копались в немецких рыжих, из косматого меха, ранцах, доставали сладкие желтые сухарики и угощали Яна.

Он попробовал, и теперь ему противно и муторно.

IV

Орудия умолкли: батарея подвинулась на запад. Хуторок остался в тылу. Фронт отошел.

Хуторяне вздохнули вольготнее. Думали, что гроза уже миновала. Ждали писем от Блажиса, но почту разметало этой грозой, и Домицеля около месяца напрасно ежедневно утром и вечером в молитвах своих спрашивала, живы ли ее сыновья? Писем не было, вещих снов не видела, тревога не проходила.

Ян несколько раз подвозил хлеб на позицию. Возвратившись дормой, много рассказывал о том, что видел.

Все очень верили, что наши уже не отступят и немцы сюда не придут.

Но минул месяц, и весть об отступлении поразила хуторок сильнее, чем когда-то весть о войне.

Трое суток, день и ночь, гудит матушка земля. Бушуют пожары. Багровеет небо. Воют собаки. Тарахтят пушки и повозки.

— Русские отступают…

Вот из хаты на одном из хуторов вышла хозяйка, старая литовка, глянула на поле свое, окопами изрытое и так оставленное, услышала жалобное мычание непокормленной в сумятице скотины, обхватила голову руками и сама завыла, как та бедная собака.

А в костелах, в церквях — тревожный звон, молельня завалена узлами испуганных беженцев, там же богомольцы и седой старик-кунигас. Дрожащими руками благословлял он тех католиков, которые по пути забегали сюда с ружьями.

Моросил дождик и, наконец, полил как из ведра. Шум, грязь. Сзади пальба, и сбоку уже летят снаряды. Там какие-то крики, возня, беженцы — жители хуторов — с полным возом убогих лохмотьев бродят в грязи возле телеги и бедного коня, который пристал в этой топи.

А на хуторе Шимкунаса громко голосят. Блажис шел со своим полком мимо родного дома и на пять минуток забежал к своим.

— Что нам делать, сыночек, что? — и кладут ему в торбу сало и колбасу, сыр и хлеб.

— Сам не съешь, товарищей угостишь, — чем-то будничным отдает от этих слов среди горя и слез.

И не пускают его из хаты. Мать и Ядвиська припали к нему и воют; уже Монтя подает Блажису торбу и роняет слезы, а отец всех успокаивает и сам плачет.

— Уже не убежать вам, — говорит он. — Выройте в конце двора яму и накройте толстыми бревнами, засыпьте землей. Когда будет бой, прячьтесь туда, а пока что хотя бы в погреб. Прощайте! Прощайте! — целует отца, ловит и целует руки матери, обнимает сестер, хватает ружье и торбу и бежит догонять свой полк.

— Если что, дай весточку, Блажис!

А вокруг хуторов и вдоль шоссе уже вздымают землю немецкие снаряды.

Ядвися залезла на чердак, бросилась на сено и отдалась во власть горю.

Привычное течение мыслей нарушилось, и девушка плакала долго и неутешно, осознавая, правда, что в мире происходит нечто необъяснимо страшное, что на хутор пришла из ряда вон выходящая беда, что их забирает герман.

Наплакалась Ядвися вволю, и немного отлегло от сердца; успокоенная, с удовольствия потянулась она на мягком душистом сене, закинула руки за голову, глубоко вздохнула и прислушалась.

Орудийный гул не утихал, но долетал издалека, глухими раскатами, будто далекий гром.

Но поблизости было тихо. Из хаты не доносилось ни звука.

Стекло в чердачном оконце слегка дребезжало и звенело, когда орудийный гул усиливался. Вероятно, шел дождик: оконце снаружи было затуманено мелкими капельками, а изнутри запотело.

На чердак залезла кошка, уставилась зелеными глазами на девушку, подняла хвост и замяукала.

— Кис-кис-кис, — поманила Ядвися, но вдруг резанули ей ухо громкие хлопки, доносившиеся снизу, со стороны озера.

Она мигом вскочила, подбежала к оконцу, протерла запотевшие стекла и глянула на поле.

Моросил дождь. Людей не было видно, но в горах то тут, то там хлопало, и на мгновение показывался клубочек пара, как от дыхания в мороз.

Присмотревшись, Ядвися увидела, что за хутором, куда отошло русское войско, по всему полю, в ложбинах и по склону горы, скакали, как воробьи, пятились и приседали, словно перепархивали, серые фигурки, с ружьями с примкнутыми штыками и нищенскими торбами. И все время что-то хлопало.

— Матка Боска!* Это же они стреляют, — поняла испуганная Ядвиська и до хруста в пальцах заломила руки.

* Матерь Божья! *(польск.)*

Одна серая, увешанная торбами фигурка-коротышка бежала невдалеке от пруда, по канаве, идущей вдоль шоссе. Вот она присела, выставила ружье в сторону леса, послышался резкий хлопок — и раз, и два, и три. Вскочила и быстро-быстро покатилась в противоположную от хутора сторону.

У Ядвиси не было сил отвести глаза. Вдруг фигурка вскинула вверх руки и бросила ружье. А поодаль от нее и поблизости пыль над пашней в разных местах курится, будто пыль на дороге, когда крупный дождь начинается. Присела фигурка, потом со злобой начала срывать с себя торбочки; снова вскочила, схватилась за грудь, заметалась туда-сюда, рухнула ниц на землю и осталась лежать неподвижно. Шлепали крупные капли дождя по глади озера, поднимая мелкие брызги, и уже вокруг озера лежало еще несколько таких фигурок.

Со стороны леса послышалось громыхание, топот конских копыт, стрельба и крик.

Ядвися приникла лицом к оконцу и увидела: от леса на шоссе тяжело несется конница в синих мундирах с флажками на конце пик.

— Ту-ту-ту-тук... — как горохом, забарабанило по стене хаты.

— Ядвися! Ядвися! — долетел снизу крик со слезами в голосе.

Девушка бросилась к лестнице.

— Дзы-инз! — посыпалось стекло, и в образовавшуюся в оконце дыру со зловещим свистом влетело еще несколько пуль.

Не успела Ядвися добежать с отцом до погреба, как к хуторку галопом подлетели немецкие кавалеристы.

— Пруссы, — вздрогнула и окаменела девушка, уже будучи не в состоянии оторвать от них остановившегося взгляда. Ноги неожиданно ослабли, даже подкашивались, бил озноб. И Ядвися, подняв руку, помимо своей воли, хрипло и очень тихо прошептала:

— Не троньте!..

V

В Яновой хате за столом сидят немецкие пехотинцы. Пьют кофе, молоко, едят хлеб с маслом, яйца. На скамейках навалены шинели, ранцы. В углу — ружья. На полу постлана солома. Возле стола стоит Ян и разговаривает с солдатами. От печки к столу снует Ядвиська. Монтя с матерью на печке. Солдат-еврей переводит товарищам с литовского речь хозяина.

— Вот, дед, — говорит один солдат, — у вас, в России, говорят, что у нас уже есть нечего. На-ка тебе кусочек хлеба, не белее ли наш будет, ха-ха. Переведи ему, Глюкман.

— Берите, берите, хозяин, что уж, — говорит Глюкман, — попробуйте нашего хлеба.

Ян колеблется, но берет.

— Спасибо, братцы, однако мы к черному привыкли.

— И еще скажи ему, Глюкман, что если нам хлеба не хватит, мы у русских отберем… Девушка, налейте кофе!

Ядвися поняла, покраснела и улыбнулась:

— Сейчас, пан, сейчас.

— Старику что говори, что не говори, разве он виноват? — вступает в разговор еще один солдат.

— По-вашему, Цимерман, старик не виноват? А он ведь поляк, он не русский, он и говорить по-русски не умеет, так почему выступает на стороне русских против нас? Как он живет под властью русских? Как батрак: хлеба нет, и грязно как! И все они здесь так живут. А в Германии он человеком был бы.

— Знаете, — заступается Глюкман, — он поляк, но местный: по-польски тоже не понимает, говорит по-литовски. И он ничего не понимает, о чем вы говорите, напрасно вы на него нападаете. Он живет и живет. Я жил в России, так я знаю. Правда, все здесь так живут. Они люди простые, они не понимают.

Молодой солдатик шепчет усатому:

— А эта девчонка ничего себе, но та, что на печке, еще красивее.

Выслушав, усатый говорит:

— Глюкман, объясни девушке на печке: пусть не боится, мы не съедим ее, пусть не прячется.

— Ай, ну зачем это, — говорит им Глюкман, — оставьте их в покое, не трогайте, бедные люди, и только.

Во дворе слышится шум, стук. Входит денщик и кричит!

— Освободите дом. Здесь будет квартира господам лейтенантам.

Солдаты недовольно прекращают обед и собираются уходить. Бросают на стол марки. Некоторые касаются пальцами каски и улыбаются Ядвисе. Денщики уже нашли веник-голик и дают в руку девушке, чтобы мела.

В хату входит офицер, за ним еще двое.

— О-о-о! Тут нам, господа, будет неплохо. Грязновато, но что поделаешь?..

— Да и насчет девчонок любо-дорого! Взгляните, каков материал.

Для улучшения отсталых народов и ради наилучшего привития высшей нашей культуры физическим путем.

— Господа, вот всегда вы так. Они ведь могут понимать по-немецки.

— Э, сразу видно, что вы не очень давно сменили штатский костюм на военный… Вы нас не понимаете.

— Разве я могу стесняться, — вступает в разговор другой, — этих дикарей?

— Ну, литвин, забирай своих домочадцев и перебирайся в другую хату.

Так захозяйничали на хуторе Шимкунаса немцы.

— Ну что, как там? — спрашивали русские солдаты у своих разведчиков, которые ходили далеко за Неман.

— Да как там, — отвечали разведчики, — танцуют немцы в Мариамполе под граммофоны, мирным людям за маломальское штык к груди, а девчат да молодиц обижают.

VI

Прошло ровно две недели. И снова двинулись на запад серо-сверкающие топочущие русские войска. Грустные картины!

Кресты на поле, на опушках леса, у дороги за канавой. Смывает дождь бледные карандашные надписи: «Здесь покоятся русские воины, убитые при взятии города С. 4 августа 1914 года». Очевидно, в одной из могил похоронены и немцы, потому что на ней стоит рядом второй крест с надписью: «Здесь покоятся германские воины, убитые при обороне города С. 4 августа 1914 года». Еще через несколько шагов доска: «Могила воинов-евреев».

Иные кресты из связанных палочек. И уже покосились, вот-вот упадут. И затеряется место последнего упокоения воина.

Тянутся окопы немцев. В них — перины, скамейки, столы, железные печки, горшки из литовских хат. Валяются бутылки, банки из-под гороховых консервов, обертки от шоколада. Пачки патронов. Кучки гильз. Тянутся ряды колючей проволоки.

Безмятежно разгуливает по небу осеннее солнце. Уснули ветряные мельницы. Пустынно. Однако кое-где уже начинается сонное движение. Осторожно, словно пчелы весной из улья, выползают жители.

Вот по обочине шоссе ковыляет старик. Поднял двумя пальцами с земли каску, раздавленную колесами, подержал и кинул в канаву. Двое пареньков собирают гильзы. Подняли поломанное ружье, но увидели солдат, бросили его и кинулись бежать. В яме возле гати лежит издохший конь. Раздулся, как гора, и уже смердит. А в болоте оставлен пустой снарядный ящик. На пригорке — длинная аллея старых лип, неизвестно для чего безжалостно срубленных и загородивших дорогу.

— Мы знали, что вы вскоре вернетесь. Но почему отступили? Разве у них сила бóльшая? Бросили нас…

— Пойми, дед, что иной раз ради успеха в войне и отступить надо.

Старик слушает и молчит.

— Ну что, обижали вас?

— Не дай бог! Все взяли: чуть ли не всех лошадей, коровушек, зимнюю одежду. Перечить нельзя было — застрелили бы. А к начальникам не подступишься. И все поели: коров, свиней резали, гусей, кур. Еще и пух заставляли для них ощипывать. Картошку не любят. Привереды какие! Наши

солдатики, если и берут, то прежде всего картошку, а им цыплят подавай, пироги. А сколько страху натерпелись! Вчера, когда вытуряли вы их, мы в погребе сидели. Деревья от орудийной стрельбы качались. Бу-бу-бу — с утра до ночи бухает, а мы сидим не пивши, не евши да смертушки дожидаемся.

— Ну, теперь гоните их под метелку, а мы пойдем следом за вами скотину свою искать.

— А германцы все злые. Только один немного заступался, совестил своих, так они его ругали ругательски.

Вот он, знакомый хуторок.

По склону горы — воронки от снарядов. В стене хаты — пулевые отметины.

Бегает и попусту лает собака.

Тут большое горе.

Не слышно веселых голосов красавиц-девчат. Монтю с группой литовцев немцы повели, якобы, окопы рыть, а Ядвиська больная лежит в беспамятстве, бредит, бедная:

— Не троньте! Не троньте! Спасите!

VII

Остановились на Вержболовских позициях, немцы закрепились. Жители из ближайших хуторов снова ушли, угнав с собой скот. Ян Шимкунас отправил семью, а сам остался на хуторе под обстрелом. Целыми днями сидел он, накинув жупан, в холодной хате, а вечером выходил со двора, встречая солдат, спрашивая со страхом:

— Никак не желает герман отступать?

Нашим войскам был строгий приказ мирных жителей не трогать и за все платить. Однако, отстояв здесь месяц, в те дни, когда запаздывал фуражир с хлебом, заглядывали солдаты на хутора.

Однажды утром Ян обнаружил, что ночью кто-то передушил его пчел и разломал ульи, ища мед.

Проходили мимо солдаты, и Ян, ни к кому не обращаясь, жаловался:

— Ах, Боже мой, не пощадили моих пчелок. Чужие обижали, и свои не жалуют.

Молчали солдаты.

А когда в иной вечер старика навещала Домицеля, выкладывала на стол хлеб и выставляла на стол что-нибудь вареное или крошила сухой сыр в теплую воду, стараясь подкормить мужа, он рассказывал ей, что и картошка из буртов пропадает, и вынесенные в сад на случай пожара кадки поломаны.

Но жену больше печалило другое:

— Где же наша Монтенька? Жив ли Блажис? Почему ничего не пишет Доменик и сам не едет? — плача говорила она.

Возвратилась-таки дочка, но не скоро. Спустя месяц отступили немцы еще дальше, и вернулись из плена работники-литовцы. Пришли девчата и молодицы.

Шли, бедняги, еле живые: нога за ногу. Черные, как земля, черные.

Монтю и узнать нельзя было. Следы мук, пережитого стыда и насилия наложили страшную печать на лице.

На расспросы матери, которая с рыданиями обхватила дочь, Монтя шепотом, с трудом, произнесла несколько слов. По бледному и грязному лицу текли слезы, оставляя светлые полоски. Одежда ее превратилась в лохмотья.

Девушка прижалась к больной сестре, потом отстранилась, схватила мать за руку и заговорила.

— Мамулечка! Пусть бы убили меня, чем такое со мной сотворили...

Спустя несколько дней мать, боясь, как бы окончательно с ума не сошла Монтя, повела ее к кунигасу.

Он с состраданием качал седенькой головой.

— Если будет, то это и твой ребенок, Монтенька. Молись Божьей Матери.

— Не хочу я его, — заливалась слезами Монтя.

— Молись, Моньтечка, — Бог сотворил чудо, и все обойдется по Божьему велению.

— А если не совершит чудо? Не могу я молиться и жить не хочу.

— Моньтечка! Деточка моя, — успокаивала мать, не зная, что делать, а старый кунигас клал ладони на голову не-

счастной Монти, поднимал глаза к небу и молился, весь дрожа от нервного потрясения: вид этих мук его прихожанки терзал сердце кунигаса.

Спокойно, хотя и невесело, прошло Рождество. Зима стояла особенно студеная, ветры сильные, снежные заносы и сугробы непомерные. Под белым покрывалом сокрыл Бог грязь земли, укрыл землю, опоганенную грехами человека — убийствами и надругательствами над природой. По слухам, доходившим с фронта, казалось хуторянам, что надолго застыли друг против друга две враждебные стены и, должно быть, до весны не тронутся с места, поэтому второе отступление было подобно грому с синего безоблачного неба.

Батарея, оборонявшая когда-то мост, попала, отступая, на уже знакомую дорогу.

Фейерверкер Синица свернул с шоссе к хуторку.

Нельзя было узнать, что это тот самый хуторок: половина построек сгорела, чудом уцелела только хата. Во дворе, среди черных обгорелых досок и бревен, лежала издохшая или убитая собака. Крыша хаты пробита снарядом. На печке сидит уже совсем слепая Домицеля. Она развернула и держит на коленях, как ребенка, письмо из Москвы от раненого сына Блажиса. Дыра в потолке огромная, оттуда падает свет. В хате холодно, как на сеновале. У стола на осколках оконного стекла сидит на корточках дядька Ян, поправляет соломенную затычку в окне и посасывает трубку, в которой вместо табака — мох из стены. Давно он не брился, не расчесывал волосы, отощал.

Ян печально смотрит на отступающее русское войско и временами что-то шепчет.

— Здоро́во, дядька Ян! Ах, как тут у вас…

— После вчерашнего боя, братка.

— А дочки ваши где?

— Убежали вчера, да уже, видно, не поспеют на машину.

Но тут, как по заказу, и они с узлами на порог.

— Добрый день! Не узнаете? Почему вернулись? — спрашивает фейерверкер.

— Куда мы пойдем от цеваса* и матери? — заплакали обе.

— А что же раньше не убегали?

* Цевас *(лит.)* — отец.

— Почему? Да ведь не знали… — говорит Ян. И по тону этого ответа нельзя понять, так ли уже привязан литовец к своему гнезду или, в самом деле, он не знал.

— Ну, будьте здоровы! Крышу чините. Ликисвейкас!*

— Су дев! — а сами плачут, будто оставленные на верную погибель.

Синица пришпорил коня.

Озеро замерзло, но посередине блестят на красном от мороза солнце полыньи. Сверкает снег. Откуда-то появилась зазябшая ворона. На занесенной снегом дороге колесами пушек выбиты глубокие колдобины. Осторожно спускается с горы колонна отступающего войска, похожая на какую-то серую ленту, трепещущую и беспрерывно ползущую.

Сзади и справа остервенело гудит, не умолкая, глухая канонада.

Хуторок темным пятном остается далеко позади.

РУССКИЙ

А тому, у которого какая-то хворь в груди солдату-белорусу, доставленному с австрийского фронта, полагалось лечиться в больнице для нервнобольных, а не тут, у нас. Он лежит на Сапсановом месте.

Наша палата прозвала его Русским, так как он, когда его забирает хворь, беспрестанно кричит, повторяя много раз:

— Я русский! Я русский! Русский, русский!..

На вид он вполне здоровый мужчина. Среднего роста, хорошего сложения, широкоплечий, и грудь у него обычная. На лице никакой болезненности не видно, конечно же, если принять во внимание, что человек приехал не из гостей, а из окопов. И только в глазах горемыки есть нечто такое, что выдает и тяжкую болезнь, и страдания, и безнадежность. Глаза у него провалились, сделались маленькими. Главное же то, что они, вконец исстрадавшиеся, какие-то тусклые, безразличные. К ним надо присмотреться, и тогда видна в них боль.

* До свиданья! *(лит.)*

Поразительная история произошла с этим несчастным человеком.

С уверенностью можно сказать, что до войны или, точнее говоря, до мобилизации — Русский был обыкновенным землепашцем Могилевской губернии: был здоров, но несколько медлителен; способный от природы, но неграмотный, неотесанный. Одетый в солдатскую форму, он ни в чем не изменился, только приспособился к своей новой жизни.

И на позиции, во время длительного и мирного стояния в тихом месте второстепенного фронта, Русский, больше чем его товарищи, любил шастать по опустевшим, брошенным крестьянским дворам и копаться там, искать, чем бы поживиться.

Вечером, в ранних сумерках, отправлялся он шляться по полям, изрытым окопами, находил снятое картофельное поле, копался своей маленькой пехотной лопаткой ради каких-то десяти штук неподобранных хозяином и свиньями картофелин. Хотя его за это укоряли, он не бросал своих блужданий в темном поле, и это бродяжничество сгубило его.

Однажды Русский, незаметно для себя, забрел слишком далеко в сторону австрияцких позиций, за свою передовую линию обороны, и так увлекся поисками добычи, что не заметил, как стало уже совсем темно.

Немного струхнув, он осторожно пробирался назад, заткнув лопаточку за ремень и держа в одной руке котелок с накопанной картошкой, а в другой — ружье на какой-нибудь непредвиденный случай.

Только взошел он на какой-то небольшой пригорочек — и растерялся от неожиданности: перед ним стоял австрияк... Оба одновременно присели: Русский присел от страха, австрияк, вероятно, по той же причине. Продолжалось это одно мгновение, а казалось — вечность. Австрияк заговорил первый:

— Русский! Я маю горилку...*

— Я тебе ничего не сделаю! — ответил Русский совсем беззлобно и смело встал и пошел к нему.

Австрияк тяжко поднялся, сделал шага два и подал руку. Враги поздоровались, как давние друзья. Потом сели, но только уже рядом — и ружья положили, каждый со своей стороны.

* У меня есть водка... *(укр.)*

Хотя они почти не разговаривали, так как языки ворочались туго, да и мало чего понимали в речи друг друга, но вскоре так получилось, что выпили австриякову водку, закусили его полуситным хлебом и закурили по самокрутке из махорки Русского. Водки было — одно только название: по чарке или, может, по две на брата. Пили из горлышка — сперва австрияк, а потом Русский. Когда закончили и надо было расходиться, почувствовали какую-то неловкость. Но австрияк приободрился и сказал:

— Чи веды мянэ до Руссии, чи разойдэмся.

Русский почесал за ухом, будто и взаправду раздумывал, как тут поступить. Задрал голову, посмотрел на небо и ответил:

— Нет, братец, иди-ка ты к своим.

Австрияк, особо не показывая вида, как будто немного приуныл. Однако подал руку. Русский пожал ее. И каждый повернулся в свою сторону.

Австрияк уходил быстрым шагом, Русский поплелся медленно и неуклюже, как медведь. Его угнетало то, что не было времени обдумать, как это все получилось. Он старался понять, хорошо ли все то, что он делал. И вдруг блеснула в его голове мысль, и он, чтобы не опоздать и чтобы потом не жалеть, что был воро́ной, сделав уже шагов десять, сказал самому себе: «Э, что же я за вояка». Точнее не сказал, только промелькнуло так в его голове... Обернулся, прицелился и без раздумий нажал пальцем курок:

— Тах!

Хлопок был глухим и коротким. Австрияк сперва зарылся носом в пахоту, стукнув железной фляжкой, из которой пили водку, о свое ружье, затем перевернулся лицом вверх — и очень жалобно и протяжно застонал.

Когда Русский подбежал и наклонился над его лохматой шапкой и усами, которые давно не подстригали, то в темноте почти ничего не увидел, но услышал, как австрияк еще что-то сказал, будто говорил о ком-то третьем.

— Що ций москаль наробыв... Зостанэцца моя жинка и диты...*

Безнадежность и обида слышались в его последних словах, которые он с трудом выдохнул, ибо уже умирал. Лежал,

* Что ж наделал этот русский... Останется моя жена и дети... *(укр.)*

раскинув руки и ноги. Русскому показалось, что смертная пленка, как у курицы, застилает желтоватые белки его глаз.

— А сколько их у тебя? — с упавшим сердцем спросил Русский и невольно, выглядывая себе подкрепление в ночной темени, осмотрелся вокруг.

— Ди-ты...*

Убитый еще раз потянулся, медленно сомкнул глаза и был готов.

Русский перекрестился над мертвым и полез в карманы его штанов. Вытащил оттуда помятое и замусоленное от долгого хранение письмо в конверте. В карманах больше ничего не было, и Русский разочарованно или недовольно порвал его на несколько частей. Одумавшись поднял их с земли, чтобы потом пустить на самокрутки. И снова бросил. У него даже руки немного дрожали, и было стыдно, что так малодушничает, будто не врага убил, а своего. Уже более смело пошарил у него за пазухой, во всех карманах и в шапке и снова ничего путного не нашел. Рассматривая его сапоги — а стоит ли их сдирать? — глянул ненароком в темень ночи, оробел... Схватил котелок с картошкой в одну руку, два ружья за ремни — в другую и пустился бежать что есть духу к своим.

В роте ему не поверили, что убил австрийца, и думали, что просто где-то в поле нашел австрийское ружье. Правда, было оно недавно ношеное, «теплое» и почищенное. Может, и убил.

Только вот человек с этого времени переменился. Был до крайности печальным, перестал бродить по дворам и картофельным полям, пристрастился лежать на земле с раскинутыми ногами и руками... Наконец застудил себе грудь, и его отправили с позиций и привезли сперва в какой-то южный город, а потом в наш госпиталь, глубже в тыл.

Тут не могут понять его болезнь. Доктор Гермеер, немец из Двинска, которого мы все не любим, считает Русского притворой, иначе как «симулянтом» не называет и даже в глаза ему говорит.

— Ты, прохвост, притворяешься! Ты все это выдумал! Подлечим тебе грудь и все равно снова поедешь на фронт.

---

* Дети *(укр.)*.

Другой доктор, старший, по фамилии Квятковский, родом, говорят, из-под Баранович, усердно лечит ему грудь всевозможными ингаляциями и воздушными ваннами, а на его нервы мало обращает внимания и будто не слышит, когда у него начинаются приступы:

— Я русский! Я русский! Русский, русский!..

— Ну-ну-ну, это не столь важно, — говорит старший доктор Русскому, переходя к другим больным и раненым.

— «Не столь важно! Не слишком важно, хм!» — думаю я.

Я своими ушами слышал от Русского о том, как он убил бедного австрияка, и сперва тоже не поверил: мало ли хитрых бестий бывает среди солдат. Однако же я своими глазами видел в первую же ночь его пребывание в нашем госпитале, как он горько плакал и жаловался, что ему все что-то мерещится. Бедняга, несмотря на бром и подкожное впрыскивание, заливался слезами так искренне и жалобно и так долго, что никак нельзя было ему не верить...

ЗИМА

Науму Сопранкову посвящаю

I

К вечеру метель закружила со всех сторон.

В хлевах на разные голоса завизжали некормленые свиньи. То одна, то другая корова жалобно мычала над ржаной соломой, по косматой хребтине от холода пробегала дрожь.

Пришло время кормить скотину на ночь и поить лошадей. Смеркалось.

В Петрокову хату, сквозь запушенные морозом окна, еще пробивался свет.

Дед Петрок, одетый в жупан, доплетал лапоть и вслух высказывал недовольство сыном, а его жена костлявыми, худыми и темными, будто загорелыми руками мешала в ушате мякину. Молодая невестка — бледная-бледная, как бума-

га, — сидя на скамейке, пряла кудель и молчала, словно немая или какая-то страдалица.

Светловолосая девочка стояла возле полатей и хворостиной отгоняла кур от откармливаемого кабана, который чавкал в корыте, разбрасывая по полу вокруг себя корм.

В запечке на полу сидел мальчик в штанишках на лямочках через плечи и девочка с большим животом и кривыми, выгнутыми дугой ножками, играли с немудреными игрушками то мирно, то ссорясь и затихая, когда дед Петрок начинал говорить громче.

— Картежники! Из-за игры пообедать некогда придти, а коней поить и не думают. Ну, хлопцы! — сердито ворчал старик.

— Все играют, вот и наш там. Пошел бы да позвал, — говорила старуха.

— Кы-ыш! Мам, глянь-ка, все куры из-под печки вылезли.

— Моя игрушка! Моя игрушка!

— А чтоб ты сдох!

— Не бе-ейся!

— Хрю, хрю, хрю… Чух-чух-чух!..

— Куд-куда, куд-куда!

— Тихо, грязнули, кабана испугаете. А чтоб пусто было этому учителю, что он вас в школу не взял: хоть бы немного в доме спокойнее стало. «Поздно привели…» К учительницам бегать тебе не поздно даже среди ночи. А ты, Варька, хворостиной не маши: петух стекло в окне вышибет. Вон куда взлетел, проклятый…

— Кыш, кыш!

— Стой, стой, детка, не гони! — встрепенулась молодица.

— Бряк!

— О Боже ты мой милосердный, — закричала бабка, — опять разбили миску, новую миску. Лучше бы вы себе головоньки разбили. И ты ж тут, маманя сидишь, ничего не видишь. Или не успеешь на рубашку себе на тот свет напрясть? А давно ли я три копейки отдала за миску, чтобы вы свое здоровьечко отдали.

— Чух, чух! Хрю-хрю!..

— Ой, мамочка, не буду! Ой, родненькая, не буду. Ой, больно, больно! — душераздирающе завопила девочка.

— Гоните вы хоть кабана, что ли. О Боже, за что караешь? — сокрушался старик.

В распахнутую дверь плыли белые клубы морозного воздуха. Молчаливая невестка, сжав зубы, полосовала и полосовала куском веревки худенькую детскую спинку. Кабан хрюкал, не хотел выходить из хаты в темные сени. Старуха подбирала черепки и кляла всех. Пестренькая курочка вскочила с лавки на край полочки, и оттуда посыпались на кухонный шкафчик Панасовы сонники и оракулы. Петух клевал разбросанную кабаном еду и беззаботно кудахтал и кокал, не обращая внимания на девочку, которая хлюпала, забившись под лавку. Младшие дети, забравшись в дальний уголок на печке, прижались друг к другу и выжидали, когда у матери гнев пройдет (ведь ей принадлежало право наказывать их по велению законодателей: деда, а еще хуже — бабки) и когда закроют дверь и все утихомирится.

— А как придет папка с шахты, так я ему скажу, что ты мою лошадку разбила, — вот тебе! — шептал мальчик.

— А я скажу, что ты на бабку плевал, ага?! — не сдавалась сестричка, с опаской поглядывая в ту сторону, где была мать.

II

— Бубны козыри, — сдал Павлюк карты и вытер пот со лба.

— Под твою темную, — сухо сказал Валента Ивану, бросив на него осторожный взгляд исподтишка, и забарабанил ногтями по столешнице, чтобы не заметили, как дрожат у него руки. На этот раз после долгого невезения к нему пришла карта, и его начинало всего трясти.

Иван, криво усмехаясь, разложил веером карты в руке, будто заслонившись от стоявших позади скамейки и наблюдавших за игрой из-за его плеч, с очень важным видом смотрел в них и в глубоком раздумье цокал языком.

Все с нетерпением ждали, какой ход он придумает и скоро ли пойдет, хотя все знали, что Иван молчит просто так, от возбуждения. Перед глазами мельтешили черви и бубны, и думалось ему только одно: наверно, проиграет. Ну что ж. Чему быть, того не миновать, но на душе как-то муторно.

— Ну, думай быстрее, — не терпелось Панасу Петрочонку, — коней пора поить, — говорил, почесывая за воротом. Ему было все равно: он сегодня остался при своих.

Все были в жупанах, кроме Павлюка — хозяина хаты, хотя игра шла весь день, с самого утра. Курильщики дымили махоркой и цыкали слюной на середину хаты. На кону лежало копеек пять меди.

— Ходи сперва этой картой, — наклонился над Иваном наблюдавший из-за плеча и не имевший своих денег.

Иван пошел.

— Языки у вас чешутся, — Валента побил карту и пошел своей. — Не играешь, так не лезь, — добавил он и посмотрел, что получилось.

— Так, так его! — хором закричали подсказчики. — Прижми, Иванюха, — подбодрили они; один из них даже схватил Ивана за руку и указал карту, чтобы дело было кончено.

Иван вроде бы и сам собирался сделать такой ход, однако туго соображал и сдался на их волю; он все улыбался и по-детски цокал языком. А помощник его не дремал: опять выхватил у Ивана карту, высоко взмахнул ею и изо всей силы хлестнул по Валентовой карте.

— Что? Как это так? — Валента, как бык, уставился на него глазами.

— А так! Ты чем побил? Тебе надо было да́мой пойти и тузом ответить, а так ты без козыря, вот Иван королем и забрал.

Валента разъярился. Как он мог так промахнуться? Крестовый валет с деликатным высокомерием смотрел мимо Валенты из кучки карт.

— Чем же он побил? Разумные вы очень, — стал перебирать карты Валента.

— Как чем? Валетом козырным…

— Валетом козыльным, — с яростью передразнил Валента, налившись кровью и высунув язык. — Умники большие. Не играете, а не в свое дело лезете.

Спор затянулся. Более степенные игроки молчали, не поддерживая ни ту сторону, ни другую. Все не любили Валенту за его ум, радовались его оплошности и с удоволь-

ствием изругали бы его, да знали, что он вспыльчивый и ловок на язык.

В то время в хату ввалилась Кулина Иваниха и быстро подошла к столу.

— Чтоб ты света божьего не видел, как, кроме карт, ничего не видишь. Чтоб ты со скамейки не поднялся, как ты не слезаешь с нее из-за карт и домой не идешь. Лодырь ты, чтоб тебе, чтоб ты… та-та-та, — как горох из торбы, сыпала она.

Муж чуть кубарем не слетел со скамейки. Деньги с кона оказались в кармане у Валенты, а клочки изорванного Кулиной крестового валета разлетелись по столу и даже попали в шесток. Произошло нечто поразившее всех.

Учинив такую расправу, баба на мгновение и сама поразилась своей смелости, но ни минуту не мешкала, боясь поворота фортуны.

— Домой иди, мошенник! — крикнула она у порога и так хлопнула дверью, что даже стекла задрожали.

Игроки не сразу очухались.

— Ну, упаси бог, если бы мне такая жена попалась, я бы ее так взбучил, что она на всю жизнь закаялась бы такие фокусы выкидывать, — сказал кто-то из уже пришедших в себя.

Но игра разладилась.

Игроки смеха ради ругали баб, называя всех чемерицей*, взаправду ругали только и без того обиженного Ивана:

— Родная жена так изгаляется — дожил человек!

Подобрали карты, кое-как сложили крестового валета и стали подклеивать его папиросной бумагой.

Как это изгаляется? — прекратил цокать языком Иван. — Я ей теперича покажу свой характер: утром до рассвета буду лежать, не поеду за дровами, пусть сама едет. Какое ей дело до игры?.. На свои, не на чужие играю, слава богу, — говорил он, чтобы заглушить то, что его грызло: «Вот тебе на… Люди смеются…»

Стали расплачиваться.

Антон дрожащими руками отдавал двадцать копеек. Тимох деланно смеялся, хотя было не до смеха.

— Валента, — сказал Панас, — отдай мне деньги, которые ты с кона схватил. Иван мне как раз столько должен.

---

* Чемерица — многолетняя трава с толстым корневищем и метелками цветов.

Валента вдруг неожиданно для всех налился кровью и стал вымещать свою злобу на Панасе.

— Шиш я тебе дам! Зачем хлопцы Ивану подсказывали?

— Совести у тебя нет, Валента, — сказал Панас. Он не любил дрязги, но был очень обидчив, пережить ссору ему было трудно. — Пусть тебе Бог отдаст…

Сказал и тихо вышел из хаты. С тяжестью на душе пошел домой. Опостылела и своя хата. Отец ежедневно допекал его злыми упреками. Не хотелось видеть и молчаливую жену брата, слушать бесконечную возню детей. «И это жизнь? Стоит ли жить среди таких людей, как Валента? Эх, бросить бы ему деньги в глаза, ничего не говоря. «Мне, знай, не деньги дороги, а справедливость», — тюкнуло в голову Панасу. «Не следовало и цепляться, и садиться играть», — расстраивался он. — «Пропади она пропадом, такая жизнь, такие люди. Лучше б на край света уехать…»

Серая и пустынная улица молчала. Мела метель… В Максимовом дворе ревела корова. Скрипнули где-то далеко ворота в гумне. Чьи-то мохнатые кони, опустив головы, стояли посередине улицы — или пить хотели, или тужили о чем-то в зимнюю стужу, вспоминая лето красное…

Занесенные сугробами, среди заснеженных полей и перелесков, глухие, далекие от всего мира, холодные, спозаранку полные чаду и унылые, унылые зимовали зиму хаты.

Не верилось, что есть что-то, кроме зимы, что зима кончится.

Обсаженная еловыми ветками зимняя дорога будто не успела далеко убежать и тревожно тянулась от хат туда, туда…

И ее заморозила стынь…

III

А хаты были верстах в семи от села и, следовательно, от ближайшей корчмы.

Пользовался этим обстоятельством только Иван: был человеком бедным и приторговывал водкой.

На Рождество, на Пасху, на святые родительские дни мужики переходили меру. А мерой было нечто среднее меж-

ду тем, что сами купили к празднику в корчме, и тем, что хранилось в тайниках у Ивана. А случались у кого-нибудь неожиданные гости, и хлебосольный хозяин шел к Ивану. Человек добросовестный, Иван и зарабатывал всего лишь пять копеек на бутылке.

С давних пор одному ему принадлежало тут право на это занятие. Но вот пришла беда. В недобрый час узнал герой наш, что родной брат, отпущенный из армии, стал с ним конкурировать.

И руки и ноги у Ивана стали ватными. Словно больной, с трудом забрался он на полати, взял с них рваный жупан, разостлал его на печке возле трубы и, невольно застонав, лег и затих.

Дело было в поздний послеобеденный час, в воскресенье, когда все люди в веселом настроении и собираются на гулянки.

А тут словно кто-то расщепил толстую орешину, сунул туда Иваново сердце и сжал.

«Одни обиды, только обиды», — думал Иван.

В хате было тихо; жена молча убаюкала ребенка, зло стеганула ремнем старую серую кошку, намеревавшуюся попить воды из ковша на скамейке. Кошка шмыгнула под печь, а Иваниха села у окна и стала смотреть на улицу. Окно обмерзло так, что снег в палец толщиной лежал на стеклах. В малюсенькую незамерзшую дырочку возле рамы она ничего не могла разглядеть и, сердито перекладывая подбородок то на одну, то на другую руку, белым паром дышала на окно.

— А мы, если так, — с неуверенностью в голосе обратился к ней муж, — на два гроша спустим.

Сказал и прислушался.

Жена, видимо, хотела что-то сказать, но не найдя нужных слов, тягостно молчала.

Скорбь поселилась в душе Ивана. Обижен был невероятно. И кем же? Братом своим родным.

На печке лежать было жестко. Закряхтел и повернулся на другой бок. Подсунул под голову валенок, чтобы мягче было. Лохматая черная голова, испокон веку нечесаная, горестно лежала на сером истоптанном валенке, словно лохматый старый пес Жук на ветхой тряпке. Красный нос тихо

сопел в свалявшуюся бороду. По новой, тугой, как барабан, льняной сорочке, еще не ношенной, беззаботно ползал, как по мертвому телу, желтенький усатый и проворный таракан.

Иван исстрадался. Вчера вечером пошла хорошая карта, думал отыграться — на тебе, нечистая сила жену принесла.

Сегодня собирался поучить Кулину послушанию, но общая беда уже не давала на то права.

Ни слова не сказал горемыка. Приходили ему порой отчаянные, грандиозные задумки: выпить самому всю водку, предназначенную на продажу, и тем самым поддержать прибыльную торговлю недоброжелателю-конкуренту. Необычно кончить дело… и показать жене, что абсолютно во всем виновата она…

Пугался таких мыслей Иван.

Ни слова не сказал: пусть как будет, так и будет…

А окна сверху за ночь оттаивали. На улице было тихо. Мороз опадал. Укаталась дорога. Кто-то поехал в гости или в сваты. Снег медленно кружился в печальном зимнем воздухе.

IV

Учитель местной земской школы Алексей Алексеевич пятницу всегда считал своим счастливым днем. Поэтому он не пошел в село к учительницам, а засел за создание национальной литературы.

Но сегодняшняя пятница надумала, должно быть, от скуки поглумиться и посмеяться над своим любимчиком: все шло шиворот-навыворот. Напрасно старался Алексей Алексеевич притвориться веселым и удачливым — еще с утра, когда пятница должна была особенно благоприятствовать ему, какая-то вялость неотступно и с подлым упорством навалилась на него.

Он с досадой перебрал в памяти всех знакомых интеллигентов и аж плюнул: накануне у батюшки, когда играл во флирт со специальными карточками для этой игры, учительница N-я лезла к нему со своими любезничанием и жалобами на душевное одиночество. Пропади ты пропадом! Перед мысленным взором предстало ее грубое и курносое лицо.

«Не лицо, а горшок, будь ты неладна», — покачал он головой и невольно передернул плечами, как бы сбрасывая с себя то, что налипало.

Перед творческой работой он захотел вымыть руки и только сердито побарабанил шпунтом в умывальнике, мысленно ругая Яхима: опять, дьявол, сбежал на вечеринку, не налив воды.

Вечер только начинался, и настроение не обещало, что он будет коротким. Учитель сел за стол, закурил папиросу и хотел взяться за работу.

Но с улицы, из угловой хаты, глухо долетали громкие голоса гуляющих и вытье гармони. Как стадо волов, протопала под окном пьяная гурьба, с веселым смехом, бранью и непристойными шутками.

Он взял ответ редактора и в сотый раз вдумывался в хитро скрытый смысл коротких строк. «У нас небольших стихотворений достаточно; присылайте что-нибудь лучшее». Стал просматривать охаянное стихотворение. — «Какого еще лиха нужно этому редактору? Неужели те, что печатаются, лучше моих стихов?» — думал он, читая.

Ціха, маркотна ў мяне на душы!
А ў сэрцы — пустыня жвірова.
Няма ані веры, ні добрае кладкі,
Каб як перабрацца на іншы бок рова,
На той, а дзе воля, змаганне і доля.
Дзе толькі не бачу братоў я сваіх,
Братоў-беларусаў бяздольных —
Ці ў полі, ці ў хаце, ці ў карчме п'яных,
Я думкамі плачу... Мне больна, ой, больна!

Леў Парнаснік

Работа не шла. Подкрутив экономно фитиль в лампе, он прилег на скрипучую кровать, заложив руки под голову.

Вьюга за стеной крутила и бушевала, налетала на хату. Залихватски играла гармонь. Долетали звуки веселого гулянья.

«Черт знает, как тошно. Вот тебе и пятница», — подумал Алексей Алексеевич.

И слышал, как кто-то шастал под окнами: девки хотели посмотреть на панича или ревнивые хлопцы подкарауливали девчат?

Алексей Алексеевич окончательно решил для себя: хватит писать стихи! А то запустит какой-нибудь брат-белорус по пьянке палкой в окно, вот тогда поплачешь. Вон как там разгулялись — просто на головах ходят. А он тут один сидит, как в остроге.

И вдруг что-то значительное нахлынуло в череде дум. Он вспомнил другую, хорошую пятницу, когда задумал писать длинный роман, надеясь охватить жизнь Беларуси со всех сторон, во все времена и до самых мелочей.

Это была хорошая, веселая пятница в начале зимы. Крупный мягкий снег шел с самого утра. Всю землю укрыл белой пуховой постилкой. Когда идешь, под ногами: хруп-хруп, хруп-хруп. Приятно и легко. Снег повис на ветвях деревьев, растянулся по ним белыми пушистыми жгутами; на маленьких сучках лег красивыми жгутиками. С неба еще летят мелкие снежинки. Наверху — белесая пелена, и неведомо откуда ползут из мутной бездны снежные пчелы — как рой. Летят вниз и мягко неслышно ложатся...

«Дети! Дети! Посмотрите вверх, на небо!» — звал тогда Алексей Алексеевич свою школьную мелюзгу, радуясь, задрав голову и стоя всю перемену на крыльце в пальто нараспашку.

Вспоминал, вспоминал, а потом вздремнул. Но тут же очнулся и бросился к столу.

«Погоди же! И я добьюсь признания!» — сжал он руку, обмакнул перо, раскрыл рукопись романа на третьем, еще не законченном разделе и хотел продолжить его, но, чтобы настроить себя на прежний стиль, стал кое-что перечитывать и таким образом придти в нужное душевное состояние.

Роман свой он еще никак не озаглавил, а первой части дал название «Утопия». В ней, в первых двух с половиной разделах, он писал, какой сон приснился когда-то одному белорусскому писателю. Приснилось ему то, что будет в Беларуси через десять лет.

Виделось ему, что школа в деревне кирпичная, под железной крышей, покрашенной зеленой краской; в школе отдельная и хорошая квартира для учителя. Все крестьяне посылают своих детей в школу и просят, чтобы учили на родном языке, значит, белорусском. Все дети ходят в школу в сапожках, всем хватает учебников, тетрадей, карандашей.

У каждого в кармане носовой платочек. Дети рассказывают учителю, что родители послушались его совета и купили фаянсовые тарелки, чтобы не есть из одной миски, а ставить каждому члену семьи отдельную тарелочку.

Теперь Алексей Алексеевич хотел дописать, что все помещики, испугавшись призрака революции, по доброй воле отдали землю крестьянам...

«Вот теперь будет доволен редактор!» — невольно улыбнулся учитель и уже собирался писать, но потом задумался: как бы все это хитроумно выразить, чтобы не прицепилась цензура...

Думал он, думал — и рука его вначале сбоку, а затем и по всей странице стала выводить разные финтифлюшки.

«Вот тут и пиши», — с горечью прошептал Алексей Алексеевич и, подперев голову левой рукой, правой все продолжал чертить на бумаге всякие завитушки.

«Надо перечитать еще раз, — подумал он, — может, тогда с разгону дело пойдет... И, наконец, разве так важно, чтобы в разделе сохранялся единый стиль? Разнородность будет свидетельствовать о глубокой взволнованности автора...»

Заставил себя перечитывать написанное еще раз.

Раньше замысел романа казался ему очень удачным. Форма тоже вполне удовлетворяла, иногда даже сам удивлялся, что все так хорошо получается; радовался, что его роман перевернет вверх ногами весь крестьянский уклад и, главное, социально и национально будет пробуждать самосознание белорусов. Теперь же, чем дальше он читал, тем больше приходил к убеждению, что роман крайне слаб, мысли никчемные, форма тяжеловесна...

Его охватил страх: никогда ничего доброго из-под его пера не выйдет.

Алексею Алексеевичу стало стыдно и неприятно.

Пропало всякое желание писать, не хватило терпения даже дочитать написанное.

И Алексей Алексеевич с такой злостью и отвращением швырнул ручку на рукопись, что перо воткнулось в бумагу и погнулось, чернила забрызгали весь стол, а ручка стала торчком, качаясь из стороны в сторону...

Вот тебе и пятница!

V

— Нет, не рассохнется, — весело говорили девчата, насчитав в кочережнике чет из ухватов, сковородников, кочерег и посошков.

— Столько на помолвке выпили да чтобы рассохлась. Еще чего! — рассуждали молодицы.

И пели невесте грустные свадебные песни до самой свадьбы.

В субботу было обручение. И в этот же день началась оттепель.

Совсем оттаяли окна. На минуту брызнул из-за туч снопик солнца. Мягкий снег хорошо скатывался в комья, и мальчишки слепили снеговиков. Кони с водопоя не пошли в хлев, а побежали за хаты — повзбрыкивать на снегу.

На следующий день, когда молодые приехали из-под венца и вечером началось большое веселье, с крыш капало и пели петухи.

На улице стало приятнее и светлее, она наполнилась звуками капели и свадебным весельем.

Приехавшие гости заполонили весь двор. Позвякивая колокольчиками и бубенцами, хрупали сено лошади. Со смехом и шутками из хаты во двор и обратно ходили люди, шмыгали под ногами дети, бросаясь снежками, всюду стоял свадебный гомон. А в хате играли скрипки и бухали бубны, пели и отплясывали танцоры, галдели и говорили хмельные гости.

— Одаривайте, одаривайте княгиню молодую! — во всю силу гремел развеселелый дед Петрок. Он был приглашен сватом и немного захмелел, но с гордым видом высоко поднимал подносик, обернутый белым платочком, на который гости клали подарки.

Музыканты играли одну из лучших белорусских полек, и все в хате ходило ходуном. Валента, важный, будто и не во хмелю, с оттаявшим сердцем помогал музыкантам: широко расставив ноги перед скоморохом, игравшем на басах, он двумя лучинками ударял в такт по струнам.

И в душе Панаса играла полька. Почувствовав взаимность со стороны сестры жениха, светской барышни в го-

родском платье и с городской речью, он гордо поглядывал на свои лакированные сапоги и надетые на них блестящие калоши. Кроме того, на нем была сатиновая сорочка с карманом на груди, из которого свисала цепочка; в кармане тикали часы. А его барышня с высоко взбитой прической с гребешками нежно льнула к красивому парню.

Гости подходили к Петроку, клали подарок и за это угощались водочкой, закусывая сладким и вязким пряником. Одаривали невесту…

— Дай же, Господи, чтобы наша княгинька молодая с мужем в счастье, в радости жила, деток-голубочков дождалась, на их свадьбах в охотку погуляла. Дай вам Бог всего наилучшего.

— Пей, пей уже, кума, да других пропусти.

— Налей, сваток, за подарок!

— Одаряйте! Одаряйте!

Кулина и Иван следом за кумой к подносику гуськом подходят. У Ивана на шее новый шарф, серенький, а у Кулины — большой кашемировый платок с кистями. Выпили несколько рюмочек и залопотали, как гусаки. Ударили музыканты «скакуху»*... Понесся Иван с Кулиной в пляс — круг расступался. Хохот поднялся. Бабы в ладоши захлопали, а Кулина так и отбивает в круге дробью. Пустился Иван вприсядку, только шарфик мотается туда-сюда; гоп-гоп! — ноги выкидывал вперед, к жене поближе, а та, как курочка, бочком-бочком и назад, а потом, подразнивая, вокруг него, вокруг него. Тут он вдруг вскочил на ноги, взмахнул рукой над головами глазевших баб и, как орел на голубку, бросился на Кулину, легко подхватил ее и вихрем закружился с нею.

— Метелицу, метелицу! — и все заветрелось в хате, в ком душа жила. И запели:

Дуе, вее мяцеліца,
Чаму стары не жэніцца?..

Будто с многолюдной ярмарки, вырвался Иван с женой из круга.

---

* Скакуха *(бел.)* — плясовая.

Спасибо тебе, женушка, ни разу в жизни так не плясал, как сегодня.

Чтоб тебе, муженек, типун на язык, как ты хвастаешься, все ноженьки мне сегодня оттоптал; не в глухом ли лесу у медведей ты плясать научился, голубок? — шутила Кулина так, как никогда не шутила.

Тем временем побежали к учителю приглашать его на чествование молодых.

Чего он там сидит в одиночестве, как барсук в норе, — говорил сват Петрок, — человек он молодой, пусть повеселится, к детям будет добрее.

Пошли к нему Панас с женихом, а следом отправилась Петрочиха. Долго и так и сяк отказывался учитель. Даже надоело жениху слушать эту сказку про белого бычка, но Петрочихе очень понравилось. Все-таки подхватили молодца под руки и, как ни упирался, повели. Петрочиха легонько подталкивала его в спину.

Посадили Алексея Алексеевича в красный угол, рядом с крестной матерью невесты, пододвинули колбасу, миску холодца, положили пирога, а сват Петрок пристал к нему с водкой, как черт к грешной душе. Девчат разбирало любопытство, и они, будто нечаянно, бросали взгляд в тот угол, но тотчас же поворачивались к парням. Дед Петрок завел долгий и нескладный разговор о своей молодости, поучал Алексея Алексеевича, как надо жить на свете, и не забывал наливать ему рюмку за рюмкой, угощать его. А учитель вначале стеснялся пить, не знал, чем брать колбасу, но, хватив рюмки три, пустил в ход руки и уже время от времени поглядывал на свата, ожидая еще рюмочку. Язык у него развязался, стал он рассказывать об учительской жизни. И вот — оба одновременно рассказывали о чем-то друг другу и оба не слушали. Выпив со стариками и тем самым показав как следует свою близость к народу, учитель приказал выказать себе такое же расположение и молодым. И так разошелся, что вылез из-за стола и, чуть качнувшись, но думая, что этого никто не заметил, вышел на круг, подбоченился, кивнул своей бывшей ученице, в позапрошлом году окончившей школу, и пустился с нею в пляс. Гости были приятно удивлены и одобрительно говорили: «Наш человек». А раскрасневшийся Панас ходил

среди гостей и расхваливал Алексея Алексеевича. «А что, разве я не прав, что все люди равные?.. Не раз говорил, что я хоть и окончил церковно-приходскую школу, однако не заважничал, над обычаями нашими не смеюсь, люблю их. Я, как и все люди, со всеми и водку пью, и в карты играю, и на свадьбы хожу. Вот и Алексея Алексеевича привел. Если бы не я, может, он и не пошел бы. А я и с ученым ученый, и с неученым неученый». Учитель, уставший, запыхавшийся, с мокрым лбом и шумом в голове, отошел со своей девушкой к группе молодых и, обмахивая платочком лицо себе и ей, чуть заплетающимся языком говорил ей: «Ты, Ганнушка, всегда будь такой, как твой учитель; живи так, как он тебя учил, — и всегда и везде тебе будет хорошо». Ганна смущенно опускала глаза, незаметно отклонялась от водочного запаха и с нетерпением ждала, когда учитель отойдет от нее, а сама удрать не решалась.

Пока они разговаривали, на круг проталкивалась Петрочиха и тащила за рукав свою молчаливую невестку.

— Пойдем, пойдем, моя рыбочка! Вместе работаем, вместе и попляшем. Пусть полюбуются люди добрые, как мы веселимся.

И стала старуха прыгать, как сорока, отступать назад, хлопать в ладоши, веселыми глазками пронзительно глядела на невестку, и та, одной рукой подхватив краешек своего фартука, а другой плавно размахивая над головой, плыла за свекровью с чуть заметной улыбкой, к которой повседневное безмолвное страдание шло в этот момент навстречу веселью и поддавалось ему.

Петрочиха запела старческим, дрожащим и ласковым голосом:

Ты, нявестачка,
Ты — лябёдачка!..

А невестка подхватила:

Матка ж мая старэнькая,
Як галубка сівенькая!

И все были изумлены, что у этой тихой и молчаливой Петроковой невестки такой чистый и звонкий голос.

Алексей Алексеевич едва не заплакал, услышав, как красиво она ведет мелодию; такого он никогда не слышал даже от учительниц. «Живет наша Беларусь, — сказал он Ганне и крепко сжал ее руки, — живет, Ганнушка, не теряй веры!»

Петрок, всех растолкав, подошел поближе к жене и невестке и с одобрением говорил:

— Люблю! До чего же люблю! Ай да бабки мои! Знай Петроковых!

VI

Утро было тихое и печальное. Сугробами белыми-белыми, синеватыми, косыми и высокими, аж до крыш, гребнями замела, засыпала метель безмолвные, озябшие за долгую вьюжную ночь хаты.

Долгие предрассветные сумерки сменились утром. Скрипит снег у колодца. Засипел, захрипел, как испорченная дудка, обмерзший колодезный журавль. Звякнули ведра. Понурые гнедые кони вышли за ворота и долго стояли возле сугроба. В щелястом хлеве заблеяла овечка, крутанула хвостиком, понюхала, а потом и лизнула дрожавшего, не обсохшего, с замерзшими, побелевшими ушами ягненка, родившегося на рассвете. Хозяйка в заплатанной кофте, со сбитым набок платком, закрученным, как турецкая чалма, впотьмах, стала спиной к щели в стене, откуда несло мелкую порошу, и красными от холода и заскорузлыми от работы руками трясла над грязной овечкой и крохотным ягненком дырявое решето, брызгая через него изо рта освященной водой.

А на другом конце деревни над крышами уже поднимался белесый дым из труб и растекался в морозном утреннем воздухе вокруг застывших ветвей березы, делая их убранство из искрящихся снежинок еще более красивым.

Утопая в сугробах, вышла из-за угла хаты стайка детей-учеников с книжками в холщевых сумках через плечо.

Так потихоньку-полегоньку начинается зимний будний день.

Ну, ничего: скоро масленица!

ГЕНЕРАЛ

I

Он был уже старенький.

Брил на английский манер бороду и усы, и поэтому нельзя было с уверенностью сказать, сколько ему лет. Но под глазами желтые сморщенные мешочки, на макушке — реденькие волосы, седенькие, мягкие, набок зачесанные.

Руки у него дрожали — иной раз очень заметно.

В мундире в обтяжечку на английский фасон и в брюках галифе, с белоснежным подворотничком и с крахмальными манжетами на тонких худых руках, он выглядел миниатюрным, престарелым, но щеголеватым чистюлей.

А на груди у него была высокая боевая награда: георгиевский крест.

Он сидел в кабинете, под который переоборудовали гостиную огромного старинного помещичьего дома, дымил сигарой и время от времени маленькой серебряной ложечкой похлебывал черный холодный кофе.

Его трудовой день начался давно, однако было еще рано: первый час пополудни. Дивизия на позиции стояла уже несколько месяцев, особых событий не происходило, и одолевала скука.

Он придумывал, но так и не знал, чем заняться…

За окнами качались мокрые ветви, стряхивая на стекла то больше, то меньше капель влаги.

Изредка глухой гул, похожий на далекий гром, долетал в кабинет, ложечка позвякивала о края стакана, и невольно и подсознательно появлялись и исчезали какие-то неуловимо тревожные воспоминания и чувства.

Иногда дверь неслышно отворялась и входил высокий, вышколено-подтянутый, но безнадежно тощий от вкушенных сладостей жизни адъютант с бумагами. Он щелкал каблуками — при этом звенели шпоры и болтались аксельбанты — и что-то спрашивал у его превосходительства, легонько постукивал пальцем с длинным ногтем по своей

важной бумаге... Снова звякал шпорами, круто и ловко поворачивался и так же тихо выходил.

В тот момент, когда открывалась и закрывалась дверь, сюда доносился шум голосов, стрекот пишущих машин и стук солдатских сапог с подковками по старинному дубовому паркету.

Откинувшись на мягкую спинку кресла и вытянув маленькие ноги, генерал пускал синий дымок и думал...

Перед ним лежали последние приказы высшего командования, телеграммы, газеты и письма. И все было так однообразно и неинтересно... Какие-то смутные слухи в столице... Бесконечная пустая говорильня в Думе... Снова вопрос о целесообразности дальнейших отходов на лучшие позиции... И снова рассуждения о катастрофическом снижении боевых качеств войсковых формирований.

«Самое худшее в любом деле, — думал генерал, — когда людей покидает творческий настрой, когда кажется, что все ясно, все кончено, все, что можно, сделано, и никаких иных возможностей нет. И тогда тоска...»

Он невольно вздохнул. Потом машинально позвонил и, когда снова с бумагами явился адъютант, приказал, чтобы подогнали автомобиль для поездки на позиции.

— Обед, ваше превосходительство, готов, — сказал адъютант.

— А... ну, все равно, — апатично согласился генерал и перешел в столовую комнату.

Во время обеда, когда к сытому человеку обычно приходит хорошее настроение, генерал еще больше заскучал. Подполковник-весельчак, начальник штаба, был в отпуске. По давней традиции на обед были приглашены новоприбывшие офицеры. Но ныне это были стеснительные и нескладные прапорщики. Генералу становилось не по себе, видя, как не умели они держаться в офицерской компании, краснели, мешкали, боялись сделать что-нибудь не так, стараясь делать все как можно лучше, но все ж таки, запамятовав, ели с ножа и брали хлеб вилками...

«И это наши офицеры! — с грустью подумал генерал. — В самом деле, разве с такими офицерами можно достичь победы?» — горестно и непроизвольно покачал он головой.

Обед закончился очень быстро: генерал ел совсем мало. Он без промедления вышел, сел в автомобиль и один, даже без адъютанта, поехал в штаб N-ского полка, который стоял в настоящее время на передовой позиции.

— На наше превосходительство напала мерехлюндия, — сказал адъютант доктору, когда автомобиль скрылся в пелене тумана. — Не желаете ли, господин доктор, партийку? — спросил он, взяв доктора под руку, и повел его в кабинет генерала за шахматный столик.

— Одну партийку можно, — ответил, идя, доктор. — Нервишки у нашего превосходительства тово-с... — добавил он, немного пройдя и подумав, и поправил на носу очки и пригладил свою большую косматую и черную земскую бороду.

II

Дорога шла по мелколесью и по серым, мокрым, оставшимся зимовать нескошенным полянам. Сбоку, в вырытых канавах и ямах, было полно воды с ледочком по краям. Тянулся ольшаник — и невредимый, и порубленный саперами, когда чинили дорогу.

В воздухе висел мелкий, в виде тумана, дождик. Нескончаемо курилась и курилась эта морось. В некоторых местах — в лесу, на полянах — вился дым. Там вольнонаемные, вперемешку с солдатами, рыли окопы, и генерал, посмотрев на их работу, подумал, что они больше раскладывают костры, курят и разговаривают, чем копают.

Зачастую приходилось обгонять обозные подводы. Они неторопливо сворачивали с середины дороги к обочине. На каждой повозке сидел бородатый солдат, набросив от мороси себе на голову мешок или что-то иное. Испуганно, но не слишком поспешно стягивал он мешок и прикладывал руку к козырьку.

«Самое худшее в любом деле, — снова мысленно рассуждал генерал, — когда не к чему стремиться, когда нет полета, нет размаха...»

В штабе полка остановились только для того, чтобы взять сопровождающего. На готовность полковника ехать с ним генерал ответил отказом, чем удивил его и обидел.

— Вы извините меня, полковник, — заметив обиду, несколько мягче сказал генерал. — Я знаю, что в вашем полку все в образцовом порядке… Мне просто хочется побыть одному и не обременять ни себя ни других лишними служебными разговорами…

Но полковник этого не понял и еще больше обиделся.

Тихонько тронули с места и через несколько минут въехали в задымленный сосняк, в котором виднелись передки, лошадиные морды, землянки, двигающиеся фигуры людей.

Тут стояла батарея.

Генерал вышел из автомобиля и направился к землянкам. Дежурный в испуге сначала бросился навстречу, потом повернулся и побежал к командирской землянке. Оттуда, внешне спокойно, выходил в полушубке усатый капитан, готовясь отдать рапорт.

Однако генерал, еще не дав ему подойти, хмуро сказал:

— Почему вы, капитан, не на своем наблюдательском пункте?

Тот медлил с ответом, начиная ненавидеть генерала и злясь на себя за то, что в последнее время опустился, все время лежал в землянке и думал, каким образом и где прорвать фронт противника.

С батареи генерал вдвоем с капитаном верхом поехали на командирский пункт. Там он без всякого интереса посмотрел в трубу Цейса, однако из-за тумана ничего не разглядел и оттуда пешком, в сопровождении солдата, отправился в передовые пехотные окопы.

Там уже получили телефонограмму о прибытии генерала и ждали его.

Шел он с молодым солдатиком, безусым, а уже с унтер-офицерскими нашивками, и очень хотел разговориться с ним.

И хотя солдатик бойко и нисколько не смущаясь отвечал ему, беседа не получалась.

Генерал спросил, из какой он губернии, кто остался дома, часто ли пишут, и все же не слышал в его ответах тех

приятных, с дрожью в голосе, ноток, на которые рассчитывал и которые появляются, как он полагал, когда уважаемый начальник спрашивает о чем-нибудь личном у своего самого низкого ранга подчиненного.

Генерал не находил, о чем бы еще поговорить, и был рад, что уже пришли в намеченный пункт.

Он приветливо поздоровался с командиром, с солдатами и прапорщиком. Солдаты, хотя и с изнуренными лицами, но показушно веселые, провожали генерала, как ему казалось, любящим и благодарным взглядом за то, что он, генерал, проведал их тут.

Что ж, жить можно было... Сильные морозы еще не прижимали.

А по ночам уже строили блиндажи, рыли землянки.

В окопах в стенке, обращенной к противнику, солдаты выкопали ниши — так называемые лисьи норы, дно и стенки выложили еловыми лапками и притащенной с брошенных хуторов соломой и льном и завесили ниши палатками.

А для ночного времени, также в стенках окопов, вырыли и устроили своеобразные печурки. От прохода одна траншейка шла к колодцу, а другая была для стока воды.

Солдаты переступали с ноги на ногу, стучали валенком о валенок, но холод терпеть еще можно было.

Проходя мимо, генерал вдруг остановился возле одного молоденького солдатика, длинноносого, с желтоватым худым лицом и посиневшими губами.

— А хлеб у тебя есть? — спросил он у него

— Нету, ваше дитство! — довольно бойко ответил этот тщедушный солдат, на вид еще совсем мальчик, и, невольно бросив взгляд в ту сторону, где стоял ротный, поспешил добавить: — Но сегодня привезут, ваше дитство!

— Молодчина! — ласково хлопнул его по плечу генерал.

— Рад стараться, ваше дитство! — с усердием выкрикнул солдатик и вытянулся в струнку.

— Сегодня хлеб должны подвезти, — отважился вмешаться в разговор ротный командир.

Это был неказистого вида прапорщик, остроносый блондин. «По-видимому, из учителей», — подумал про него генерал.

— Вчера ждали, да что-то произошло в пути, ваше превосходительство! — добавил прапорщик и чуть не запутался, произнося это длинное слово.

— То-то они такие хмурые, — генерал потрепал солдатика по щеке и был доволен, что нашел нужные слова и жесты, что солдатам это понравится и поднимает у них настроение.

«Ничего, — подумал генерал, — в любом, кажется, самом безнадежном деле может вдруг, неведомо откуда, возникнуть такой творческий порыв, что люди без раздумий сделают невозможное возможным».

III

Генерал повеселел, ему уже захотелось возвращаться в штаб, на обратном пути заехать на батарею, поласковее поговорить с капитаном, зайти к полковнику и еще раз похвалить его полк, а вечером сыграть в своем теплом кабинете с адъютантом и доктором в шахматы одному против двоих и выиграть.

Вдруг он вспомнил, что еще не осмотрел поле обстрела, поэтому взял бинокль и начал вглядываться в седую туманную пелену, висевшую перед окопами.

В бинокль видны были окутанные туманом немецкие блиндажи, над которыми вились дымки, просматривались заграждения из колючей проволоки, а чуть дальше можно было разглядеть кладбище, большой крест и разбросанные бревна от сгоревшего дома.

Вглядевшись туда, куда показывал рукой старый бородатый солдат, генерал увидел сквозь туман, как два немца что-то копают, высоко вскидывая землю, а третий курит, высунув из-за бруствера голову.

— Разве вы не стреляете по ним? — спросил генерал.

— Нет, ваше дитство, — ответил старший наблюдатель, — по приказу из бригады должна стрелять батарея, когда их много на работу соберется. А мы стреляем редко…

— Почему?

— Они блиндажи и колючки поправляют большей частью по ночам, а днем редко показываются.

— Дайте-ка мне винтовку, — попросил генерал.

Он долго прицеливался, наконец выстрелил.

Хотя стоял туман, выстрел прозвучал громко, но как бы случайно и одиноко. Ответных выстрелов не последовало.

И генералу подумалось, что хоть солдаты имеют хороший вид, но при таком бездеятельном состоянии, даже без серьезных перестрелок, у солдат пропадает храбрость и они привыкают беречь себя.

— А когда идешь по брустверу, хорошо видно поле вашего обстрела? — спросил он у командира роты.

— Оттуда немного лучше, только днем опасно, ваше превосходительство, — ответил ротный и опять чуть не запутался, произнося это длинное и трудное для него слово.

Генерал посмотрел на него и ощутил непреодолимое желание оттолкнуть его или задать встряску, чтобы ротный не был таким раскисшим. В этот момент генерал так ненавидел прапорщика, что готов был ударить его.

Но неожиданно для самого себя и для всех круто повернулся, взошел на приступку и, опершись на плечо солдата, сказал:

— Помоги-ка, братец…

А поднявшись на бруствер и выпрямившись, спокойно пошел по нему.

Дзинь, дзинь… — в тот же миг пролетели над головами одна за другой две пули, и со стороны немецких окопов донеслись хлопки выстрелов.

— Стреляют. Риск немалый, — сказал кто-то.

«Кому нужно это чудачество — под пули себя подставлять? С ума он сошел, что ли? — с возмущением посмотрел на генерала прапорщик. — Но ведь и мне надо идти с ним по брустверу, и мне надо» — думал он, чувствуя, как сильно забилось сердце.

Генерал тоже глянул на прапорщика и зло подумал: «Учителишка… Из тех, которые едят с ножа… Бережет себя».

И тут прапорщик вмиг вскочил на бруствер и стал позади генерала, тоже в полный рост и тоже с риском для жизни. Минута пребывания тут казалась вечностью. Возможно, прапорщик сделал два шага, как вдруг перекувырнулся и съехал в окоп.

— Вот... — вырвалось у кого-то из солдат.

Генерал тотчас же спрыгнул в окоп и вместе с другими бросился к неподвижному телу.

Он схватил убитого за руку и крикнул:

— Где фельдшер?

Мертвый прапорщик лежал, подогнув ноги и откинув руку в замшевой, с белой меховой оторочкой рукавице. Шапка съехала на затылок, и были видны светлые, зачесанные набок волосы. Бритый подбородок обозначился серой щетиной, челюсть слегка искривилась, и возле фуражки на мерзлом сухом дне окопа появилось небольшое пятно густой крови.

Прибежал фельдшер со своей сумкой и, осторожно обойдя генерала, опустился на колени и приложил ухо к груди прапорщика.

— Скончался его благородие, ваше дитство, — сказал он генералу извиняющимся тоном, будто хотел добавить: «Я не виноват...»

Генерал неловко положил руки убитого на его грудь, затем медленно и торжественно снял шапку.

— Вечный покой, — прошелестел он губами.

Потом, выждав некоторое время и дрогнув в раздумье мускулом левой щеки, снова опустил шапку, нагнулся и поцеловал мертвого в лоб.

— Слава погибшим сыновьям Отчизны! — уже громко добавил он и долго и неумело надевал шапку.

А пули перестали дзинькать. Вокруг снова было тихо и промозгло. И далеко возле леса, на флангах, стлался — нельзя было разобрать — не то дым, не то туман.

ПРИСЯГА

I

Тесно жить на свете!..

Было это давно, еще при крепостном праве. Развелось много беглых крестьян. Бежали от панов кто куда: кто по-

давался на Украину, кто убегал в большие города, а кто по лесам шатался.

Любил заглядывать беглый люд в глухие выселки, где можно было пристроиться к мужикам и жить, скрываясь от начальства.

Вот так забредали беглецы и в Пневщину — небольшие убогие выселки, место для них чрезвычайно сподручное. Далеко вокруг простирается вековая пуща. Вдали от панского поместья и ото всякого начальства, а какие дороги есть, то все малопроезжие. Глухомань несусветная, только слышно, как лес шумит, как стонут и гудят деревья. По ночам вой зверя да еще какой-то непонятный хохот. А в затишье кажется, будто в самом деле в лесных чащобах ходят и шамкают богатыри, — большие, ростом с дерево…

Зимой прибыли в Пневщину трое беглецов и пошли в батраки к Тарасу — самому зажиточному хозяину. Один из беглецов уже старик, второй — средних лет мужчина, больной, опухший, а третий — молодой парень. Не впервые в выселках беглецы прятались, однако эту троицу Тарас с большой неохотой принял, будто чуял беду. Но уж очень просились горемыки, вот он и согласился взять их к себе за издольщиков.

Наступила весна. Обжились немного беглецы, окрепли и с радостью встречали теплые дни. На сердце у беглеца всегда студеная зима, вот он и рад любому теплу и свету.

Уже проплыли последние льдины по реке. Прогремел гром, подсохшую землю окропил дождь, сделав ее чуть липкой, похожей на густую паутину, дав знак людям, что и пахать пора. Хотя в канавках в поле еще полно воды, но космы травы под нею у кромок берегов уже как следует зазеленели. Над болотными кочками, в весеннем воздухе с самого утра уже купаются стремительные чибисы со своим неумолчно-надоедливым криком: ки-ги! ки-ги! А на вырубках, среди пней, уже расцвела в эту пору белая примула, бутоны только-только распустились. А вскоре и желтые цветы появились. На яровом поле в разных местах и хвощ рос. Полопались почки на деревьях. Люди взялись за пахоту.

По воскресеньям отбывали барщину. На этот раз, хотя был четверг, войт погнал всех до единого с Пневщины на пахотные работы в усадьбу. Специально сам приезжал, ругался, что выселковые совсем от рук отбились, работают только

на себя, собрал всех и отправил в усадьбу. Поехал и Тарас. А беглецы его, выждав, когда войт отъедет от выселок, вылезли из гумна, где обычно прятались в соломе, позавтракали и пошли в поле на хозяйскую работу. За пригорком, возле пущи, подальше от людских глаз, стали они залежную землю поднимать. Старик на лошади с сохой, а двое с мотыгами возле пней.

Тихо и пусто вокруг. Они работают, а там еще старик Яхим гони за две от них стадо пасет. Больше в поле ни души, все на барщине в панском поместье.

Приятно идти за сохой в свежей бороздёнке, тем более, когда рядом лес зеленеет первыми клейкими листочками. На ветках птички поют, в болоте жабы квакают, солнышко как пригрело, так на лугу трава прямо на глазах пробивается. Все живое дышит и тянется к солнцу. Подует тихий теплый ветерок, и с ивняка желтенький, как утята, пух сыплется. Хорошо! Славно! Буйствует жизнь на земле, а на сердце тихо и спокойно.

Парень снял шапку, потом сел, разулся и налегке, босиком, взялся за работу. Дед съехал в низину, положил соху набок, коня распряг и пустил на траву, а сам на сухой темной траве вытянул босые ноги и достал трубку. Средний тем временем прикрыл ладонью глаза от солнца и стал смотреть, где бы напиться. И вдруг видит: кто-то бежит от выселок и машет пахарям рукой...

— Эй, Янка, посмотри-ка ты молодыми глазами! — от непонятной тревоги излишне громко сказал средний беглец.

— Нам знаки подает! — ответил парень и крикнул старику: — Дедуль, глянь-ка!

Вскочил дед, сошлись все трое и смотрят вместе на бегущего.

— Бежать надо, вот что, — все понял старик, чувствуя тревогу на сердце.

А человек бежит, бежит по склону горы и то им махает, то на хаты оглядывается.

— Тарас бежит, — узнал Янка.

— Отпрягай! — крикнул товарищам старик.

Быстро отпустили гужи, рассупонили, сняли хомут, потащили соху в кусты. Примчался Тарас:

— Ну, братцы... прятал... пока можно было... Убегайте: приехала ревизия, ловят беглых...

Схватился за сердце средний, побелел Янка, а старик зубами скрипнул. Надо бежать. Да сами не знают, зачем коня распрягали, зачем соху в ивняк волокли. Опять принялись коня Тарасу запрягать; только с мотыгами не знают, что делать.

— Бегите, бегите, братцы, — торопит их хозяин. — Сам тут управлюсь.

Бросили все и пустились наутек, а хозяин погнал борозду.

Едва успели скрыться в лесу, как от хат послышался звон колокольчиков. Едет на дрожках господин офицер, рядом казаки. За ними следует отряд десятских. Катят все к бедному Тарасу. А он своего гнедого понукает, будто всецело пахотой занят, и сам думает: «Помоги мне, Господи, говорить все так, чтобы хоть немного было похоже на правду...»

Вдруг во рту пересохло, а сам похолодел весь.

Подъехали.

— Эй, — крикнул Тарасу офицер еще издалека, но тот уже и сам остановился; снял шапку и бежит навстречу руку целовать.

— Бог в помощь! — осмелился кто-то из десятских сказать пахарю. Сказал и испугался собственного голоса.

— Беглецов укрываешь, а?! — грозно рявкнул офицер, еще сидя на дрожках.

— Нет, вашмость, я не прячу... — заморгал глазами Тарас и упал перед ним на колени.

— Врешь, пся крев! Вяжи его!

— Пане! Ясновельможный пане... — не находил, что и сказать Тарас. Не ожидал, что так внезапно схватят его. — смилуйся, паночек, родненький, дорогой... О Боже мой, Боже!

— Замолчи!!

Только кости затрещали, когда крутили ему руки за спиной и вязали их веревкой. Тогда начальник слез с дрожек. Толстенький, небольшого росточка, с красными, как у яблока, щечками, поблескивая пуговицами, он подошел к Тарасу

и ткнул под нос кулаком в перчатке. Впился глазами в беззащитного человека, помолчал, набрал в грудь воздуха да как гаркнет:

— В Сибири сгниешь! Сдохнешь, как пес, у тачки. Скрываешь панских беглецов! Где они, а? Говори, не то дух из тебя выпущу!!!

Схватил Тараса обеими руками за грудки и трясет изо всей силы. Молчит Тарас.

— Ничего не знаю… Нечего мне говорить… — вот так время от времени прошепчет и снова молчит, только голова с большой бородой болтается, когда офицер начинает его за грудки трясти.

— Ах, так! Ну хорошо! — вознегодовал наконец пан. — Ладно, — говорит, — посмотрим, как ты не знаешь. Марш домой!

Скомандовал, сел на дрожки и направился к хатам, а следом за ним двинулись остальные.

«Нет, не скажу, ни за что не скажу, — рассуждал по дороге Тарас. — Пусть хоть убьют — даже тогда не признаюсь». От такого решения и на сердце стало веселее.

Тем временем все приехали в выселки и остановились напротив Тарасовой хаты. Там уже собралось несколько сельчан. В куче баб и детей голосила и металась с ребенком жена Тараса, но ее хватали за руки и не пускали. Тут же вытащили на улицу длинную скамью, а рядом с ней поставили корыто с замоченными березовыми прутьями. Видно, уже заранее об этом позаботились, пока вели арестованного с пашни. Как увидел бедный Тарас, что ему уготовано, весь задрожал, руки и ноги отнялись; хотел что-то сказать, но и языком не пошевелить. Связанный, прислонился к хате. И свет перед глазами померк, хотя солнышко светило. Хотели уже начинать, однако начальник почему-то тянул, задумался о чем-то. Крестьяне и казаки смотрят на пана, не понимая, что его так заботит.

Но вот он достал из кармана листок бумаги и карандаш, сел на завалинку и, положив бумагу на колено, написал что-то. Затем пальцем подозвал одного из казаков и сказал, отдавая записку:

— Через час возвращайся с попом.

Вскочил казак на коня, хлестнул нагайкой с размаху, перевел его с места в карьер и помчался, как шальной, только пыль столбом заклубилась.

Никто не понимает, что происходит.

А Тарас, с онемевшими руками, опустив голову, стоял скорбный и отрешенный, будто это его не касалось. Только иногда у него непроизвольно дергалась щека, когда из хаты доносился плач жены, рев детей и голоса десятских; они там то нарочно грубо орали на бедную женщину, то тихо, даже сочувственно, говорили с ней.

Офицер сидел на завалинке, курил папиросу и порой улыбался в усы. Потом стал писать на принесенной из гумна колоде протокол. Десятские разложили на бревнах возле хаты свои узелки и ели хлеб, посыпанный солью. Время тянулось бесконечно долго.

II

Трудно вырваться из цепей невежества!

В конце улицы затарахтела бричка, и все посмотрели в ту сторону. Верхом на лошади ехал казак-посыльный, а следом за ним на бричке старенький поп. Народ вздохнул — отчасти с облегчением, что пришел конец ожиданию, но больше с тревогой из-за неизвестности. Когда седенький батюшка в черной поношенной рясе вошел в хату и зашаркал по полу кожаными лапотками, а казак нес за ним узелок с церковными атрибутами, в душах людей возникло тягостное предчувствие непонятной беды.

Офицер пошептался о чем-то со священником. Многие мужики заметили, как батюшка был неприятно поражен чем-то и старался скрыть это огорчение в своих глубоко запавших глазах.

«Присяга... Присяга...» — понеслось в толпе страшное слово.

— А кадило не забыли взять? — озабоченно спросил офицер у казака, развернувшего на скамейке узел.

— Так точно, вашскородь, взяли, — ответил казак.

Кадило я привез, господин начальник, как вы и написали, но оно здесь не надобно, — сдержанно сказал священник офицеру.

— Пусть будет, пусть будет! — возразил офицер и, наклонившись, прошептал на ухо: — Это им для устрашения.

Казаки выдвинули стол на середину хаты и накрыли его черным сукном. Сотский подошел с кадилом к печке, отодвинул заслонку, выкатил ухватом несколько угольков, обдул с них пепел, положил в кадило и подал его священнику, который, достав из кармана ладан, посыпал на угли. Сотский отошел к порогу и стал раздувать кадило, позванивая цепочками. Приятный, но погребальный дымок расплывался по хате, настраивая людей на грустный лад. Кто вертелся, кто притих от необъяснимого страха. Тарас побелел, как мел, и тяжело дышал. Всевозможные мысли роились в его голове. Обрывки воспоминаний, куски образов спрессовались в какой-то болезненный ком, какой-то тягостный сумбур. Сдавливали голову. Все было как в тумане. Навязчиво думалось: как поступить? Так или этак? Что все это значит? В чем дело?

Перед глазами стояли беглецы…

По вечерам, когда все сельчане, поужинав, укладывались спать, когда с темной пашни приплывал с весенним ветерком аромат свежей землицы, когда разнежившись, квакали и охали, точно пьяные, лягушки, выходил беглый старик в сад под кривую яблоньку, падал на колени, лицом на восток, скрещивал руки и молился — рвал на части свое бедное сердце. Молчало и темнело красивое веснее небо, а дедок царапал свою худую волосатую грудь. Подсмотрел это моление Тарас и не единожды его потом видел, но никому ни слова не сказал, да и что говорить, если всем и так понятно.

Средний беглец в такие часы никак не мог уснуть, ворочался на полатях и то кашлял, то вздыхал тайком. Злилась жена Тараса, что он кряхтит, а то и слезет с полатей и начнет впотьмах искать кружку, шарит на полке, стучит, иногда опрокинет что-то — жажда его мучит.

Парень же сидит, бывало, на улице допоздна и на дудке все одну и ту же песню играет и играет.

Все это стояло теперь перед глазами Тараса.

А батюшка уже облачился в епитрахиль, взял в руку крест, крякнул, обвел глазами собравшихся в хате и начал говорить:

— Братья во Христе! Клясться страшно. А клясться именем самого Бога, клясться перед Его святым ликом, это... это присягать, братья, еще страшней. Не доведи, Господи, присягать без крайней надобности ни вам, ни детям вашим. А еще страшнее то, что и язык мой не поворачивается назвать — присяга криводушная... Самый тяжелый смертельный грех, погибель души и тела на этом и на том свете! Упаси нас, Боже, убереги, защити! Значит, человек, если он фальшиво присягает, то будто говорит себе и людям: «Вот я не боюсь Бога и ставлю себя вровень с ним, как та проклятая сатана». Господь Бог за такое дьявольское действо уничтожает, стирает с лица земли, как негодную пылинку. Ибо это, братья, есть обман Творца, поцелуй Иуды. И за лицемерную присягу, да разве вы не знаете, Бог карает человека еще на этом свете. Вспомните, как загубил свою грешную душу покойный Тодор Быченок. За фальшивую присягу он ослеп, а все его несчастные детки померли в один год. А Клим Томошонок? Подохли у него конь и корова, сам же уцелел только потому, что искренне покаялся народу в фальшивой клятве. Братья! Страшно это, страшно, страшно!..

Кончил батюшка, и тогда офицер добавил:

— Слышите, хлопцы! Тарас уверяет, что беглецов у него нет, что он их не укрывал и что с барщины сбежал просто так, неизвестно почему. Так вот, у него еще есть время признаться. А не захочет — пусть присягнет и ждет кары Господней!

Все посмотрели на Тараса.

На лбу у него выступили бисеринки пота. Глаза как опустил, так и не поднял. Молчал, будто онемел. Со связанными за спиной руками, он все больше слабел, все ниже наклонял голову и опускал плечи. Кто бы поверил, что за два часа так ослабеет дюжий мужик?..

— Развяжите его!

Понимая, что должен быть конец колебаниям, страшная, напряженная, отчаянная борьба охватила землепашца. Не знал он, что здесь грех и что не грех.

— Не присягай, брат! — шепнул ему десятский, развязывая руки.

Оборвалось у Тараса сердце, полетело вниз, вниз, словно земля разверзлась под ногами. «Признáюсь!» — промелькнуло в мыслях, решился.

В этот миг другой десятский пристально посмотрел ему в глаза и ничего не сказал.

И онемел Тарас. С туманом в глазах, подняв для присяги руку, подходил к столу, к черному сукну с лежащими на нем распятым металлическим Богом и святой книгой в блестящей твердой обложке. Неожиданно споткнулся и чуть не упал: развязалась обора на ноге, и он другой ногой наступил на ее конец.

— Скажу! — вдруг прошептал он губами, но опоздал: никто не услышал его, а седой батюшка затянул уже то, что полагалось. Присяга началась.

Сникла и покорилась душа Тараса.

Молча стоял темный, забитый народ. В открытое окно подувал теплый весенний ветерок, и воробушек чирикал на крыше. Солнце, как всегда, прогуливалось по облакам. Во дворе возились и хрюкали в соломе поросята, а возле них беспечно бродили куры.

III

Лучше поклониться да сбежать...

Так присягнул Тарас.

Вечером, когда все немного успокоилось, вернулись из лесу беглецы. Узнав обо всем, поклонились они в ноги Тарасу, но не решились посмотреть ему в глаза.

— Что ж, братцы, оставайтесь, — обратился к ним Тарас, с трудом ворочая непослушным языком, — живите у меня, потому что теперь все равно...

Ничего не сказали в ответ беглецы — ни старик, ни парень, ни средний. Молча собрали свои убогие манатки, нацепили на плечи котомки и темной ночью побрели по глухой пуще в белый свет. Порой им становилось жутко. Казалось, что в спину им неотрывно смотрят чьи-то глаза... И в глазах тех — Господняя кара за присягу. И убегали несчастные от еще более несчастливого...

Убегали, замороченные извечной темнотой, извечными суевериями, освободиться от которых у них еще не было силы…

ДВЕ СЕСТРЫ

Набродившись осенним вечером до половины десятого по темнеющим, слабо освещенным желтыми огнями мокрым тротуарам глухого уездного города и немного озябнув в тоскливой сырости опустевших улиц, шли гуськом по городу, выбирая, где суше — они двоем впереди, а он, немного задумавшись, следом за ними. Пролезли, как и каждый день, в дырку в заборе и вышли на свой переулок. Старшая, Агнеська, шла теперь впереди, на некотором расстоянии от них. Младшая, но вовсе не маленькая, Зоя, шла с ним рядом. Уже близко был дом, но она не вынимала свою ладошку из его руки, а только сгибала ему пальцы. «Старшей обидно», — подумал он. А вот и калитка, и скамеечка, где можно посидеть. Он отстранился от младшей и сказал:

— Панна Агния! Посидим немного… Еще рано, ей-богу.

— Ой, нет, поздно. Да и дома ждут, — не согласилась она.

А Зоя тут же поддержала:

— В самом деле, поздно, надо идти, — и откинула свою роскошную косу за спину.

Тогда он схватил Агнию за руки и стал уговаривать:

— Милая, дорогая, золотая, посидим…

Ее, согласную, вел за плененные руки к скамеечке и, поддерживая за талию, помог сесть.

Она радостно и в то же время робко глянула на него в темноте и, засмеявшись, села.

— Ха-ха-ха! — смех был звонкий и серебристый, но тому, кто слышит, было понятно, что горькое неверие в его искренность отнимает у нее всякую надежду.

— Ну хорошо, хорошо, — говорила Агния. — Давайте посидим.

Тогда он взял Зоину руку, стараясь и ее усадить.

— Я сама сяду, не надо… — она рванула руку и села поодаль, как бы безо всякого желания. Можно было сесть рядом с Агнией или посреди девушек, но он стоял и выгадывал, как бы оказаться возле младшей.

— Садитесь, господин Иван! — пригласила Агния, засмеявшись тем же самым смехом.

Он сел между ними и молчал. И все некоторое время молчали и смотрели прямо в осеннюю мглу.

— А я вам кое-что скажу, — вдруг наклонился к Зое и, наверное, шепнул что-то.

Громче говорите, Не слышу! — она медленно повернула голову к парню.

— Громче нельзя. А то панна Агния услышит, — вынужденно, якобы в шутку, ответил Иван и наклонился к самому уху, но что шептал — не разобрать.

— Что-о? Не слышу… — шутила Зоя, хорошо понимая, о чем он думает, но желая большего. И вдруг шепнула: «Быстрей говорите, она же не будет больше просто так сидеть, сейчас уйдем». И все-таки не подвинулась к нему ближе, только ухо навострила.

— Ну хорошо, хорошо, — сказала как можно спокойнее Агния, — говорите, что хотите, я не буду слушать, — и отодвинулась на край скамьи. Задумалась. А парень всем своим видом показывает, что в шутку поглядывает, будет ли Агния их подслушивать, и в это же время чуть-чуть приподнимал у Зои шапочку, немножко влажную от дождя или, может, от тумана, и всякий раз, когда она громко говорила «Не слышу», — все приближался и приближался своими губами к ее уху.

— Что-что?

А он тихо-тихо, будто дышал: «Агнеська раздумывает, почему я с вами, а не с ней, ведь вы моложе… Слышали?

— Ой, ничего я не слышала. Точнее, не все…

И снова, бросив взгляд на Агнию, не смотрит ли она на них, Иван шептал что-то уже у самого Зоиного лица.

— Ну нет, голубочки! Вы, видно, вовек не закончите. Пойдем, поздно уже.

Надо ее развеселить. Нехотя выпустил Зоины руки (сжала ему пальцы изо всей силы) и подвинулся к Агнессе, спиной к Зое.

— Одну секунду, и пойдем, хорошо? Ладно, панна Агнесочка? Милая, дорогая, золотая, ладно? — так шутил с ней и брал ее послушные руки, заглядывал в добрые глаза, синие, как небо, чистые, безгрешные, лучше Зоиных, земных. Из-за темноты не мог разглядеть, что теперь в этих глазах, но она и не отклоняла голову и готова была сидеть безо всяких грешных задумок.

Смеялась:

— Ха-ха-ха! Ну хорошо, хорошо, посидим еще немного. Только не истратьте, господин Иван, всех своих добрых слов, ха-ха!

Иван знал, что она очень хорошая, по-настоящему чистая и славная, но не замечал, что одновременно приходили мысли о Зоиных красивых губах — «сердечком» или «бантиком», как говорил Ахремов. Подмывало убежать к земной, но более любимой Зое.

— Не истрачу, только должен закончить то, что шептал.

— Однажды, господин Иван, вы сами сказали, что шептаться при людях не следует. А может, вы про меня говорили, ха-ха-ха! — уже с заметной грустью сказала Агния и положила на свои красивые колени руку, сняв с нее пуховую варежку.

А он был уже возле Зои. Придерживаясь шутливого тона, громко сказал:

— Вы не прислушивайтесь, панна Агния.

— А я и не слушаю, — стараясь быть веселой, ответила она.

— Может, хватит этого шушуканья? — как взрослая, сказала Зоя.

А он шептал ей лишь бы что, даже сам не понимал, и легонько, словно перышком, касался губами ее щек. Она уже отстранялась, щуря смешливо-настороженные глаза, пряча детское и вместе с тем женское любопытство. И все же спрашивала:

— Что? Что?

А он шептал: «Агнеська не понимает, почему не с ней, а с тобой», — и водил губами по щеке, чувствуя прохладную и нежную, как лепесток розы, девичью кожу.

— Разве я вам не сказала, что не хочу, чтобы вы говорили мне «ты»?

— Почему?

— А потому!

— Но почему же?

— Не хочу! — поддразнивала, кокетливо шутя. «Можно нечаянно при всех сказать «ты». Помолчала: — «Хотя я уже не маленькая, мне можно», — и засмеялась совсем по-взрослому.

Он слушал, что говорила Зоя, бросив, однако, взгляд на Агнию: задумчива, одинока, головка чуть повернута в их сторону. Красивая головка.

— Ну, пойдем, — твердо сказала Агния и встала со скамейки.

— Пойдем, — поднялись и они.

— Как поздно! — испуганно сказала Зоя.

— Зойка, что тебе господин Иван шептал? Обо мне что-нибудь? — спросила Агния, когда шли по двору.

— Господин Иван? Скажу… — смеялась Зоя.

— Только посмейте! — в шутку грозил он и зашептал Зое на ухо: «Только посмейте! А то… Завтра сбегу с вашей квартиры».

— Убегайте! Ха-ха-ха!

— А кто вам будет задачки решать? Кто вам многочлены разложит?

— Ха-ха-ха! Агничка это сделает!

— Кхе-кхе-кхе… — закашлялся он. — Зоя, нельзя так говорить.

— А вы почему мне говорили, если я маленькое дите? — с излишней развязностью засмеялась девушка… — Знаешь, Агнечка, господин Иван решил рассказать мне сказку про двух сестер. Только нехорошую моду взял: шепотом рассказывать. Старшая и младшая, говорит...

— А, знаю, знаю! — подхватила Агния. — Сестра сестру к мосту ведет: на берегу круто, а в омуте глубоко…

Все смеялись и с веселым гомоном входили в сени: первой шла Зоя, а следом сестра. В темноте — Агния не видела — Зоя подала Ивану руку и сказала: «Ну, доброй ночи!»

— Спокойной ночи, панна Агния! — пожал Иван ее послушные, жаждущие, маленькие ручки, чувствуя, какая грусть у нее в душе. А затем поймал крупную руку Зои, быстро потянул к себе, чтобы снова что-то шепнуть. Она вы-

рвалась, засмеялась, счастливая, что-то сказала и побежала на светлую полосу из своих открытых дверей. Потом двери за ними закрылись.

— Юных девушек заражаете своим тлетворным духом, любитель «бантиков», а? — такими словами встретил Ивана товарищ по квартире, Ахремов. — Похвалит старый Квазимодо (так они прозвали отца девушек) аккуратного квартиранта за то, что помогал дочкам раскладывать алгебраические многочлены… Тэкс! Ну, будьте здоровы! По причине сырой погоды стоит и выпить, братец…

— Ну вас к черту с этой гадостью! — содрогнулся и отклонил Иван протянутую рюмку ханжи.

«Что ему сказать? — раздумывал он. — Почему все так?.. Нет, хватит. Надо сменить квартиру, забыть обо всем, заняться выпиливанием ящичков из фанеры, ходить с Авгинкой в кинематограф и гулять с ней. Авгинка, по крайней мере, была на курсах иностранных языков в Петербурге…»

— Завтра же! — непонятно о чем сказал он товарищу.

— Завтра же зарекусь пить, говорил пьяница! — понял его Ахремов.

И оба чувствовали щемящую тоску на сердце от желания счастливых жизненных дорог.

Агния простудилась, и утром у нее болела голова; она капризничала и даже плакала. Зоя ушла в гимназию очень злая, а потом весь вечер штопала с матерью чулки в другой комнате. А то, наверно, поссорилась бы с сестрой.

НА ЭТАПЕ

Осенью 1915 года вместе с другими солдатами из разных запасных частей и госпиталей, я возвращался на фронт и шел пешком, от этапа к этапу, много верст глухими полесскими дорогами.

Вот подходили мы однажды, еще не поздним вечером, к захолустной, но довольно большой полесской деревне, где находился этап. Страшно утомились за дорогу и потихоньку брели среди скудной осенней природы.

Придорожные виды были одни и те же, обычные, характерные для Полесья виды: мглистая слякотная погода, кучка печального ольшаника по сторонам — то вдоль реки, то погуще возле ветхого поломанного моста... И так — вся дорога.

Только, может, немного чувствуется, что позиция придвинулась ближе к нам. Больше окопов, хотя и осыпавшихся, неаккуратных; больше проволочных заграждений, хотя и недоплетенных до конца, с кольями, то кое-как вбитыми, а чаще всего оставленными валяться в канаве.

Сумерки все сгущаются... Холодно... Сыплется какая-то крупка, белая, тверденькая, меленькая.

Наконец-то этап!

В деревне команду нашу, накормив ужином, развели по хатам: куда — семь, куда — пять, куда — сколько человек. Нас в хате было трое: с брюшком, черный, как сажа, армянин-подпрапорщик N-ского полка нашей дивизии, затем молодой и еще совсем наивный парень-артиллерист в обтрепанной возле сапог шинели, а третий — я.

Неприветливо встретила нас старая хозяйка, бабуля-кочерга, видно, злобная невероятно, но на удивление молчаливая. А может быть, в отношении ее я и ошибся, так как потом все мне увиделось по-иному... Семья у них была небольшая, тоже трое: мать, сын и его жена-молодица. Но вначале, когда мы пришли, в хате молча возилась у порога, сновала от печки к лавке только эта молчаливая и негостеприимная бабка в кожухе. На наши нарочито веселые солдатские приветствия (чтобы легче добиться ее расположения) она, кажется, ничего не ответила, только пробурчала недовольно, что им самим и то негде разместиться, что у них нет света, нет соломы на подстилку, бурчала и еще что-то. По всему было видно, что у старухи велико желание под любым предлогом спровадить нас из своей хаты. И правда, хата была совсем тесненькая и невзрачная. Но мы за день так измотались на промозглом холоде, на песчаных ямах и корчевьях, на обочинах грязной дороги, что будто и не слышали ее ворчания. Она наконец смирилась, замолчала и куда-то ушла.

Не успели мы разложить котомки и закурить, усевшись за столом, как дверь открылась и показался высокий, строй-

ный мужчина-полещук в своей народной одежде. Он смело и легко переступил порог и, обращаясь ко всем, произнес не лишенными гордыни, как мне показалось, тоном:

— Добрый вечер, земляки!

Армянин наш тем временем зажигал свечку, достав ее из своей котомки и прилепив на краешке столешницы, а молоденький артиллерист (родом он был с Волыни) сидел на лавке, находившейся ближе к полатям, и, подавшись вперед, вознамерился было поздороваться с вошедшим за руку... Хозяин же повернул направо и удобно расположился на полатях. Он вольготно и картинно поставил ногу на перекладину скамейки, достал из-за пояса кисет и начал, поглядывая в нашу сторону, закуривать.

Артиллерист как можно незаметнее принял прежнее положение, тотчас нагнулся и рукой, не принятой хозяином, стал заправлять ушки сапога в голенище, а подпрапорщик, как старший, громко и будто безотносительно к поведению хозяина, на ломаном русском с армянским акцентом произнес:

— Сразу видно — хозяин!

— Угадали, господин подпрапорщик! — спокойно, с достоинством отозвался полешук, высекая огонь, хотя по крайней мере из экономии мог прикурить у нас. Пустив дым от первой затяжки, он позволил себе более внимательно присмотреться, что мы за люди.

Я заметил, как колюче оттолкнулся его взгляд от сластолюбивых глаз армянина, как не то пренебрежительно, не то с какой-то потаенной жалостью скользнул он по обтрепанной шинельке артиллериста и пытливо, всего лишь на миг, задержался на мне.

Убирая свои курительные принадлежности в небольшой, еще новенький кисет, с любовью расшитый пестрым узором женской рукой, полешук уронил трут на пол. Мигом нагнулся, поднял, а затем выпрямился возле полатей во весь рост.

Был он высокий, стройный и представительный. Местная одежда полешука — светло-серая свитка, короткая, туго стянутая, как черкеска, в поясе — необычайно шла ему.

Хотелось как можно дольше любоваться им.

* * *

Спустя какое-то время возвратилась мать хозяина, а с нею пришла и его жена. Она была на поденщине у коменданта: вместе с другими молодицами и девчатами вязала камыш в пучки — крыть солдатскую столовую или что-то иное.

Жена хозяина, пока не сняла верхнюю одежду, выглядела, как обычная молодица-полешучка. Но когда семья села ужинать, а мы, ночлежники, смотрели на них издали, сидя с двух сторон на лавках, пуская дым и разговаривая, я лучше разглядел Прокседу — такое у нее было имя. Очень длинные и черные ресницы… Лицо — овальное, с тонкими, мягкими чертами, только чуть смуглое, как у всех местных женщин, однако красивые ресницы делали это лицо интересным и привлекательным. Хотелось, не отрывая глаз, смотреть, как она ужинала, как изредка вскидывала черные пушистые ресницы, когда клала ложку или откусывала хлеб. Наверно, она почувствовала, что мы смотрим на нее, а подпрапорщик в самом деле так и прилип к ней взглядом. Она слегка покраснела, взбудоражилась и оживилась. Хозяин смотрел в миску и звучным, слишком громким и размеренным голосом говорил о разных непорядках в жизни села, порожденных войной, о коменданте этапа, несправедливо определявшем солдат на постой. Артиллерист стеснялся смотреть на жену хозяина так, как подпрапорщик, однако и он вперился в красивую…

А мне было и приятно, что есть такие женщины в моем народе, но вместе с тем и совестно за товарищей, не имеющих должного уважения к местным жителям, так как были они нездешними, а на этапах привыкли к излишней бесцеремонности. И стало тревожно за хозяина: очень уж странным он порой казался. Чересчур повышенным тоном говорил. Одна только старуха, насупившись, сидела молча, была такой, как прежде, и не выказывала своих чувств.

Хозяин разговорился, даже болтливым стал не в меру. Успел нам похвалиться, что он тоже солдат, но получил чистую отставку, так как у него ключица перебита. «Кто бы мог подумать?» — посмотрел я на него. А хозяин продолжал: у него четыре Георгиевских креста, он полный Георгиевский

кавалер (это было для нас еще большей неожиданностью), жаловался на непорядки и кривду: ведь ему назначили пенсию всего лишь второго разряда, а работоспособность он совершенно утратил. И я даже подумал: «Неужто так?» С этих жалоб он перевел разговор на «прохиндеев-городовых», которых не берут на фронт, на мародеров-обозников, которые тоже «зажирели» в тылу, и на разное тыловое начальство, которое притесняло его семью, когда он был на войне. Жаловался, что его жену и мать гоняли на работы, бывало, что и с конем, а также изводили солдатскими постоями...

«А в то же время у соседушки нашего, князя Друцкого-Любецкого, имеющего несколько тысяч десятин, ни людей его на работы не брали, ни его коней с повозками не уводили», — со злобой и возмущением перечислил он свои крестьянские обиды.

И в такой момент я с радостным изумлением смотрел на него во все глаза. Уж очень любо было его слушать.

* * *

Они поужинали и готовились ко сну: молодица стлала постели, а старуха наводила порядок в печке и возле печки. Меня интересовало, будет ли хозяин молиться на ночь.

И что вы думаете — он не молился! То, что крестьянин ложился спать, не помолившись, — это для меня был редкий случай.

Так вот, когда мы вдвоем, я и артиллерист, уже лежали на соломе посреди хаты, укрывшись шинелями, а подпрапорщик растянулся на лавке, покуривая и жмуря, как кот, глаза на босую Прокседу, — хозяин заговорил чересчур нервозно.

Я не уловил, с чего он прицепился к моральному уровню современного мира, но невольно обратил внимание на его возбужденный голос, когда он сказал:

— Распутство теперь такое, какое предсказали пророки на конец света. И в давнюю пору было то же самое: каждая солдатка жила в распутстве. Но наши белороски, — сказал он, — как-то более осторожны, более сдержанны. Однако теперь, когда фронт сюда придвинулся, и у нас то же самое...

Меня заинтересовало, что и он отличает себя по национальности, хотя и говорит белоросский, а не белорусский. Однако пророки и конец света не вязались с тем мнением, какое у меня уже складывалось о нем.

Прокседа молчала, и мать молчала. Они, когда он говорил о распутстве, как бы притихли, сникли, стали и вовсе бесшумно копошиться — одна с подушкой в руках возле полатей, другая с хворостом у печки.

Хозяин сидел на полатях, медленно разувался, занятый своими беспокойными раздумьями, и говорил, как мне показалось, с нарочитой убедительностью, будто заранее знал, что ему не поверят. И убежденность эта была нездоровая: выставляла его в глазах людей хуже, чем он был...

— Как раз на Крещение в 1914 году, — вдруг начал он рассказывать что-то новое, — поздно вечером, часов в двенадцать ночи, на шумной — известное дело, рождественской — улице вдруг стало мертвенно тихо. Я со сватом только что вернулся домой. Что такое? Вышли из хаты — све-е-тлым-светло, светлее, чем днем. Испугались мы, выбежали со двора на улицу. И видим: на небе с востока на запад в белом-белом лучистом сиянии, но как в тумане, идут, идут, идут... У кого в руке сабля, у кого ружье или какое иное оружие, пулемет на колесиках тянут... И надпись там, где прошли, огромными красными, аж пылают, цифрами — 1914, 1915, 1916... Появятся цифры и померкнут постепенно, появятся и померкнут... Не успел я хорошо всмотреться, как вдруг все — шух! Полыхнуло, и снова темень...

Когда он кончил рассказывать, все в хате молчали, и в темноте (ведь свет уже погасили) только папироса у подпрапорщика изредка вспыхивала красным огоньком. Все молчали, даже не по себе было. И я думал: зачем он этот огород городил? Ведь не просто же так, а с какой-то целью? Но с какой? Хочет страхом отвратить от распутства, оберечь свою жену? Не верит же он сам в свою байку... «А может, когда-то поучившись немного в церковно-приходской школе, ты контужен и городишь теперь огород по слабости ума?» — хотелось мне спросить у него, но деликатность не позволяла. Сосед мой, артиллерист, вздохнул (то ли зевнул) и тихо, совершенно неожиданно для меня затрясся мелкой дрожью — обычно так бывает с нервными или крайне измотанными людьми.

— Довольно-таки сказывать бабушкины сказки, дюша мой! — сказал подпрапорщик, шумно повернулся к стене, закряхтел, засопел…

Я ждал, что на это скажет хозяин. Долго ждал, но он молчал. Я тоже не решился нарушать тишину, и вся хата уснула — в темноте, под свист осеннего ветра за стенами и в трубе.

* * *

Утром, когда еще не рассвело, мы вышли из хаты и тотчас же двинулись в дорогу, направляясь на сборный пункт. Так что я не успел ни присмотреться к хозяину при дневном свете, ни пристать к нему с расспросами. Только мельком, идя улицей мимо навеса, я увидел, что там, под навесом, этот странный полешук приглушенным голосом, распаляясь, совершенно не такой, каким представлялся мне вначале, допекал возле льномялки свою молодую жену за какую-то оплошность в работе, а может, за что-то другое…

И теперь, слыша его раздраженный голос, я подумал, что человек этот страшно ревнив к своей жене и, возможно, терзается из-за каких-то ее проступков в тот период, когда он находился на фронте, а в хате у них ночевали такие же проходящие солдаты, как и мы.

АМЕРИКАНЕЦ

Богатый фермер штата Иллинойс, Максим Балазевич, ехал на дилижансе из города домой, на ферму.

Уже начинало смеркаться, когда дилижанс подъехал к боковой дорожке, которая шла от шоссе к ферме. Балазевич, красный и возбужденный от разговора со спутниками, проехал бы мимо, если бы батрак Язеп, ожидавший его возле шоссе, стоя с дрожками под старым деревом, не подбежал и не крикнул:

— Пане Балазевич, стойте!

Кучер придержал лошадей. Передняя пара стучала копытами и лязгала сбруей, нетерпеливо дергая вожжи; задняя была спокойнее, и огромная, на больших колесах, с открытыми окнами, карета остановилась. Помощник кучера откинул ступеньки и полез по узенькой лесенке на крышу отвязывать свертки.

Приятной вечерней прохладой тянуло от красивых придорожных аллей и с картофельного поля на мощеную, ровную, словно ток, высокую дорогу. Легче вздохнули путешественники, только пан Максим почти не замечал, что уже вечер, что стало прохладнее; ему было душно.

Едва видя людей и не понимая отчетливо, что делает сам, он уже несколько раз попрощался с ними, однако все еще продолжал говорить, не заботясь даже о том, что, будучи в возбуждении, плохо говорит по-английски.

— Нет, мистер Круке, — доказывал он, — это только наша привычка и бессилие стать выше нее… Раз я американский гражданин, я не должен и не имею права смотреть на Америку, как на некий этап на пути поисков лучшей доли для моей первой родины.

А мистер Круке в сотый раз прикуривал сигару, бросая взгляды на надменную полную даму с колышущимся пером на шляпке и с крохотной собачкой на коленях и на бритого седого господина с длинными польскими усами.

— Я же не говорю, — сопел он, — что Америка — это только моя возможность богатеть и работать на лучшее будущее моей прежней родины, однако имею полное право сочувствовать людям, среди которых жил мой дед и чья кровь течет во мне. И это притом, что я американец.

— Да, мой пане, да, — поддерживал его господин с польскими усами, — ну а если я оставил родину только ради того, чтобы найти способы возродить ее, то что, я не могу сочувствовать ей?

— Нет, не то, не то, — спохватился Балазевич, — я не о том спорю, и я, может, думаю о лучшей доле для своей первой родины, и, может… И, может, иной раз думаю назад… Туда, на родину, вернуться, но принципиально — что это, что это? Разве это не привычка обыкновенной несознательности думать, что вот с тем клочком земного шара связан навеки, что должен заботиться о нем? Почему? Из-за привычки и вос-

поминаний, которые уже навсегда останутся во мне. И из-за того, что мы, что я — человек обыкновенный, слабый, и не могу избавиться от этих воспоминаний, совсем оторваться, совсем забыть, если должен был покинуть тот клочок земли, должен был эмигрировать. Но если бы был человек более развитым, то сумел бы прислушаться к разуму и все забыть и не мучиться из-за своего глупого, чувствительного сердца...

Он попрощался уже третий раз; уже кучер приготовился ехать, а Язеп, привязав багаж на дрожках, удивлялся тому, что пан так разошелся. Даже полная дама, теряя терпение, через силу молчала, а Максим все еще старался убедить их:

— И вот дети, дети, которые растут и воспитываются здесь. Если бы я не говорил им о той родине, разве бы они знали, что кроме Америки есть еще о н а , и что о ней следует заботиться?

Карета загремела по булыжной мостовой. Зацокали кони подковами по камням. Помощник кучера весело помахал шляпой сошедшему пассажиру. И только тогда Балазевич увидел свои дрожки, Язепа и что наступил вечер.

Ехали молча. Спросил только у Язепа, все ли в его отсутствие было благополучно на ферме и здоровы ли дети, и снова молчал, чувствуя, что возбуждение проходит, немного болит голова и возникает недовольство собой: зачем говорил?

Земляной ржаной запах с поля обволакивал ездоков. Большие стога напоили воздух ароматом сена. Гряды картошки и свеклы без конца мелькали среди притихших на ночь деревьев. Но не радовалась хозяйская душа.

«К чему, зачем? — думал он не то об этом богатстве вокруг, не то о том, из-за чего спорил, — как ни спорь, а каждый живет, как живется».

И был уверен, что никто не собьет его с мысли о том, что надо быть великим, чтобы со всем порвать.

Жил он в Америке двадцатый год. Приехал он сюда еще парнем вместе с Эльзой, дочерью лесопильщика-немца, к ее дядьке — американскому фермеру. Как быстро пробежали годы! Женился на Эльзе, деток нарожал, богатства нажил, управляет всей фермой. Жизнь в Минщине, дома у отца, и потом на немецкой лесопилке у Шульца, в панском лесу, —

все это казалось теперь далеким сном. Некому было писать письма, не от кого получать их. Шульц из Евни выехал в Пруссию, родители умерли. Как быстро пробежали годы!

Недалеко от фермы его встречала жена. Закутавшись в теплый пуховый платок, стояла на аллее и вглядывалась в дорогу.

Дрожки остановились. Балазевич сошел. Жена подбежала и обняла.

— Миленький! Я вышла встречать, — и припала к губам.

— Спасибо, Эльзочка, — ласково пригладил ее белокурые волосы, которые непокорными завитками выбились изпод платка, и подумал: «А она все такая же мечтательница тихая, как и в первые здесь, на чужбине, молодые годы», — и, почувствовав невыразимую нежность к ней, деликатно обнял ее за плечи и повел на крыльцо.

— Макся! Левочка и Галинка уснули, но ждали, ждали папу...

В ответ он поцеловал ее в круглые, голубые, будто налитые слезами и немного навыкате глаза, так не похожие на глаза деревенских девчат и так приворожившие его там, на Минщине.

Старый хозяин, бездетный дядька Эльзы, еще ходил по двору, сгорбившись так, что дым трубки касался палочки, и приветливо встретил их. Спокойно поздоровался с ним Максим и вынул из кармана последний номер «Der Tag».

— Хорошо съездил, Макс? — спросил старик, пряча любимую газету.

— Все хорошо, — ответил и подумал: «На душе не слишком хорошо».

Прошел в комнату и начал раздеваться и умываться. Позвал со двора Язепа и дал новенькую польскую книжку, а себе на ночной столик в спальне положил «Об отчизне и национализме» и заранее убеждал себя, что ничего нового там для себя не найдет.

За ужином, когда сели за стол, старик важно раскрыл газету рядом с тарелкой, и было видно, что ему хочется поговорить с племянником об общемировых делах.

Обычно говорили по-английски, но Эльза, когда они оставались вдвоем, говорила с мужем по-белорусски, как бы

показывая этим, что ее душа близка к его душе. Она выросла на лесопилке в Евне и тут, на американской ферме, часто скучала и даже горевала по той стороне, а может, по своей молодости.

— Максинька, — порой говорила она, — Бог с ним, с этим богатством и с этой свободой: поедем назад, в Минщину.

— Что ты там потеряла? — спрашивал он.

— Макся! Ну я же там выросла, тебя там полюбила.

— Родилась ты в Пруссии, жила в Беларуси, вот и в Америке живешь.

— Макся! Но это же твоя отчизна.

Он не хотел спорить. Говорил: «Подожди. Старик и слушать не захочет. Его ферма дороже моей и своей родины».

Теперь за столом старик, хлебнув несколько ложек, хлопнул, как бы нечаянно, по газете и завел свой любимый разговор о притягательности фатерлянда и о том, что это самый лучший край среди всех империй и стран.

— Я и славян люблю, — сказал он напоследок, — я и славян люблю, потому что парнем жил в Польше и в Литве и знаю их. Но надо сказать правду: мягкий народ; очень мягкосердечный народ; слишком много думает обо всем мире, о небе и не берется за улучшение своей земли... Да.

Максим посчитал лишним показывать старику, что не соглашается с ним. «Тупой ты, как чурбан, — думал он, склонившись над тарелкой, — самоуверенный немец. Разве же ты можешь все объять и понять...»

А старик продолжал:

— В человеке должны быть две равные части: твердая и мягкая. У немцев как раз эти половинки равны. У других народов — по-разному. А у славянина мягкая часть излишне большая за счет твердой, слишком большая.

— Э! Части... — не выдержал Максим, — у человека две части: душа и тело. У славянина душа больше тела, и только. А пропитание... Когда-нибудь и они станут жить практически, как немцы.

— Нет, пане. Немец в Америке живет, а душой он — в фатерлянде, на родине, а славянин... — старик махнул рукой, — тому все равно.

— А славянин ближе к великому человеку, который должен найти силы, чтобы порвать старую связь, базирующую-

ся на инстинктах, на привычке, и вредную вообще-то даже для родины, вот!

— Ха, пане Максим! Я согласен, что у того есть немного возвышенного духа, кто смог из белорусских лаптей и темноты выбиться в американские зажиточные фермеры и получить образование. Однако же славянин живет чувством и только печалится о родине, вместо практичной немецкой заботы. И его разговор о великом человеке означает только то, что тоска по родине начинает переполнять берега и тотчас же погонит его из Америки... Ха! Разве нет?

Лицо Максима наливалось кровью. Эльза видела, что старик любит его, но, не надеясь на славянскую натуру, заранее закрывала ему тыл, чтобы не убежал, и боялась, чтобы не очень больно было мужу, поэтому начинала переводить беседу на иные темы.

Сегодня, когда Максим уже в спальне целовал сонных детишек, она крепко обняла его за шею и начала:

— Максинька, дорогой, золотой мой! Мы поедем в Беларусь, поедем. Пусть старик спокойно доживет свой век — поедем. Лесопилку построим и хотя бы небольшой фольварчик в посессию* возьмем. Я тут томлюсь... А там мы... Там я научу деревенских девчат городские юбки носить, шить, научу красивые прически делать. А в праздничный день — гармонь, танцы, хоровод. Макся, миленький мой! Прошу тебя, поедем. Я не осуждаю тебя за твои разговоры. Я знаю, почему ты думаешь о великом человеке. Я сочувствую тебе... Только жизнь как-то не благоприятствует этому.

— Эльтя, дорогая! И ты, многого не зная, зеркально точно выказываешь влияние дядькиной исключительности, — недовольно говорил Максим, — ты говоришь без уважительности ко мне. Неужели ты думаешь обо мне так же, как дядька? Ошибаетесь вы, оба. Я знаю, что делаю, — он даже немного разозлился, — я сумею сбросить всяческие цепи, быть свободным, хотя бы эти цепи были — душераздирающие зовы родины. Человек придумал много цепей и пут! Долг перед родиной, ха... Я прежде всего хочу внутренне быть свободен от всяких условных пут. Я смогу покончить с ними.

* Посессия *(лат.)* — земельное арендное владение.

— Слышишь, Эльза! — уже строго сказал он, — завтра же запретить Язепу и Монте говорить с Левой и Галей по-белорусски. У них должна быть одна забота — хорошо учиться по-английски. Я американец, и они — американские дети.

— Макся!

— Спать хочу.

Утомившись в дороге, пан Балазевич быстро уснул.

«...Вечер. Темно. Он вернулся с поля. Сидит в хате на чурбачке и разувается. Обувь мокрая. Тело ноет, просит отдыха.

— Одарка! — говорит он Эльзе, с трудом узнавая ее в растоптанных лаптях, в темной от пыли и пота рубашке и замызганной, несуразной юбке, — Одарка, посуши мою обувь.

В хате чавкает мешанину огромный кабан йоркшир*... Рыло у него длинное и острое, на загривке дыбится щетина. Какой там йоркшир! Просто нашенская свинья, которую американцы называют свиньей-крокодилом.

— Максим! — говорит Одарка мужу хриплым, простуженным голосом, — неужто ты ослеп, хоть бы какой-нибудь осиновый чурбан из лесу привез, корыто выдолбил бы; глянь — все жидкое вытекает из старого, когда эти свиньи, волки б их съели, все с ногами и с ногами в еду прут.

Вытащила Одарка горшки из печи и котел с водой. Стала в крупеню** воду подливать. Пар заполнил всю убогую хату. Дети — Левка в заплатанных холщевых штанишках на тесемке, с цыпками на ногах и Галя, замурзанная, худенькая, в рубашонке, заскорузлой сзади, — лезут к горшкам. Просят у матери в суп молочка подлить.

— Дай им, — говорит спокойно, по доброму Максим.

— Еще чего! — надрывает сердце Одарка своим криком. — Съедят и так.

Он поехал в панский лес за дровами. Нарубил. Везет. Конь покрылся тонким слоем инея. — Но, но! — помогает коню протащить воз в воротах, где трудно проехать. — Вот отец приехал, — слышен голос Одарки. — Папа, папа! — кричат дети, прыгая по скамейке от печки до окна. А на скамейке навалено что ни попадя: шапка, жупан, миска с

* Йоркшир — порода свиней.
** Крупеня — суп с перловой крупой.

ложками, всякое тряпье. Отшатнулась от крюка в стене Галинка, переступая кривыми ножками через жупан на скамейке.

— Ой!! — крикнул Максим: пошатнулась девочка и полетела с миской, с черепками, с жупаном на пол. — Максим! Галина убилась… — снова рвет сердце Одарка своим простуженным, истошным криком…»

— Макся! Максинька! Проснись. Чего ты кричишь во сне? — тревожно гладит его Эльза пухлой рукой по горячей щеке. И он просыпается в испуге, с мокрым лбом и сильно бьющимся сердцем.

— Ух! — тяжко, но уже с облегчением вздыхает он, ловит мягкую руку Эльзы и прижимает к своим горячим губам. И тянет Эльзу, дорогую и участливую, к себе, к груди.

— Макся! Ты видел плохой сон? — спрашивает она, лежа на его груди и целуя мокрые волосы на лбу.

— Эльзочка, дорогая! Женушка моя любимая, — говорит он и вдруг ярко и четко вспоминает тот сон, — цветочек мой, Эльзинька…

И она чувствовала, как дрожат его руки и что ему становится холодно. Легла с ним рядом, обняла его, прижалась к нему, положила его руку себе под голову. Гладила его лицо нежно и ласково и шептала:

— Макся мой, голубчик мой! Зачем нам быть гордыми и великими? Будем, какими получится. Поедем в Минщину, арендуем имение. Леву и Галю будем учить. Будем работать. Ты научишь парней лучше вести хозяйство, уметь носить пиджаки и галстуки по-американски. Я научу девчонок шить платья на европейский лад, вплетать ленты в косы и завязывать красивые банты. По праздничным дням будем ходить в церковь. Потом пойдем туда, где танцы, музыка, гулянка… Построим кирпичный дом и паровую мельницу. Жить будем!

Спокойно задышал Максим.

— Слышишь, дорогой мой Максинька, Максичка золотой?

Он понимал, что не имел и не имеет какого-то твердого убеждения и скорбно затихал под слова ласки и любви.

ГАБРИЭЛЕВЫ АЛЛЕИ

Брату Гурику посвящаю

Уже дней пять стоит плохая погода.

Тяжелые седовато-черные тучи нависли над землей, укрыли горы, слились с мокрым лесом и то тут, то там мутнеют, приобретают палевую окраску и сеют мельчайшую водяную пыль.

Временами налетит откуда-то более сильный ветер, разорвет мутную дерюгу туч и пустит по небу клочья облаков. Дождевой туман курится далеко-далеко, на краю небосклона, а вокруг уже посветлело; убегая к горам, прошумел последний дождик по ветвям, листья зашелестели, утихли — и показались более низкие горы, зеленые там, где лес, и серые, скалистые, где нет леса; вся в быстро летящих дымных облачках макушка горы-богатыря Бештау понемногу избавляется от них, раскрывается.

Неподалеку от солнца уже появилась синяя полянка чистого неба, отороченная прозрачными, белыми краями рваных туч.

Шумят клены. Стройные ели рассеянно и невозмутимо едва шевелят зелеными лапами.

И опять темнеют дали, синеют и затягиваются туманом горы: опять собираются дымчато-седые громады, закрывая небо; опять становятся палевыми — и посыплются, как сквозь сито, мельчайшие, почти невидимые капельки.

Такая погода в конце курортного сезона все неусыпнее клонит мысли к картинам родного края.

Грустно мне. Болен я...

Настало великое время, и большого труда ждет страна.

Мало я жил, мало сделал. Больной, копаюсь в прошлом, подвожу убогие итоги. Не знаю, куда поведут меня мои жизненные пути...

И вспомнилось вдруг: покойный старик Габриэль и его аллеи у большака...

Прах Габриэля, наверно, смешался с песком, а могильный холмик сравнялся с землей. Пройдет еще несколько де-

сятилетий, и ни один странник не спросит, почему красивые аллеи у N-ского большака называются Габриэлевыми, какой это неведомый Габриэль дал им свое имя.

Был он грешник, баламут, пьяница, картежник и гуляка. Уже сызмала отравлял жизнь своей тихой доброй матери и гордому, своенравному отцу. Учился и недоучился. Хотел продать душу черту, но черт не пришел за ней, вот и перестал верить Богу и ксендзу. Загубил славную двоюродную сестру: отправилась в белый свет, в неизвестность и, говорят, ушла там в монашки. Хотел покончить жизнь самоубийством, но доктора спасли его. Женившись на дочери неизвестно откуда приехавшего однодворца-старовера, поуспокоился и занялся общественными делами: поссорился с начальством, панами и духовенством, нагнал страху на торговцев, а крестьян задергал, гоняя по разным «присутствиям», доискиваясь правды, и кончил тем, что стал страшно пить...

Проезжий торговец — перекупщик, смоленский ризник (а по-местному тряпичник), скупщик леса, приблудный босяк, панский лесник и светский молодой барин — все, кому не лень, пили с чудаковатым Габриэлем. Он отек, без времени состарился, облысел. С женой и детьми — а дети ведь подрастали — редко по-человечески говорил даже в трезвом виде и уж совсем не давал им покоя своими придирками, когда здорово напивался. Потом парни-шахтеры на станции научили его, старика, играть в карты, и для домашних настал сущий ад: голод и всякие нехватки, а порой, как возмездие за его проделки — му́ки из-за его неуживчивости, раздражительности и просто болезни. Приближалась старость, и Габриэль мало-помалу совсем сникал... И посадка берез вдоль большака уже теряла для него прежний смысл, переходя в заурядную привычку старого чудака...

И вот Габриэля уже давным-давно нет; совсем обеднев, выкормил быка на продажу и повел его на веревке на ярмарку — бык убил его в пути. И жену его, страдалицу Габриэлиху, «сталоверку»* давно похоронили. Участок земли и хата под соломенной крышей, поросшей зеленым мхом, отошли сначала к N-скому ксендзу, бывшему опекуну двоих Габриэлевых сыновей (которые теперь скитаются где-то по свету),

---

* Староверка.

а потом попали в практичные и даже очень практичные руки Исаака Скоробогатого из N. Новый хозяин и теперь живет в этой хате, не ремонтируя ее. Не собирается Исаак Скоробогатый приводить в порядок и запущенные могилы, так как это не входит в условия договора, заключенного с паном ксендзом и подставным лицом со стороны Скоробогатого. Не приезжают сыновья, служилые люди, с чужбины, и только грустно шумят березовые аллеи — поют вечную память посадившему их покойному Габриэлю.

* * *

В детские годы болел маленький Габрусик какой-то тяжелой хворью. После улучшения в ходе болезни однажды солнечным утром мальчик поднял опухшие веки и взгляд его упал вниз, на пол, на заскорузлую тряпку. Нянька сушила ее и бросила, поспешив к его маленькому братику. И грязную тряпицу осветил первый золотой луч солнца. Габрусик задремал в тяжелой болезненной лихорадке, и ему приснилось что-то странное. Это не был сон в обычном понимании, ибо, думается, ни одно чувство ни порознь, ни вместе здесь не присутствовало, а было какое-то особенное ощущение своего «я», своей души, всего тела. Видел сон… Нет, не видел, а всем существом ощущал нечто огромное, массивное и вместе с тем заскорузлое, с острыми, колкими, твердыми, как камень, краями. И оно составляло весь мир. А он был частью этого «нечто»… Оно было во всем его теле. И вокруг во всяком существе. Его охватил жуткий страх, потому что он ощущал в себе эту заскорузлую, черно-блестящую громадину. И вот, с невыразимой сладостностью, в мгновения короткие и в то же время вечные, почувствовал он, как из нее, бесформенной и безобразной, неожиданно создаются прямые, стройные линии, гладко оструганные стены, что-то музыкальное, гармоничное, красивое и необычайно приятное. Но нет… Не в линиях, не в гладких стенах и формах содержалась эта гармония, не глазами виделась, не на ощупь она воспринималась, а всем его естеством, необъяснимым чутьем разума и тела. Мгновения короткие и нетленные… И вдруг исчезает гармония, опять ужасает заскорузлое, черное и огромное, вселенское. Но приятная сладость разливается по всему телу, когда заскорузлое на миг принимает

желанную стройность... И наконец, исчезла черная громадина; рассыпалась миллионами искринок в бездне, — и, испуганный и радостный, чувствуя, как сильно бьется сердце, он проснулся, возвратился к реальности...

* * *

Аллеи свои Габриэль стал сажать после небольшого приключения.

Шел он однажды весенней ночью по большаку и неожиданно наткнулся на неимущего крестьянина у спиленной им березы. На следующий день он вместе с этим бедным человеком обсадил березками из своего березника большой участок старого большака, где от прежних посадок давным-давно ничего не осталось...

А потом сажал один, ежегодно...

— Ведь все равно засохнут березки. Коровы обглодают, — сказал ему проезжий человек, тихонько посмеиваясь и вежливо, но с опаской обращаясь к озорному Габриэлю.

— Это старые люди, умудренные опытом, или богатыри так считают, — добавил он.

— И мы засохнем. И нас черви обглодают, — неприязненно, хмуря брови, ответил ему старый человек.

Проезжий что-то пробормотал и поспешил ловчее хлестнуть свою брюхатую кобылу.

Много деревцев засыхало. Злоумышленники ломали их. Пьяные мужики, возвращаясь с ярмарки, выворачивали с корнем телегами, — Габриэль сажал снова.

Шло время — и они выросли. Под самым N редко-редко стоят еще старые екатериненские березы, и зимой большак уже ограждают еловыми лапами. Нынешние бедняки извели красоту на свои нужды. А Габриэлевы березы выросли, тесно-тесно сплели вверху свои ветви; ранней весной радуют глаз человека, жарким летом путникам и старцам дают приятную прохладу — и шумят-поют извечную песню... А зимой, как заколдованные, белые, озябшие, в сверкающее серебро убранные, указывают дорогу к дому заморенному конику: пусть увозит пьяного хозяина от лютой смерти.

* * *

Осень. Опустел старый парк. Уныло шуршат листья на аллеях. Желтые, сухие, тоскливо и безнадежно летят они, куда ветер подует. Собираются серые тучи. Грустным становится ветер.

И в тон печальной осени задрожало и зашевелилось что-то опавшими листьями в глубоких тайниках души.

Мыслями лечу в край родной, к аллеям тем.

За тысячи километров вижу их...

Осыпалась пожухлая листва, давным-давно улетели на юг последние журавли, осенний ветер качает в аллеях ветви берез.

Тихо и глухо.

Разве только голодная ворона каркнет там порой. Или несчастный бедняк протащится на разбитой телеге, на худой кляче по промерзшим колеям или глубокой грязи, держа за пазухой бумагу от начальства об убитом на войне сыне. Оголенные осенью березы лишний раз подсмотрят тогда сокрытые человеческие слезы.

Много видели аллеи на своем веку, а больше всего во вьюжное последнее время. И все безмолвно принимают в свои тайники и будут хранить до тех пор, пока не придет песнопевец, не расспросит у них обо всем и не сложит песню.

А может, в темную осеннюю ночь придет горемыка, растерявший все лучшее свое, и так же, как жизнь подрубила под корень его радости и надежды, так и он срубит ту березку у большака, уничтожит частицу вечных раздумий и красоты.

Аллеи, аллеи жизни моей! Где вы?

ПАНСКАЯ СУКА

I

Ну кто заменит им Леди? Никто!..

— Ах, этакое несчастье, этакое несчастье, пане мой! — говорил князь Вишневецкий графу Пшездецкому и, изнервничавшийся, ходил по кабинету.

— О да, да, дорогой пане! — согласно поддакивал гость. — Я слышал, что князь отдал за свою Леди колоссальную сумму?

— Нет, пане мой! Не слишком уж и дорого. За мою несчастную Лединьку я отдал Любомирскому несколько душ крепостных. В выселках жили, на неудобьях, вклинившись в загоны Любомирского. Ну, несколько семей перегнали сюда, поближе, а остальных, с участочками болота, я уступил соседу за Леди. Да не в цене дело, пане мой. Нет, не в цене! Это же такая для меня утрата...

— О да, да, дорогой пане!

— Пусть оживят мою Леди, и я отдам за это вдвое, втрое больше — сколько хотите! — семей. Однако ж она мертва... Скончалась моя голубка на рассвете, в половине седьмого, пане мой. Никакая ветеринария тут не помогла. Доктор сначала обнадежил, сказав, что Лединька, наверное, поправится, и я по глупости отпустил его домой, не дождавшись улучшения. Мой собственный ветеринар... Но нет! Не могу я, не могу спокойно говорить о нем...

И князь хлопнул в ладоши...

Неслышно открылась дверь в кабинет, неслышно, как привидение, предстал перед князем камердинер с седыми бакенбардами и в расшитой золотом фамильной княжеской ливрее.

— Хлоп* слушает ясновельможного пана.

— Скажи комиссару, пану Михалу, что ветеринара Гудько отдаем в солдаты за неспособность к предназначенной ему работе. Отправить завтра утром.

* Хлоп *(польск.)* — холоп, крепостной слуга.

Граф Пшездецкий, казалось, хотел что-то сказать, но, как нарочно, допивая вино, поперхнулся и закашлялся, а камердинер в этот момент вышел.

— Леди! Леди! — князь забегал из угла в угол. — Видишь ли, пане мой, родилась она в Англии, и ее родословная не хуже, чем у какого-нибудь литовского шляхтича из мелкопоместных. О! Привез ее отец Любомирского, покойный пан Ксаверий, пухом ему земля. А какой это был знаток и ценитель! Сынок теперь усердно округляет владения, но двух слов связать не может, а в собачьих делах молокосос. И вот я добыл у него Леди. Появилась она в моем доме. Пане! Я ведь дрожал над ней, я ведь лелеял ее… Всегда спала она, голубка, у моих ног. И зачем мне понадобилось сводить ее с Сангушковым кобелем? Скажите, пане мой, зачем? Разве ж такие нежные создания Господа Бога предназначены для материнства? Вот она все время у меня перед глазами. Помните ее? Какая пластика, а? Какая красота и совершенство породы! Какая одухотворенность, какая выразительность каждого мускула, каждой жилки! А стойка! И как она меня любила! И, пане мой, скажу без всякого преувеличения: разве во всей Польше и Литве была когда-либо лучшая собака? Ай, Леди, Леди!.. На той знаменитой большой охоте у Понятовского, в которой участвовал король Пруссии со своей прославленной собакой, моя Леди была первой среди всех панских и королевских собак…

— О да, да, мой дорогой пане! Такие собаки, как Леди, рождаются не слишком часто, как гении и таланты среди людей, — говорил Пшездецкий. — Но осмелюсь спросить: щеночки… Они-то остались живы, уберег их Господь Бог?

— Да.

— И слава Богу! Мне кажется, в горе дорогой князь должен быть утешен надеждой на щенков. Уповаю на то, что это ведь детки славной Леди. Да и кобель Сангушки, я знаю, хороший кобель. Годик или полтора — и у дорогого князя будет несколько отличных Леди.

— Да, да… Остались слепые, немощные, сдохнут ведь.

— Помилуйте, мой дорогой князь! При хорошем и внимательном уходе, при надлежащей заботе не могут они подохнуть — выживут.

— Вряд ли, пане мой! Они, видишь ли, даже лакать не смогут, им нужно сосать.

— Резонно, резонно, мой дорогой князь. Однако ж я знаю несколько случаев, когда зверюшки, оставшиеся в таком положении, вырастали.

— Ну кто им заменит Леди? Никто!..

— Да, дело непростое, но подумаем…

Граф взял железную палку и стал разбивать угли в камине. Красные блики падали на его большую и могучую фигуру. Длинные усы горделиво свисали по бокам брезгливо, по-барски выпяченных губ.

— Мне пришла хорошая мысль, мой дорогой князь, — сказал Пшездецкий, повернув в сторону хозяина, — сегодня на охоте старый лесник рассказал мне интересный случай. Может, байка, а может быть, нет. Задержалась однажды в поле мужичка с ребенком. Медведь поймал ее и с дитем приволок в свою берлогу. Был вдовцом — медведица его сдохла, оставив детей, — так он бабу притащил вместо хозяйки. Баба выкормила медвежат вместе со своим ребенком. А медведь, как рыцарь, заботился обо всей семейке, приносил мед, хлеб и все, что удавалось стащить в поле у мужиков, в ульях у пчеловодов и где попало. Когда медвежата подросли, их добросердечный отец отпустил мать с ребенком на волю, даже поднес, говорят, ее сына к тому же самому полю.

— Из этого следует?..

— Из этого следует, мой дорогой князь, что добродетельная мужичка найдется и для сироток Леди!

— Неплохая мысль! Только помехой мне будет то, что наши хлопы еще очень темные, глупые… Баба, наверно, не поймет, что морального унижения для нее тут нет, если речь идет о спасении сироток… Но я, пане мой, хоть это, может, и смешно, не хочу связывать такие, те… Такие бабские чувства с воспоминаниями о моей Леди. Нет, не хочу!

— Ну-ну-ну! В словах дорогого князя чувствуется длительное пребывание в Англии. А я так скажу: я больше времени провел в наших благословенных пущах и дух наших хлопов я хо-о-рошо знаю, князь! Любая баба за честь сочтет и пойдет служить с удовольствием… Побыть в замке! Да это же для них великое счастье!..

— Да, мой пане. Но я... Не хотел бы я, чтобы это от меня исходило.

— Господи! Только мигните эконому или войту...

— И все же... неприятно. Но только ради своей Леди, ради ее беспомощных сироток я пойду на любую жертву. Ах, Леди, Леди! Нет ее уже.

II

Убейте, замордуйте — не поеду я!..

Весь в хлопотах, старый войт Рымарчук с раннего утра был не в настроении и мысленно посылал ко всем чертям подохшую заморскую сучку. Из-за нее, проклятой, того и гляди, и сам лишишься панского расположения. В самом деле, не его, войта, это обязанность заботиться о том, что происходит в самом замке. Однако он — старый испытанный слуга, и на него взваливают все трудности и неприятные поручения. Рымарчук по пути в людскую озабоченно загибал пальцы, вспоминая сегодняшние дела: отправил к воинскому начальнику ветеринара (тут войт недовольно поморщился, вспомнив слезы и вопли); яму для суки в старом парке роют; с заказом на памятник в город N уже поехали; псаря Яську, забывшего сказать истопнику натопить комнату, в которой находились щенки, выпороли; остается главное и самое скверное: найти и доставить в замок кормилицу. И как можно быстрей. Черт его дери — где же ее так сразу найдешь? Правда, известно, что в пяти деревнях есть кормящие матери, только все очень далеко, верст за двадцать, тридцать и дальше. Надо гнать посыльных во все места, а самому ехать за ближайшей. Возле людской уже закладывали ему возок, но посыльные не все были готовы, и войт разозлился, накричал на них, для примера огрел медлительных нагайкой, которую носил за поясом, — отличие войта. С криком и бранью сел в возок, ткнул возницу в спину и покатил за кормилицей...

Безлюдные снежные поля успокаивали.

Вокруг было однообразно и уныло. Ни одной живой души. Придорожные березы апатично скучали в своем серебряном убранстве. На пригорке, в кустике, порхала какая-то озябшая птичка с красным оперением. И невеселые, то ли безучастно очерствелые вороны не оглашали своим грубым карканьем зимних полей.

В мутно-белесых далях, за гребнями, курганами и снежными сугробами мерещились зубчатые стены, башни замков, колокольни, дивные горы, окутанные облаками. Но нет: это мужицкие хаты, будто заметенные снегом кучки навоза, выплывают из дали, среди одиноких берез и колодезных журавлей.

Вьется синий дымок над крышей. Подул оттуда ветер и принес запах жженой бересты, дыма и жилья.

Пусто на улице, заваленной хворостом и корчевьем с вырубок. Протоптаны узенькие стежки от хаты к хате, к погребу и к гумну.

Метнулась с прядильным гребнем и пучками льна девка и, испуганная, тотчас же куда-то исчезла. За углом хаты стояла кучка мужиков в шапках-ушанках; у каждого топор за поясом. Они о чем-то невесело говорили с дедом, который нес в резгинах* рыжую осоку.

— День добрый, мужики!

— День добрый пану войту!

— А где здесь живет Татьяна Турботная?

— Да вот там, просим пана, там, на углу, за родником, Турботные живут.

И несколько человек, услужливо замахав руками и шапками, побежали впереди возка показывать дорогу.

Низенькие хатки и сараи вросли в землю. Крохотные оконца, как бельма на глазу у горемычного нищего, тускнели у бедняков пузырями, у зажиточных — мутным и толстым бутылочным стеклом. Соломенные маты и застрехи закоптились. Хаты курные, без труб, дымом закопчены все щелочки. Крыши с низкими щипцами. Стены обложены соломой или конопляными очесами — для тепла. Такова хата крепостного, панского подданного, его нечеловеческое логово.

---

* Резгины — сетка, натянутая на две согнутые палки; служит для ношения сена, соломы.

Подъехав к Турботным, войт неприятно удивился: на улице возле стены стоял церковный деревянный крест.

— Похороны у них. Ребенок у Турботихи помер, — сказали войту.

Он низко наклонился и вошел в хату. Печь только-только закрыли и едкий дым еще висел под потолком и разъедал глаза. На скамье под белым грубым холстом с венчиками на головке лежал посиневший младенец. Перед образами теплилась желтым огоньком черная свечечка — подарок какого-нибудь дядьки Ермолы, местного пчеловода. Под полатями брыкался в соломе теленок; кудахтала запертая под печкой курочка. В запечек забились, как зверьки, дети — девочки. В кожушках сидело несколько сострадательных соседок. Голосила мать по ребеночку:

А мое ж ты дитятко,
А мой же ты голубочек!
Я же тебя выносила, родила,
На барщину в кошелке носила,
Сама рожь панскую жала,
Тебя снопами от солнца загораживала.
А ты ж мой ненаглядный сынулечка...
Кто же за мной в старости присмотрит,
Кусок хлеба добудет,
Кто ж мне барщину поможет справить?

— Царство небесное, — перекрестился войт и решил сразу же переходить к делу.

Бабы освободили ему место на скамье, смахнули пыль фартуком. Одна старушка стала утешать плачущую мать:

— Успокойся, моя милая. Не дай Бог, как ты горюешь. Будто о взрослом. Успокойся, моя рыбонька.

Неожиданное появление войта удивило всех и напугало. Все выжидали.

Сняв с усов лед, Рымарчук не очень решительно и не очень складно заговорил:

— Вот что, Татьяночка, надо тебе сейчас же ехать со мной в княжеский дворец.

— Несчастийко у меня, пане любенький... Освободите, сделайте панскую милость. Не знаю, зачем я там нужна в этакое время?

— Там, видишь, кормилицы нужны. Человечье молоко на лекарство, что ли, надобно, — неудачным объяснением напугал он баб.

— Ой, что-то не так, паночек дорогой, не всю правду вы нам говорите.

— Собирайся, Татьяна. Правды вам захотелось. Может, всего день и придется побыть, потом другую привезут.

Баба бухнулась войту в ноги.

— Паночек наш золотой! Защитник наш! Смилуйся! Дайте же мне самой схоронить мою малютку.

Войт колебался, не знал, как поступить. Призрак панского гнева пугал его. Наконец, приняв важный вид, Рымарчук сердито приказал:

— Ну, довольно!.. Сейчас же собирайся!

Женщина обхватила войта за ноги и заголосила. Он наконец поднялся и уже грозно, как привык за многолетнюю службу, закричал на нее.

Но женщина вдруг повела себя иначе.

— Не пойду! Убейте, замучьте — не пойду! Не покину своего сыночка. Не отдам его молоко на панское лекарство… Не поеду!

Это было неожиданно для Рымарчука. Он опешил, не зная, что делать.

— Ну, ну, ну… — нашелся он, — покричи, чтобы князь услышал, глупая баба. Сегодня же вечером приезжай: успеешь похоронить. Так и мужу скажи. Где он?

На барщине… Из лесу колоды выволакивает на сплав, — ответила вместо Татьяны бабка, так как та молчала.

— Так и ему передайте.

И войт уехал.

Уже в городе, вдали от этой тяжкой сцены, он стал корить себя, что сразу не взял ее с собой. «Ну да ничего; может, привезут кормилицу из какого-нибудь другого места», — утешал себя.

Навстречу ехал хлоп, вез корчевье; увидев войта, поспешно свернул с дороги и, утопая в снегу возле увязнувшего коня, снял шапку. Его собака залилась яростным лаем и бросилась к возку войта.

Войт со смаком перетянул собаку нагайкой и поплотнее запахнул тулуп.

Безлюдное снежное поле успокаивало, однако в глубине души зарождалась смутная тревога.

III

Закопать их вместе с Леди!

— Ну, войт, привез бабу? — встретил вечером Рымарчука комиссар у замка.

Войт долго обдумывал, что ответить.

— А разве из дальних деревень ни одной не привезли, ваша милость? — спросил он.

— Кто же должен знать? Для чего у нас войт? Ты ездил за самой близкой?

— Да, ваша милость. Вскоре привезут бабу.

— А щенки до сего времени не кормлены! Берегись, Рымарчук! Князь не посмотрит, что ты войт.

А князь сидел на корточках у корзины со щенками и горевал. Трое еще шевелились и барахтались, жалобно скулили и лезли друг на дружку. А самый маленький лежал в сторонке неподвижно, закинув голову и вытянув лапки. Он издыхал. Стояли блюдечки с молоком. Почтительно стояли у дверей седой камердинер и удрученный псарь Яська.

— Мои горемычные лединятки! Мои несчастные малютки, — приговаривал князь, поглаживая мягонькую шерстку и чувствуя, как тычутся в его руку голыми мордочками щенята и жалобно пищат.

— Ну, что баба? Где же баба? — раздраженно спрашивает князь, не глядя на слуг.

— Еще нет, ясновельможный пане, — отвечал камердинер, а Яська хмурился и молчал.

— Кто поехал за ближайшей?

— Сам войт Рымарчук.

— И этого старого дурака до сих пор нет?

Челядь молчала.

— Немедленно узнать и прислать его сюда. У-у, балбесы, — обычно очень уравновешенный, князь выходил из себя. — И пана Михала позвать! — добавил он.

Когда явились встревоженный комиссар и дрожащий от страха Рымарчук, князь был грозен. Лицо налилось кровью, на щеке дрожал мускул, нос стал сизым.

— Полюбуйся, полюбуйся! — потянул он войта за полу жупана. — Ты уморил их голодной смертью. Они умирают... Этот уже кончается. У тебя нет жалости, жестокосердый хлоп. Ты целый день зря проваландался, пся крев. Ты слишком долго ходил в войтах, мерзкий смерд. Ты только хлопов наловчился лупцевать, тебе совсем нет дела до бедных малюток моей несчастной Леди. — Князь старался сдержаться и не мог. — К черту этого негодного бездельника, — неожиданно для себя заорал он, повернувшись к пану Михалу, — в самую дальнюю деревню, простым хлопом его, мерзкого, под тщательный надзор старосты!

И, отправляя Рымарчука, вопил:

— Вон! Прочь с моих глаз, проклятый смерд!

Войт, онемев, поплелся к выходу.

Пан Михал с трудом пролепетал:

— Слушаю ясновельможного пана.

— Слушаете? Вы — слушаете? Дело надо делать. Ступайте...

И князь ушел к себе в комнаты. Пан Михал прошипел что-то камердинеру Яське, двинулся было к щенятам и опрометью ринулся из замка.

Переполох поднялся среди челяди и других обитателей замка. Забегали туда-сюда с фонарями. Зазвенели бубенчиками хомуты. Снаряжались верховые, лаяли собаки. Пан Михал метался по двору, осыпал проклятиями и раздавал тумаки направо и налево. Поскакали во все стороны гонцы за кормилицами. Помчался гайдук в легких санях на беговой лошади за Татьяной. А войт, черный, как туча, сидел в пекарне. Никто не осмеливался утешать его. Но он еще не мог до конца понять все, что произошло, и привыкнуть к новому положению. Одна мысль сверлила голову: как он мог так оплошать? Самолично поехал за бабой и не привез. Как он тогда не сообразил? Но уже ничего не исправить, про-

пал. Пан Михал, бросив на него презрительный и злорадный взгляд, буркнул себе под нос: «Пся крев! Натворил беды. Теперь ты у меня узнаешь».

К полуночи привезли Татьяну Турботную и впихнули к щенкам.

А к утру и те трое сдохли.

Узнав об этом, все в замке притихли, как перед грозой, дожидаясь пробуждения князя.

Наконец князь проснулся.

— Проснулся, проснулся, — стало слышно во всех уголках замка, пронеслось по двору и по людским.

Князь, надев халат, отправился к щенкам. Увиденное вызвало у него отвращение: забившись, как сова, в угол, сидела противная, грязная, зареванная баба. Вскочив, бросилась целовать руки князю. Он с омерзением отдернул руку и спрятал ее за спину. С нетерпением и надеждой он подошел к корзине и остолбенел: гадкие, чем-то облитые, взлохмаченные, с раздувшимися брюшками, раскорячив задубевшие лапки, лежали мертвые дети прекрасной Леди.

Магнат молча ушел в свой кабинет, хлопнул в ладоши и приказал позвать комиссара.

— Знаете? — коротко спросил он, не поздоровавшись, у представшего перед ним пана Михала.

— Знаю, ясновельможный пане, несчастье…

— Почему это произошло?

— Надо думать, баба обкормила их своим испорченным молоком, ясновельможный пане.

— Обкормила? Да как же она посмела? Может, умышленно? Может, чувство обиженной матери? О, какое варварство, какая бесчеловечность в этом дикарском крае! А может, своеволие? Да, да, безусловно, своеволие. Тут все распустились. Распустился войт, распустилась челядь, холопы… Не знаю, зачем я держу комиссара? Где откопали эту страшную бабу? Эту душегубку? У нее вид настоящей ведьмы! Обкормила, ха-ха! Накормить же ее так, чтобы аж пить попросила! Можете идти. Подбодрите-ка распустившуюся челядь. Ага… верните ветеринара Будьку: пусть исследует, отчего околели щенки. Закопать их вместе с Леди!

IV

Как накормить человека,
чтобы аж пить попросил?

Пан Михал радовался, что беда почти миновала. Радовался с некоторым опасением: как бы не довелось разочароваться. «Накормите же ее так, чтобы аж пить попросила!» Черт знает, что это значит? А надо понять и в точности исполнить. Судьба войта слишком незавидная! Рымарчук — холоп, вознесенный панской милостью на высоту войта — смерд. Ему легче снова стать тем, кем он был когда-то. А пан Михал — шляхтич, хотя и обедневший; ему не снести позора. Надо стараться. Благо, что до сих пор везло.

— Скажи-ка мне, Яська, как накормить человека, чтобы он аж пить попросил, а? — спросил он, встретив псаря.

Тот не понял, воспринял как шутку и, стараясь подстроиться под панский юмор, ответил:

— Накормить надо вволю, любезный пане.

— Накормить? Да мне после сытного обеда только курить хочется, понимаешь?

— А мне — пить. Однажды я после копченой селедки половину пивной кружки квасу выпил у повара, милый пан.

— Ага, так, так, так! После селедки, значит?

— После бани пить очень хочется, добрый пан.

— Ага, еще и после бани? Хорошо, хорошо, ты разумный холоп, псарь Яська.

— Псари все умники, — осклабился Яська.

— Ну, и иди к своим псам, а то опять что-нибудь забудешь.

— Дармовщина была, паночку...

— Ну, ну, поговори у меня!

Пан Михал после разговора с псарем Яськой воспрял духом. Хотя и не следовало ему так долго говорить со смердом, да и еще недавно высеченным, но ничего: этот смерд, черт ему друг, подал дельную мысль. Воля князя будет исполнена в лучшем виде.

В саду, за старой конторой управляющего, возле заросшего пруда доживала свой век дряхлая заброшенная банька. Комиссар приказал как можно быстрее навести в ней порядок и начать топить. В баньку, в парилку, поместили Татьяну Турботную и заперли на замок. Ключ пан Михал положил себе в карман.

— Через окошко давать по пять селедок утром и вечером, а больше ничего не давать. Пусть ест вдоволь, чтобы от жажды изнывала. Огонь в печке поддерживать днем и ночью да пару побольше поддавать, а то ведь озябнет голубушка, — приказал пан Михал гайдуку, — топить как можно жарче, селедку выбирать посолонее.

Три дня и три ночи стонала, хрипела и царапала стены, изнемогая от жажды, больная, обезумевшая женщина.

Уже и Будьку возвратили в замок. Уже на радостях он подтвердил, пустив в ход все свои ветеринарные знания, что да, действительно, щенков баба обкормила молоком. Это очень просто сделать, и сделано умышленно, ведь умеют же они своих детей кормить, не обкармливают. Уже князь, взяв наличные в главной конторе и отдав приказания по поместью, закутанный в медвежью полость, на шестерке запряженных цугом серых, в яблоки, лошадей покатил в беззаботно-веселую Варшаву, намереваясь оттуда отправиться в Париж и Лондон, дальше, дальше от страны дикарей, нищеты и суеверий, но которые по странной иронии дают князю золотые звонкие червонцы.

Перед отъездом князя пану Михалу очень хотелось похвалиться, как смекалисто вынудил он ту ведьму попросить воды, но не решился беспокоить его светлость такими мелочами.

Комиссар бормотал себе под нос: «За Неман, за Неман…» и надевал патронташ: готовился пройтись по пороше с бутылкой «погжэбовэго» на зайчишек. Но тут пришел гайдук с сообщением, что баба утихла.

Нашли ее на полу с исцарапанными в кровь руками и грудью, с широко раскрытым ртом. Комиссар растерялся и накинулся на гайдука с упреками и бранью: почему не сказал раньше, что баба уже в предсмертном состоянии. Со страху

он забыл о своем панстве, прытко сорвал с плеча охотничью сумку, выхватил бутылку и часть «погжэбовэго» влил в некрасивый и страшный рот женщины…

После нескольких минут тягостного для всех ожидания она захрипела и, задыхаясь, проглотила влитый в ее рот спирт.

Взвалив ее на розвальни, прикрыли поверх кожуха дерюгой. Хмурый, но с важным видом Яська повез ее домой.

V

Вечный покой!

Магнат Вишневецкий снова появился в варшавских салонах. Он был хорош собой и, как говорили учтивые пани и паненки, «несказанно одухотворенный» после уединения в своих белорусских пущах. Все знали, что знаменитая Леди, которой восхищался прусский король на пышной охоте у Понятовского, безвременно погибла. Граф Пшездецкий одалживал у князя деньги и без меры нес чушь о его новых взглядах, потерпевших абсолютную неудачу при первом же соприкосновении с консервативными холопами.

Разговоры о несчастной Леди стали модными в аристократических салонах.

А молоденькая игривая баронесса Фальц-Фейн кокетливо напевала грустному князю жалобно-смешную песенку:

Гав-гав-гав, сученька!
Гав-гав-гав, мосенька!
Вечный покой!
Без поры скончалась,
С детками рассталась,
Вечный покой!
Ой, лединяточки,
Крошки-щеняточки,
Вечный покой!..

СМАЧНЫЙ ЗАЯЦ

I

Сколько уже было случаев в истории, когда с самой вершины счастья человек вдруг падал в самую бездну слез и отчаяния.

Князь убил на охоте двух больших красавцев-лосей. Веселый, довольный, без умолку болтая с гостями, возвратился он к вечеру домой и велел повару зажарить отменного зайца, которого вчера ловчий подстрелил по первому снегу в пуще.

Красный — с ободранной шкурой — мясистый заяц уже лежал на столе в кухне, и повар проворно обрабатывал его.

Князь гордился искусностью повара и часто хвастался гостям, что второго такого повара не сыскать во всей округе.

Повар это знал и старался свою славу не уронить.

Сегодня он с особым рвением взялся за дело: князь вернулся довольный, гости веселы, обед будет с охотничьей выпивкой — можно рассчитывать и на гостинец от них, а завтра и князь похвалит да и под хорошее настроение рюмкой водки угостит.

А не угодишь — беда: гайдуки тотчас же потащат на конюшню и так отделают ременными кнутами, что целую неделю нельзя будет ни сесть, ни лечь.

Был один случай — и повар, вспомнив, расстроился... Пересолил он пищу, и князь самолично, своей тяжелой рукой, так ударил его два раза по уху, что еще и теперь в плохую погоду гной из уха течет. Поэтому повар постоянно носил в ухе кусочек мягкой ткани и плохо слышал.

Да мало ли было таких случаев, когда разгневанный князь мог избить его до смерти или отдал бы в солдаты, если бы не дорожил его золотыми руками и тонким поварским вкусом.

Искалеченного, с заткнутым ухом повара князю неприятно было видеть, и он уже никогда не звал его на обсуждение блюд, а передавал приказания через стольника*.

---

* Стольник — придворное звание.

Но сегодня князь был в таком необычно хорошем настроении, что захотел, кроме стольника, и сам поговорить с поваром, как зажарить зайца.

Когда мальчик-гайдучонок прибежал из дворца к повару на кухню, а она находилась поодаль от дворца, в отдельном, специально предназначенном для нее здании, когда он, запыхавшийся, крикнул повару: «Дядьку ясновельможный пан зовет к себе... скорее!» — у повара от неожиданности затряслись руки и зазвенело в больном уже. Он не знал, пугаться или радоваться тому, что его зовет князь.

Подняв уроненное от страха полотенце, повар вытер заячью кровь с рук, спешно пригладил остатки волос на лысой голове и подкрутил усы.

— Пирожок... пирожок, Яночка! — смущаясь, взбудораженно зашептал он гайдучку и, глянув по сторонам, чтобы никто не увидел, выхватил из духовки румяный пирожок и сунул мальчику в карман за принесенную хорошую или дурную новость.

Мальчик обрадовался, погладил большого откормленного кота, любимца князя, прибежавшего вслед за гайдучонком из дворца, и поторапливал повара: «Быстрее, быстрее, князь ждет!»

И они тотчас побежали: мальчик впереди, а повар следом, на ходу спуская засученные рукава.

На кухне остался только мышастый кот, по недосмотру запертый там. Он важно походил по всем столам, понюхал зайца, поморщился, потом соскочил на пол и посмотрел через неплотно прикрытую дверь в подсобное помещение при кухне, где два поваренка, судомойка и парень-дровосек занимались своим делом.

Коту приятно защекотало в носу, он глубоко вдохнул запахи, идущие от огромной горячей плиты, на которой стояло бессчетное количество разных посудин с приготовленной едой, клубился из котла пар, булькала вода, шипели сковородки, трещали в печке дрова. Но блеск на полках, исходивших от сотен медных кастрюль всевозможных размеров, от самой большой, величиной с ушат, до самой маленькой, с кошачью голову, — не понравился ему.

Там была приоткрыта дверь, из которой тянуло холодом и через которую можно было выскочить во двор, но мрач-

ный вид поварят, а особенно парня-дровосека с веревкой в руках не понравились любимцу князя, и он вернулся, задрав пушистый хвост кверху, в кухню.

Способный на всякие штуки кот подпрыгнул, нажал на щеколду и открыл дверь. В сенцах забрался на полку и насторожился: в ящике с припасами вроде бы заскребли мыши...

Тем временем в дверь со двора всунулись морды двух гончих собак — тонких, как змеи, изогнутых дугой. Один из них потянул носом и тотчас же унюхал зайца. Мягко, неслышно подошел к столу, задрал острую морду, схватил широченной пастью зайца за голову и шмыгнул со своим довольным другом на псарню...

Радостным возвратился на кухню главный повар: князь был с ним очень ласков, поговорил с ним и даже дал поцеловать руку.

Но сколько уже было случаев в истории, когда с самой вершины счастья человек вдруг падал в самую бездну слез и отчаяния.

Счастливый повар, проходя мимо псарни, услышал в будке хруст, чавканье и тихое урчание... Собаки что-то жрут!

Сердце у повара екнуло: не зайца ли стащили проклятые собаки, сущие черти?

Бегом помчался повар к своей кухне, вскочил, подбежал к столу — зайца нет! Болью резануло сердце. Он бросился в подсобное помещение, мгновенно окинул взглядом все и всех. Зайца не было, и каждый спокойно занимался своей работой. Как бы по какому-то делу вышел повар во двор и медленно, пришибленный горем, поплелся мимо псарни, осторожно поглядывая на собачьи будки. Вот из одной показалась собачья голова: морда в крови, глаза заплыли хищной сытостью и в зубах что-то торчит... Пес облизнулся, и из пасти выпала заячья лапа.

Удрученный повар поплелся назад, на кухню.

Войдя в сени, он, как в беспамятстве, постоял там и невольно задрал голову, отыскивая крюк, чтобы повеситься и навеки стать свободным.

Но тут следует еще раз сказать, что человек никогда не знает, где потеряет, а где найдет. И нет такой беды на свете, которой не улыбнулось бы внезапное, неожиданное спасение.

На глаза повару попался лежавший на полке кот — большой, откормленный, мягкий, пушистый, как тот заяц.

Отчаянная мысль, как заноза, кольнула в голову повара, и он выставленными пальцами поманил кота. Кот прижмурил глаза, смерил взглядом фигуру старшего повара, как бы взвешивая его значимость по кошачьим меркам. От повара исходили приятные запахи, глаза у него были покорно-ласковые, и кот потихоньку, с важным видом стал приближаться к манящим пальцам. Как только он ткнулся в них головой с гладкой, шелковистой шерстью, пальцы повара с крайней непочтительностью схватили его за загривок и взметнули вверх. Кот задохнулся от лютой злобы и обиды. На минуту придя в себя, он яростно оскалил зубы, заскреб когтями и закрутил хвостом; образ князя стоял перед вылезшими из орбит глазами и наполнял кошачье сердце мстительной радостью бессильного: врагу любимца князя не миновать лютой кары за такое издевательство. Но пальцы вцепились в загривок мертвой хваткой и несли болтавшегося в воздухе кота на кухню. Когда дверь, чтоб никто не вошел, была заперта на задвижку, в свободной руке повара блеснул огромный, жуткий кухонный нож. Кот собрал остатки сил, судорожно рванулся и потерял сознание. Горячая кровь хлынула из перерезанного горла, и наступила вечность.

Мгновенно ободранная шкура была брошена в дальний угол, под печку, а красная, мясистая кошачья тушка с отрезанной головой, как тот отменный заяц, лежала на столе. Руки повара вновь обрели уверенность, сердце стало биться ровнее, и работа закипела. Время от времени повар шептал «Отче наш», крестился-молился, вытирал со лба пот и молчком старательно жарил, перчил, поливал...

II

— Ой, сердце, людцы! Ой, сердце!

Впервые за всю жизнь князь и его гости ели такого вкусного зайца.

— Вот заяц — так заяц! — хвалили гости. — Пальчики оближешь.

Князь радостно улыбался и в какие-то минуты даже пожалел, что когда-то в страшном гневе искалечил повара.

— Заяц хорош, но и повар мой не хуже, — хвастался он. — Граф Зибер-Пляттер в прошлом году предлагал мне за него триста золотых, но я и за тысячу не отдам; вы ведь убедились сами, господа, у повара золотые руки, не так ли?

Разговор перешел на повара с золотыми руками, и подвыпившие гости захотели посмотреть на него. На кухню за ним послали гайдука.

— Где ясновельможный пан добыл его? — допытывался граф Бжестовский.

— Мой подданный... местный. Ни в Париже, ни в Варшаве не учился, — видно, кухонным гением родился.

— Почему так долго нет этого гения? — спросил угрюмого вида старый пан.

Князю не понравились эти слова, он нахмурился и послал второго гайдука. Тот, зная князя во гневе, помчался как стрела.

Тем временем с поваром творилось что-то непонятное. Первый посланец стоял в недоумении над стариком-поваром и не мог его заставить идти к князю.

Повар был бледный, дрожал и не мог вымолвить ни слова. Он смотрел на посыльного вытаращенными глазами и не двигался с места, будто приклеенный. Наконец, спустя минуту-другую, медленно побрел в свою каморку рядом с черной кухней, опустился на колени, сложил на груди руки перед иконой и закаменел в такой позе. Не молился, не бил поклоны, только стоял на коленях и смотрел на икону.

Может быть, он долго простоял бы так, если бы не прибежал второй гайдук. Тогда они вдвоем подхватили повара под мышки и поволокли во дворец. Ноги у повара подгибались, не шли, лоб покрылся испариной, лицо по-прежнему было мертвенно бледным.

— Напился на радостях, что ли? — кричал на него старший гайдук. — Князь хочет показать тебя гостям, какой ты, знаешь ли, искусник зайцев жарить, а у тебя и язык набок выпал. Иди своими ногами! — и слегка толкнул его в бок.

Но повар упал на снег и не поднимался. Потом схватился рукой за грудь и тяжело застонал:

— Ой, сердце, людцы, сердце болит!

Гайдуки не на шутку испугались, однако не решились медлить и, снова подхватив его, потащили дальше. Из дворца выскочил стольник. Спросив на бегу, что случилось, схватил горсть снега и стал тереть повару лоб. После этого повар немного пришел в себя и с трудом поплелся сам.

Когда гайдуки открыли дверь гостиной, паны громко говорили, наперебой хвастались своими удачами на охоте, хохотали, развлекались на свой, панский, манер. Граф Бжестовский первый заметил повара и, смеясь, закричал: «Гения, гения, кажется, привели!»

— А, вот он, гений… — пробурчал угрюмый старый пан и усмехнулся: — И, правда, какой-то необычный, как с того света… Но зайца жарить мастак!

Гости понемногу утихли и повернули головы в ту сторону, где между двумя рослыми, крепкими, как зубы, гайдуками стоял согбенный, мертвенно бледный повар.

— Что с тобой случилось, дурень? Расскажи-ка нам, как ты жарил зайца?

Повар только шевелил восковыми губами и ничего не говорил.

Князю было неприятно, что его челядинец такой затюканный и боязливый…

— Что с тобой, дурень? — снова спросил он недовольным голосом. — Чего прежде времени испугался: за хорошую работу получишь хорошую плату…

Повар воспринял эти слова как угрозу и упал на колени.

— Княженька! — закричал он. — Собаки, ясной милости, собаки, чтоб их волки съели!

Никто ничего не понял. Собаки его испугали, что ли? Князь нахмурился, так как повар испортил ему хорошее настроение. Но круто менять недавнюю милость на гнев не хотел и намеревался еще раз спросить, в чем дело. Только он об этом подумал, как повар скорчился и схватился обеими руками за грудь.

— Ой, сердце, людцы! Ой, сердце!..

— С ним сердечный приступ от какого-то испуга, — сказал угрюмый старый пан и налил в стакан холодной воды, чтобы спасать несчастного повара; он был знатоком в ле-

чении болезней. — На, выпей, голубчик, — стукнувшись о зубы, зазвенел поднесенный повару стакан с водой. И уже сочувственно, но иронически пан добавил: — Сердечная болезнь — болезнь гениев.

— Ой, сердце, людцы! Ой, сердце! — жалобно и мучительно причитал повар, царапая ногтями грудь. Кусочек ткани вылез у него из уха.

Всем стало неприятно.

— Уведите его! — приказал князь гайдукам. — Собак испугался, будто маленький... — пробурчал он вслед повару и уже громко, чтобы успокоить гостей, сказал как ни в чем ни бывало: — Это что — пара лосей! Вот мы в прошлом году с графом Зибер-Пляттером — зубров накрыли в моей дальней пуще...

И шумный охотничий разговор возобновился. Забыли и о зайце, и о поваре.

III

Сочувствие счастливого несчастному сделало фальшивой чистую в страданиях душу человека.

Больной повар лежал на кровати в своей каморке и стонал. Явился придворный фельдшер, дал выпить успокоительных капель и спросил, как началась болезнь. Не добившись никакого ответа, махнул рукой и ушел. Младшие повара, сочувствуя больному, с горя немного выпили и своими громкими голосами довели повара до головной боли, но наконец и они ушли.

Поздно вечером прибежал заплаканный гайдучок Ясюк, разыскивающий запропавшего кота. Ясюк, бедняга, облазил все углы на кухне и нигде его не нашел, только вытащил из-под печки заячью шкурку, очень похожую на кошачью. С нею он явился к больному повару, когда там уже никого не было, и стал плакать и жаловаться дядьке, что боится выволочки от князя за исчезнувшего кота.

— Может, в лес удрал... Может, собаки разорвали... Завтра ясновельможный князь спросит, где кот... Что я скажу?

У-у-у! — рюмзал бедный мальчик, уткнувшись в шкурку лицом. — Вот и кот был такой же гладкий, как зайчик… Пришел со мной сюда на кухню, а потом не знаю, куда девался!

— Не знаешь, Ясюк? — больной приподнялся на кровати и уставился на паренька вопрошающим взглядом. — Не знаешь, куда девался твой… ну, этот кот?!

— Не зна-а-а-ю-ю, у-у-у, — не унимался и еще сильнее заплакал Ясюк. — Может, убежал в лес или в деревню, а там деревенские собаки его разорвут, у-у-у…

— А во дворце никто не знает, куда он, холера, подевался? — немного ожил повар.

— Никто не знает, не видели… у всех спрашивал. Что мне теперь делать, дяденька… у-у-у! Будут сечь меня за то, что не уберег.

Смертельная тяжесть вдруг скатилась с плеч повара. Невыразимой радостью засветились измученные, запавшие, отечные от сердечной боли глаза. Ком радости подкатил к горлу, свободно вздохнула изболевшаяся грудь. Сочувствие счастливого человека несчастному сделало фальшивой чистую в страданиях душу человека. Спасенный повар с неискренней нежностью привлек мальчика к себе, прижал к груди, гладил по головке, ласкал, говоря со всей доступной ему мягкостью:

— Деточка моя! Сироточка моя бедная! Не бойся, не плачь, как-нибудь все обойдется. Ну, высекут, но на то мы и слуги панские, чтобы нас секли. Не бойся, не убьют же до смерти. Вот и меня сколько раз пороли — ничего: ведь както живу… Успокойся, мой Ясючок, голубчик мой! Пропади он пропадом, этот кот! Может, еще и найдется, если собаки не разорвали, вернется, как проголодается, холера его не возьмет. Тебя князь любит, может, и простит, даже если пропадет этот негодник.

С мальчиком, круглым сиротой, взятым во дворец с самых малых лет, редко так по-отечески говорили. Он постепенно успокоился, только изредка тихо всхлипывал, но не столько от горя, сколько от того, что был растроган добрыми словами. Ласка старого повара, который сегодня и пирожком угостил, размягчила его сердце, как тепло растапливает воск. Мальчик припал к руке повара и поцеловал… Шкурка выскользнула из его руки и скатилась на кровать.

Повар внимательно следил за нею и, улучив удобный момент, локтем отодвинул ее в сторону, и она упала за кровать. После этого повар стал уговаривать мальчика идти спать.

— А как же вы, больной, один останетесь? — с искренним детским участием спросил мальчик, посмотрев на старика чистыми, просохшими от слез глазами.

— Ничего, Ясюк! Не беспокойся обо мне, ведь мне уже малость полегчало.

СТРАШНАЯ ПЕСНЯ СКРИПАЧА

Было это при крепостном праве.

Жил у беспутного и злого пана Достоевского молодой музыкант.

Звали его — Артем Скоморох.

Потому — Скоморох, что весь их род — скоморохи*. Отец, дед и прадед умели играть на скрипке и славились по всей округе.

Ни одна свадьба без них не обошлась.

Сначала дед играл и учил этому сына. Потом отец пришел на смену, приводя с собой на вечеринки и ярмарки, куда надо и куда не надо, своего маленького Артемку.

Но вот помер дед, умерли и отец с матерью. Остался парнишка один, сиротой. Тогда и взял его пан Достоевский к себе в поместье.

А играть на скрипке парень умел так, что отца и деда превзошел. Искусными пальцами наградила его судьба.

Да только были у него свои принципы. Хотя и наш брат-мужик, панский подданный, а гонор имел совсем не нашенский.

Таким гонористым был парень, что даже пан остерегался чем-нибудь обидеть его. Такой вот он: если не захочет играть, то хоть упрашивай его, хоть угрожай — не станет играть, да и только!

И вот однажды пан Достоевский привез из Варшавы новую любовницу-польку.

---

* Скоморох — в древней Руси — певец-музыкант и актер, исполняющий шутовские и акробатические номера, а также и серьезные поэтические произведения.

А полька возьми да и влюбись в нашего музыканта.

Приглянулся ей простой парень.

Если бы не был Артем таким гордым, то дело это в те давние времена обычное. Пан развлекается с любовницей, а у нее в сердце еще кто-то.

Но тут произошла целая история. Артем был такой: если не любил кого, то и притворяться не хотел…

Уедет пан Достоевский в Варшаву, или в гости к соседям, или на охоту в пущу, а полька этого только и ждет. Позовет к себе музыканта и просит играть для нее.

Пока Артем не догадывался, в чем дело, с удовольствием играл ей разные здешние песни, которыми она очень интересовалась, так как раньше их никогда не слыхала. Даже говорить по-нашему немного выучилась, видимо, чтобы легче было его приворожить.

Но когда музыкант понял, что не просто так смотрит на него панская любовница, недаром распускает перед ним свои длиннющие черные-пречерные, как смоль, косы, не случайно хмурит брови и неспроста на ее бело-румяном лице появляется какое-то нетерпеливое, капризное выражение кокетки — когда заметил все это, у него пропало желание играть и песни ей петь.

А варшавянка, видя, что парень с гонором, и самоуверенности своей лишилась.

Известно, что, лишившись уверенности, женщина становится невменяемой. То плачет, то смеется, то злится-бесится, ничего на свете ее уже не интересует, и всем сразу видно, что она влюблена.

С людьми полячка была обходительной, и многие ее жалели, ведь ясно же: и у панской любовницы есть сердце, и она ведь, хотя и наложница, — человек.

Жалеют люди полячку, упрекают Артема за гордыню.

А нашему скрипачу это дело хуже горькой редьки. Он и сам жалел красивую полячку, но однажды назло всем сказал: «Не хочу за паном подбирать… Пусть она другого себе поищет!»

Ну, злые люди возьми да и расскажи все полячке.

Вот и вышла история, совсем как в библии: об Иосифе Прекрасном и жене начальника.

Приехал пан, полячка от отчаяния и возвела напраслину на бедного скрипача: «Так, мол, и так, — говорит, — этот хамло приставал ко мне, соблазнившись моей красотой».

Но пан уразумел, что дело, видимо, совсем не так обстоит.

Позвал к себе Артема, заперся с ним в кабинете, и ну выспрашивать у него:

— Скажи, хаме, чем ты приворожил к себе мою полячку?

Молчит Артем. Да и что тут скажешь?

— Хочешь ты, мужик, жениться на ней? — снова спрашивает у него пан.

— Ни за что на свете, милостивый пан, — твердо ответил Артем.

— Цо ж бенде з вами робил?* — как бы советуется с ним пан. — Играл ты ей мужицкие песни?

— Играл, паночек!

— Ну так выбирай, галгане**: или женись на ней и веди мужицкое хозяйство, или будешь играть ей что хочешь... — одну ночь?

— Жениться — никогда не женюсь, а играть — на то мне и пальцы даны.

— Добже мувиш, хаме, — усмехнулся пан, — паментай жэ о тэм!***

Но за несколько дней до назначенной ночи произошло непредвиденное несчастье: полячка заболела и умерла...

Вероятно, поднес ей яду пан.

Прибрали ее на тот свет в богатое панское одеяние, положили в большом зале на черном столе, зажгли свечи...

Наступила ночь, зовет к себе пан музыканта со скрипкой.

— Поменташ, хаме, цо мне мувил?****

— Помню, милостивый пане.

— Ну так иди и ночь играй покойнице, чтобы душа ее не очень печалилась на этом никудышном свете...

Испугался наш музыкант, думает: шутит пан... Но не тут-то было.

— Иди, иди, галгане, такая ведь у нас была договоренность.

---

* Что же мне делать с вами? *(польск.)*

** Галгане *(польск.)* — голодранец, негодяй, дрянь, подлец.

*** Хорошо говоришь, хлоп, помни об этом *(польск.)*.

**** Помнишь, хлоп, что мне говорил? *(польск.)*

Пошел Артем в зал, и закрыли его там один на один с покойницей-полячкой.

Ужаснулись люди, жаль им было музыканта, испугались, что в том зале, при покойнице, найдет он свою погибель.

Вспомнили теперь разные страшные россказни: как вставали из гроба покойники, чтобы погубить того, кого в жизни очень любили.

Шептались, что полячка была колдуньей, старой краковской ведьмой, которая превратилась в красивую панскую любовницу, чтобы сгубить нашего музыканта.

Поговаривали даже, что и сам пан Достоевский спутался с чертями, которым уже давно не терпелось сжить со света славного скрипача. Конечно же, чертям не было покоя, потому что хороший музыкант своей замечательной игрой делает людей лучше, направляет их мысли на добрые дела.

А произошло все это в конце лета, когда с приближением осени наступает самая бесовская пора.

Что же тем временем делал Артем?

Подошел к гробу, помолился за усопшую душу и взялся настраивать свою старую скрипку.

Потом настежь раскрыл окно и извлек из струн первый звук...

Болью, стоном отозвался этот звук в саду, среди отцветших красок, среди окутанных ночной тишиной деревьев, отдался в сердцах панской челяди и долетел до слуха пана, сидевшего в кабинете за бокалом старого вина.

Все прислушивались: что будет играть музыкант покойной полячке на прощание?

Повременил немного скрипач и медленно, тихо и печально заиграл «Вечную память».

Звуки крепчали, росли, и вот стало казаться, что большой церковный хор отпевает человека.

Все громче становились звуки, и странно было знать, что поет там всего лишь одна скрипка...

Не церковный хор пел, а будто тысячи печальных голосов слились в единый погребальный гимн.

Слушающим эту песню думалось о тщете человеческой жизни, о ничтожности радостей на этом свете, о никчемных ссорах и распрях: «Суета сует и всяческая суета», «Прах еси и прахом отыдеши», — пелось в той песне.

Но закончил скрипач эту песню-молитву, помолчал немного и заиграл нечто совсем иное. Сразу трудно было понять, о чем говорит его скрипка, но слышалось что-то знакомое, давно изведанное, давно пережитое. Будто бы лес шумит, будто бы вьюга в поле гудит и будто бы опять жнецы поют. Значит, заиграл музыкант об обыденной жизни человека. Вот зашелся в кашле старик, вот гомон людской, как бы ссора бабская, а то плач младенца… И такой живой плач, даром что скрипка, будто в самом деле больное или голодное дите криком исходит. Так плачет, так плачет, что выдержать трудно, хочется бежать к нему, унять этот плач. Но вот слышно, как мать его утешает: «А-а, а-а, маленький! а-а, а-а, бедненький!» Понемногу успокаивается дитя, мать его укачивает, скрипит люлька, всю долгую ночь скрипит и скрипит как бы вот здесь, возле тебя, а ведь все это скрипка высказывает под пальцами музыканта. Обычные песни играл скрипач, но слушал бы его, слушал целую вечность.

Не плач, маё дзіцятка, а цыц, маё родна.
Вунь там войт ідзець,
На татку, на мамку ён бізун* нясець,
У тым у бізуне скураты** ўвіты,
На тым на бізуне слёзкі паліты…

Долго играл скрипач о своей несчастной доле с самых малых лет.

И так, песня за песней, сыграл-рассказал всю свою жизнь.

На улице стояла темная ночь, но музыка будто рассеивала темень: перед глазами возникало то жнивье с поющими жницами, то слышался звон кос на сенокосах, то гуденье веретен по вечерам, то на вечеринках «Лявониху» парни с девчатами пляшут.

И никому не казалось странным, что у гроба покойницы он играет не только похоронную музыку, но и обыденную; все было подвластно пальцам скрипача; все было прекрасно — и святое, и грешное.

---

* Бізун *(бел.)* — кнут.
** Скураты *(бел.)* — ременные полоски.

Так продолжалось до полуночи.

Дошел музыкант до того несчастного момента, когда играл полячке мужицкие песни.

Трубит охотничий рог, лают гончие — значит, пан выезжает на охоту.

Смеется полячка, звоночком серебряным заливается — это она радуется, что Артем к ней идет. Исторгла скрипка печальную жнивную песню — это он стал ей играть нашенские песни.

Песню за песней выводит скрипка, и такая тоска, такая печаль человеческой души в этой музыке, что у всех сердце от боли сжималось, белый свет немилым становился, жаждалось чего-то неведомого, чего никогда и не может быть в жизни. Рыдает скрипка, плачет о несовершенстве мира, где один любит, а другой — нет. Об этом играл.

Но вот меняется тон музыки. Преобладают могучие звуки, гордые, всепобеждающие, заглушающие и те жнивные песни, и страдания полячки. Заиграл Артем о своей гордой одинокой душе, о своей любви к музыке. Гремит возвышенный гимн, весь мир сотрясается от этих звуков... Но над всем этим звучит собственный гимн скрипача, и нет такой силы, которая заглушила бы его.

Вдруг из панского кабинета послышался какой-то дикий, нечеловеческий хохот... Это пан хохочет, воет и снова смеется! Но это не мешает торжествующему гимну широкой волной разливаться в воздухе темной ночи так, как могучей бурной реке в половодье.

Хохот прекратился, и вдруг среди музыки: бах!

Умолкла и музыка. Бегут люди в кабинет к пану, смотрят: лежит он с размозженной головой и рядом с ним выпавший из руки турецкий пистолет.

Одолел Артем своей игрой нечистую силу в нем — застрелился наш пан!

Похоронили пана вместе с полячкой; а Артема мы больше не видели: ушел от нас в белый свет, неведомо куда.

Вот какой был в те давние времена скрипач, вот что порой случалось при крепостном праве.

КЛАД

Как-то в самую ненастную пору глубокой осени, вечером, под проливным дождем ехал я от станции Яшун Полесское железной дороги верст за пятнадцать в сторону. Тряская, убогая телега, мохнатая слабосильная лошаденка и угрюмый, бедный розница-виленчанин не радовали глаз.

Легкое под дождевой накидкой пальто слабо защищало мое зябкое тело от пронизывающего холодного ветра, и я с состраданием смотрел на замерзшего возницу в коротком, плохоньком и изношенном зипуне.

Возница молчал, молчал и я, подавленный бесконечной чередой невеселых дум.

Пока тащились от станции через сосновый лес, окружающее уныние еще не казалось таким невыносимым. Но вот потонули мы в тумане поля... Сгущался мрак. Безмолвие. Дождливая погода. Страшила черная, беспросветная, унылая дорога. И я почувствовал себя очень несчастным.

Однако утешал себя: на свете есть еще более обездоленные люди. Вот хотя бы возница, который этой же дорогой будет возвращаться один. Я хорошо поужинаю, согреюсь и лягу спать, а он, бедняга, будет мерзнуть на этакой стуже.

— Часто ли вам случается так ездить? — спросил я сведенным от холода ртом, с трудом выдавливая по слову.

— Как когда, — так же, с натугой, ответил мне возница, — когда пассажиры есть, тогда и еду. Случается через день, а то и раза два в неделю.

— Ох, несчастный же вы человек!

— Почему несчастный? Без хлеба не сижу, понемногу зарабатываю.

«Наверно, хозяйство разорил, поэтому и в возницы подался, — подумал я о нем, — бездарный, видимо, хозяин; встречаются такие неудачники среди крестьян».

— У меня, видишь ли, братец, земли нет, конь — все мое богатство, — будто угадав мои мысли, продолжал он.

— Ну, так вы действительно несчастный человек...

— Почему несчастный? Иногда я хорошо зарабатываю.

— Когда же вы хорошо зарабатываете?

— Случается. Пассажиры попадаются разные.

— «На чай» дают?

— Гостинец жалуют, а вот намедни целых пятьдесят рублей за три версты заработал.

Меня удивили и заинтересовали его слова: что за случай такой счастливый подбросил ему с неба пятьдесят рублей?

Уже собирался спросить, но по оживившемуся вознице было видно, что сам расскажет.

— Видите вон там фольварк? — показал он кнутом куда-то в сторону.

Я, признаться, ничего, кроме черной сырой мглы, не видел, как ни напрягал глаза, никакого фольварка так и не разглядел.

— Ну так что?

— Там когда-то жил пан, колдуном был. Узнал он, что в том сосновом лесу, который мы только что проезжали, французы закопали ящик с деньгами.

— Ну, ну?

— Так вот, искал он тот клад всю свою жизнь, да все напрасно. Так и умер, ничего не найдя, но перед смертью продал свой секрет немцам за границу. Видно, я этих немцев намедни и вез.

— Интересно!

— Да, братец, очень интересно. Если б я знал, что они едут клад разыскивать, то не пятьдесят рублей взял бы с них.

— Значит, они нашли? Рассказывайте все по порядку.

— Что ж тут рассказывать? Наверно, нашли, потому что столько денег мне задаром не отвалили бы. Приехали они с вечерним поездом, вот, к примеру, как и вы. Приехали вдвоем, высокие такие, с рыжими усами, и говор у них не польский и не русский, а неведомо какой, похож на еврейский. Но не евреи. Со мной говорили на ломаном польском. По их обходительности видно, что важные паны и не здешние. Наняли мою подводу, не торгуясь, до фольварка, но, приехав в тот сосновый бор, велели мне стоять и ждать. С собой взяли какую-то тяжелую длинную торбу — струменты были там что ли, слегка позвякивали. Зажгли ликтрицкий фонарик и подались с дороги в лес. Ждал я их, верно, целый час. Пона-

чалу не удивлялся: известное дело, — паны, разного насмотришься. Но, наконец, наскучило мне очень — а тут и дождь стал накрапывать. Да и любопытство разбирало. Тут и тюкнуло мне вдруг в голову, что они клад ищут. Вернулись, лопочут негромко между собой, у одного что-то небольшое в руках. У второго в руках торба, а у этого что-то завернутое в черный платочек, может, тот французский ящичек с деньгами. Что меня удивило, так это — большой радости на лицах не видно. Как и раньше, лопочут тихо, спокойно между собой и велят поворачивать назад. Я, конечно, повернул и отвез их на станцию. Как раз и поезд на Вильно подходил. Взяли они билеты, дали мне пятьдесят рублей и уехали подобру-поздорову.

— Странные вещи рассказываете! — даже вскрикнул я. — Да как они могли найти клад в лесу, ночью, в незнакомой местности?

— Немцы, братец! Мудрые головы — похитрее евреев будут. Я же забыл сказать, на вокзале они в какой-то план смотрели и мерную ленту имели при себе. А когда их вез, все на часы смотрели, сколько проехали. Спрашивали у меня по-польски про повороты в сторону от главной дороги.

— Ай-я-яй! Почему же вы хотя бы начальнику станции не сообщили, что немцы что-то в нашем лесу откопали?

— Э, братец, лес этот панский, а свяжись с начальником — так еще и в беду какую-нибудь попадешь… Сунули мне пять червонцев, я и молчу.

— Ну, а теперь вот вы жалеете?

— Почему жалею? Значит, на их долю выпало счастье. Немножко, может, жалею, что не попросил хотя бы сотню. Как думаете, дали бы или нет?

— Ай-я-яй! — только и мог я ответить, потому что вправду поверил: немцы выкопали-таки клад, зарытый в 1812 году французской армией.

Апатии у меня как и ни бывало. Показалось, что потеплело и что посветлело вокруг. Хотелось бежать, догонять что-то, созданное воображением. Правда, продолжалось это считанные минуты…

Возница умолк. Вскоре сник и я. Кляча наша ползла, как рак. Становилось все темнее, и дорога опять порож-

дала еле сдерживаемую тоску, леность мыслей, безнадежность. Дождь забивался за воротник, пронзительный ветер холодил спину. Через полчаса рассказ возницы уже казался давней-давней байкой или каким-то сном.

ФАНТАЗИЯ

Земной шар, окутанный кровавым туманом и сгорая в нем, совершал свой вечный путь в системе Солнца.

Гуще всего туман осел на просторах Беларуси.

Под громкий грохот пушек, ружейную и пулеметную трескотню, в отблесках страшных пожарищ раздавались истошные крики и страшные стоны убиваемых, резаных, помирающих с голоду людей.

Кладбища и тюрьмы переполнились. Грех спеленал каждое сердце. Кровью и слезами заплыли глаза.

Тени умерших предков в смертельной тоске стояли над распятой страной и отворачивались от своих наполненных смрадной запекшейся кровью кладбищ.

С растерзанным вконец сердцем великого гуманиста вылез ночной порой из неведомой потомкам могилы удрученный Франциск Скорина и двинулся в темном небе в свой родной Полоцк.

Длинные широкие полы мантии доктора лекарских и просветительских наук развевались по ветру, а яркий нимб вокруг печальной головы то разгорался, то меркнул.

Пролетая над слабо освещенным из-за боязни аэропланов Минском, тень доктора искала глазами тот госпиталь, где лежал при смерти от голодухи Янка Купала.

Увидев над темным домом сияющий ореол поэта, тень опустилась в тихой палате и стала над своим немощным другом.

— Как чувствуешь себя, брате мой? — без слов спросил доктор у стонавшего поэта.

Больной с трудом зашевелился и грустно посмотрел на гуманиста.

— Не муки тела страшны, — прочел Франциск Скорина в кротких голубых глазах, — душа болит.

— Лечу в Полоцк, хочу узнать, что теперь там? — сказал, немного помолчав, доктор.

— Всюду одно и то же... Что здесь, что в Вильно, что в Смоленске и повсюду в Отчизне милой... — проговорил пересохшими от жажды губами поэт.

Доктор грустно склонил голову на грудь и долго стоял так.

— На сходку! — сказал в беспамятстве Купала и пробудил от черных дум поникшую тень.

— Кому и на какую? — эхом отозвалась тень. Помолчала и вымолвила с горечью: — Могучий клич твой раздается уже давно и повсюду, от края до края, по Беларуси... А много ли явилось? Народ наш за долгие века неволи оглох и перестал быть отзывчивым.

— Что делать? — снова, как в горячке, застонал Купала.

— Что делать? — переспросил доктор. — То, что ты делаешь. Но чтобы народ нашего края понял необходимость схода. И не собраться ли сначала только нам, пробуждавшим его к добру во все века и ежечасно?

— Хорошо... — прошептал поэт и утих.

Тень вылетела из палаты и направилась не в Полоцк, а повернула назад, к Ошмянщине.

Издалека увидел он на могиле в Жупранах огромный яркий ореол над нашим народным Баяном*.

Франциск Скорина спустился у костела и нарочно задел полой мантии спящего пьяного легионера.

— Пся крев! Холера! Быдло белоруске! — закричал потревоженный доктором жандарм, а ему эхом отозвался из-под земли жутко-болезненный стон отца Возрождения.

— Не стони, брате мой дорогой! Быстрее бери ты свою «Дудку» и «Смык» и пойдем на сход скликать! — сказал ему вместо приветствия доктор.

Из могилы поднялась тень усатой фигуры.

— Осипла моя дудка, а у смычка нет скрипки... — жаловался Богушевич и добавил, подумав о своей музе:

Каб ты так іграла,
Каб немарасць брала!..

* Баян — имя древнерусского певца и сказителя, упоминаемого в «Слове о полку Игореве».

— Твоя «Дудка» гремит, мой брате, на весь край, а к «Смыку» создала «Скрипку» Тетка. Сейчас пойдем в Лидчину на то сельское кладбище, прежде всего на сход ее позовем, ибо эта заботливая приятельница лучше всех умеет скликать народ.

И две тени рядышком полетели в Лидчину.

Переполненная задором и энергией, хотя худенькая и бледная, уже сама летела к ним поэтесса и лирически, тихонько пела в ответ на свои мысли:

Можа, хто з дзетак скруце жалейку,
Унучку паломанай ліры.
І так заіграе, што ўсенька зямелька
Пачуе мой одгалас шчыры…

— Ах, браточки-голубочки, — заговорила она без промедления. — Надо так: один на восток, другой на запад, а я кое с кем кликну тех, кто на чужбине почивает, — и тотчас же умчалась.

Вскоре тени умерших и души живых стали стекаться на свой Парнас со всех сторон света.

Покашливая, брел из далекой Ялты густобровый Максим Богданович. Спешил, как всегда, из Галиции, из своей могилы в Закопане, запыхавшийся Иван Луцкевич. Выкарабкавшись из-под груды трупов братской могилы в Ковне Лявон Гмырок. Быстро шел в шубе и в зимней сибирской шапке из Кракова длинный Алесь Гарун. Важно и спокойно двигался из Минщины пан Винцук Дунин-Марцинкевич. Как в беспамятстве приближался из Киева прозрачно-бледный Сергей Полуян с синим шнурком на шее… Тяжко топал рассудительный коренастый Карусь Коганец*. Шли туда и другие.

А земной шар, сгорая в кровавом тумане, летел и летел по своему вечному пути, как будто ничего и не происходило.

* Все упомянутые в «Фантазии» личности — белорусские просветители, поэты, писатели — поборники белорусского Возрождения.

АПОСТОЛ

Адвеку мы спалі, і нас разбудзілі...*

Пламенный коммунист и давний поборник белорусского движения товарищ Курапа (партийная кличка Жабин) с отвращением оставил шумный, пыльный и голодный город и поехал просвещать деревню.

На митингах и разных собраниях он всегда говорил, что не деревня виновата, а тот, кто мало заботится о ее просвещении.

— Так надо, товарищи, ехать в деревню!

Курапа хорошо говорил по-белорусски, и как только Красная Армия дала возможность снова объявить независимую Советскую Беларусь, он сразу же стал инструктором отдела так называемого «управления» и вытребовал командировку в провинцию.

Набрав красной литературы на всех местных языках, кроме белорусского, так как литература на этом языке еще до сих пор считалась контрреволюционной выдумкой белорусских националистов, разлегшись на душистом, но несколько пыльном сене с дикого сенокоса бедного хозяина, ехал он на паре рысаков по Ошмянскому тракту и любовался красивой, тихой, задумчивой природой белорусского лета.

Чтобы отвлечься, коммунист обратил внимание на своего возницу.

Тот молчаливо правил лошадьми и время от времени как-то странно чмыхал, будто недовольный чем-то, но не оглядывался на своего простоватого пана.

«Какая, однако, чисто буржуазная черта в способе размещения кучера и седока, — подумал со знакомым чувством язвительности товарищ Жабин. — Он как бы более низкое существо, сидит впереди, а я, коммунист, будто бы и пан, сижу сзади...»

— Давайте, товарищ, сядем рядом! — крикнул он вознице, но тот в грохоте колес не услышал и только лишний раз, как показалось коммунисту, странно, по-своему фыркнул.

---

* Автор слов и музыки песни неизвестен. Была гимном белорусских революционеров-демократов.

Тогда Курапа снова предался размышлениям. Сначала он немного утешился тем, что в его голову пришла такая важная идея — садиться на подводе рядом с возницей. Но радость была недолгой. «Я же мог сесть рядом с ним еще в городе, сразу же», — подумал он.

Тоскливо.

Уже месяц, как Курапа бросил курить из-за страшной дороговизны табака и до сих пор довольно стойко терпел и не поддавался искушению, хорошо знакомому только курильщикам. Но тут, среди безлюдного, тихого, задумчивого поля, на широкой пыльной дороге, папироса и дымок от нее стояли перед глазами как тень чего-то необычайно приятного.

— Товарищ, вы курите? — несколько громче крикнул Жабин, чтобы на этот раз возница услышал его. Потом поправился и повторил тише: — Вы, товарищ, дымите?

Крестьянин не услышал и на этот раз. Он снова по-своему чмыхнул, но голову не повернул.

— Как ваша фамилия? — еще громче спросил у него коммунист и, приподнявшись на руке, другой тронул его за плечо в серой, густо запыленной свитке.

— Я одинокий, — отозвался наконец возница, полуобернувшись, и Жабин увидел давно не бритую седую щетину и подстриженные, седовато-желтые усы под носом.

— А фамилия какая?

Возница помолчал, будто колебался: говорить или нет, но снова немного повернул голову и под утихающий стук колес ответил:

— Я пишусь без фамилии, по отцу… Янучонок. А люди прозвали Шашок.

— Католик или православный?

— Мы польские.

И снова чмыхнул.

Глядя на усы возницы, Курапа убедился, что возница — курящий человек. И удивился, почему так долго он не курит, но попросить табака стеснялся и промолчал, хотя и с большим усилием.

— А как у пана фамилия?

Тоже немного подумав, коммунист коротко и без особого удовольствия представился:

— Жабин... инструктор.

Возница на этот раз расслышал хорошо и более доброжелательно сказал:

— *Струкар* — это, наверно, имя русское, потому что у нас таких нет. А пан Жабинский был у нас...

Курапа покраснел.

— Долой панов! Их надо убивать, как собак. Правильно, товарищ? — крикнул он в самое ухо вознице и с облегчением подумал: «Цепи непрриязни надобно ррва-ать срразу».

— Правильно, — покорно согласился возница.

На этот раз Курапа не утерпел, достал из кармана клочок мятой бумаги, оторванной от газеты, натер из листочков сена мелкой трухи и стал скручивать цигарку.

Кони неожиданно дернули, и труха рассыпалась.

Крестьянин будто нюхом чувствовал, что делает его седок. Оглянулся, незаметно усмехнулся себе под нос и полез в карман, бросив вожжи.

— Я дам пану закурить.

— Будьте любезны, товарищ! Хотя напрасно вы оскорбляете меня паном. Я такой же пролетарий, как и вы. И вообще слово «пан» теперь совсем без надобности.

— Простите: известное дело, мы темные...

Одному коню понадобилось остановиться на некоторое время, и возница с седоком делали самокрутки, доставая табак из кисета возницы. Возница молчал и перестал чмыхать.

А когда кони двинулись, они с наслаждением задымили, возница подсел ближе к Жабину и, не глядя на него, без особой, казалось бы, причины заговорил:

— Нам бы, товарищ, ксендза откуда-нибудь посоветовали бы. Ксендзы вместе с поляками поубегали. Люди родятся, умирают, а мы не знаем, что с ними делать.

«Вот она, правильность моих мыслей и взглядов на деревню. Город организуется. Люди толпятся по разным новоиспеченным учреждениям. Выполняют «работу» — пустую, непродуктивную... Прогнал бы их всех, чертей, в деревню, просвещать ее, революционизировать...»

Так рассуждал Курапа, соображая: очень ли резко или несколько мягче сказать о ксендзах.

— Теперь можно и без ксендзов, товарищ.

Возница чуть заметно и с особым смыслом усмехнулся, повернулся к лошадям, подбодрил их. Когда они побежали трусцой, он, докуривая цигарку, сказал:

— Без них нельзя… известное дело, люди родятся, умирают, что с ними делать?

Коммунист с состраданием и с некоторым высокомерием посмотрел на согбенную спину возницы и не стал ему возражать.

Взобравшись на пригорок, увидели в лощине хаты и хлевы среди зеленых деревьев. Крестьянин вздохнул, а Курапа обдумывал, что он будет сейчас говорить собранным на сход людям.

Деревня не проявляла никаких признаков жизни. Она, ее деревянные, низкие, под соломенными крышами постройки, так же, как и поле, были тихо-задумчивые или даже бездумные, безмолвные, серые.

Пусто и безлюдно было на улице. Вот кто-то на стук телеги высунулся из-за угла сеновала и уставился на него, чужого, в черном, городского. Раз! — моментально исчез и пропал бесследно за сеновалом.

Напротив одной из лучших на вид хат подвода по велению Жабина остановилась. Коммунист соскочил с телеги и ходил возле забора, чтобы размять затекшее тело и лучше разглядеть, что происходит на концах улицы, собираются ли люди. Возница, нацепив повод на кол в том же заборе, пошел во двор — оправиться и попросить ведро. Как только он закрыл за собой калитку, из хлева высунулся дед и подзывал возницу к себе рукой.

— Шашок! Шашок! — шептал дед. — Иди сюда, чтоб ты сгорел, какого там черта коммуниста привез?

— Нех бэнде пахвалены*... — подал руку деду грустный Шашок.

— Во веки веков! — ответил дед и сразу же пристал опять с расспросами: — Ну, ну?

Шашок, зайдя на сеновал, рассказал все, что знал.

— Какой-то комитет хочет создать, — закончил он рассказ.

---

* Католическое приветствие при встрече.

— А чтоб на них паралич с этими комитетами, — охал дед, — реквизировали моего коня вместе с парнем на работу. Две недели гоняют, а тут жатва, сенокос. Поляки замучили...

— По-простому говорит, — усмехнулся Шашок.

— Чтоб не узнали. Стерва — выругался дед.

Когда возница вышел на улицу с ведром, Жабин недовольно процедил сквозь зубы:

Где вы столько пропадали?

Искал, искал, никого нет, все в поле.

Когда кони были напоены, Жабин неожиданно для возницы скомандовал: «Вези на поле!»

Только они завернули за гумно, как какой-то верховой, приникши к конскому загривку, бросился из-за стога соломы к лесу. Коммунист инстинктивно схватился за кобуру револьвера.

— Прячут коней от «учета» в лес, а я вози и вози, — бурчал грустный Шашок.

— Вези на дорогу, я им покажу! — крикнул обозлившийся Жабин, и телега повернула назад.

Чьи-то глаза смотрели сквозь щель в гумне, как телега запылила по дороге.

НЕУДАЧА

I

Временный комиссар N-ской фронтовой чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и дезертирством, товарищ Батрачонков, ехал на автомобиле в своей матросской куртке домой на праздник Ильи, а заодно хотел узнать, как идет революция в деревне.

Илью празднуют, как известно, двадцатого июля по старому стилю, когда начинается жатва. В этот день в Залужанском приходе, откуда родом Батрачонков, после отправления службы в церкви начинается за околицей ярмарка и ярмарочное гуляние. Собирается здесь весь приход, прихо-

дят парни и девчата из всех окрестных деревень, а заядлые любители погулять приезжают и из очень дальних мест.

До залужанской церкви нет, пожалуй, и двух верст от Батрацких Дворков, где живут Батрачонковы. Комиссар с самого выезда из города и аж до этой старосельской гати все время вспоминал свое далекое детство и ярмарки в Залужье и думал, как лучше поступить: пойти завтра на ярмарку вместе со всеми дворковскими парнями и девчатами пешком или задержать автомобиль на один день и поехать на нем? Поехать позднее, прямо на ярмарку, после богослужения?

Он невольно улыбнулся, подумав, как автомобиль с ним, комиссаром, и с кучей девчат прокатится посреди самого ярмарочного сборища. Все люди смотрят и спрашивают: что за чудеса, кто это такой?

— Да здравствует революция! — громко крикнул Батрачонков. Но шум машины и свист ветра заглушили его слова.

— Что вы, товарищ? — услышал, однако, шофер и оглянулся.

— Ничего, ничего… — смутился матрос.

У самых Дворков на большаке также есть гать, и Батрачонков вспомнил земского начальника Шальновича и то, как он всегда вязнул там со своим автомобилем.

«Подумать только: бывший подпасок Артемка Батрачонок — второй человек, который едет по этому большаку на автомобиле; первым был Шальнович, второй он — вот теперь — матрос, — и тихонько прошептал: — Да здравствует рабоче-крестьянская революция.»

Лет десять, не более, минуло с той поры, когда Шальнович первый раз в этом глухом углу показал людям новое чудо техники — машину-самокат.

Было это осенью, когда крестьяне копали картошку и добирали коноплю. Погода стояла сухая, солнечная, только прошедшие раньше дожди оставили лужи в низких местах дороги и совершенно размесили гать.

Вдруг что-то необычное зашумело, выкатилось из-под леса, и закружилась пыль на большаке за дворковскими гумнами. Быстро-быстро, во всю прыть катится панская карета… и без коней! Все побросали картошку и коноплю — ки-

нулись со всех ног смотреть. Бабы со страху чуть сознания не потеряли — так испугались, и пожилые мужчины струхнули. Только кто-то из молодых, мир повидавших, крикнул весело и громко, чтобы все слышали: «А, вот оно что!.. тумо-би-ля» — и влез на забор, чтобы дальше было видно, чтобы видеть аж за холмами. Петракова собака сначала сидела, а потом как гавкнет! И пулей полетела вдогонку за машиной. Мальчишки — за собакой. Не успели они забежать за гумна, как машина скрылась за горой, нырнула к гати. И засела.

Батрачонок вез тогда с хозяином корчевья и сучья с вырубки. Хозяин остался настилать перед машиной ветки, а мальчика земский погнал в Дворки за мужиками, чтобы шли вытаскивать из болота самокат.

Комиссар стряхнул с себя это воспоминание: что было, то было. Кто бы мог предположить, что так быстро и внезапно все рухнет?

Минуло, и теперь на самокате, как когда-то земский, едет он, комиссар рабоче-крестьянской революции. Его машина благополучно переехала грязное старосельское поле; хотелось так же благополучно переехать и свою гать; было бы очень неприятно и стыдно, если бы и его, как того господина, из болота спасали мужики.

Автомобиль весело мчался под гору, и вот за рекой начинается бывшая земля известных панов Шамёт-Головинских. Широко и далеко раскинулись угодья... Вот за той рощицей раньше, когда он еще со всеми вместе ходил в монастырь на Малую Пречистую молиться Богу, видны были белые, словно из мела, стены панских строений. Теперь их нет, — комиссар безразлично посмотрел в ту сторону, — нет, мужики сожгли... Торчат только какие-то столбы, черные, как сажа, должно быть, обгорелые. Теперь нет тех белых зданий, и даже поле, засеянное не сплошь, а только отдельными участками зеленых яровых, даже оно вроде бы выглядит более скудным.

Ничего...

Ничего, из-за этого не становится меньше удовольствие, что оно, поле, уже общенародная собственность, и настанет время, когда оно будет выглядеть еще лучше, чем выглядело при панах.

Позади осталась извилистая речка с кустами по берегам и сверкающая на солнце там, где кустов нет. Обозначенная ольшаником, вилась она узкой лентой посреди широкого зеленого лога, нынешним летом еще некошеного, хотя завтра Илья.

От лога начинался пологий склон, засеянный льном. Отошла река, отбежал и лен, вот они и картофельное поле минуют. С высокого места виден далеко-далеко весь простор: желтая рожь, серые хаты с зелеными коноплянниками, печальное кладбище в стороне и синяя каемка леса вокруг.

Тихой грустью повеяло с этого простора на комиссарову душу, хотя и старался он радоваться, что панов нет и все стало общей собственностью народа.

Тихой грустью потянуло на него с этой пустыни, когда невольно приходило сравнение с шумной и беспокойной жизнью в N-ске, особенно теперешней, когда придвинулся фронт и прибыла «чрезвычайка» во главе с ним, Батрачонковым.

II

Правда, гать он проехал благополучно, не завяз, и в баню успел — помыться перед праздником, но в бане все с ним, начиная с шофера, обходились как с паном: старались подать воду, веник, просили разрешения попарить ему спину и совершали еще сотню иных, мелких, но противоречащих его идейности поступков. Старики, будто сговорились, называли его на «вы». «Вы, Артемка» или «Вы, Халимонович», что очень нравилось его отцу, но начисто отравляло жизнь комиссару. Никто ничего у него не спросил, хотя испокон веков здесь велось, что всякого нового человека, солдата или гражданского, некоторое время просто допекали расспросами о новостях. И более того: никто не пришел в их двор, где под навесом стоял непривычный для всех дворковцев чудо-самокат. Боялись или не хотели?

Пока у Филимоновых, придя из бани, распивали привезенную Артемкой бутылку самогонки и закусывали са-

лом, купленным за три зеленые «керенки» у соседа-«кулака» (как обозвал его некстати тут, среди своих, шофер), по всем дворковским хатам, а через портного из Залужья и по всем залужанским раззвонили, что Батрачонок-комиссар приехал на машине делать завтра ревизию в Залужье у попа и привез с собой бочонок самогонки и аж пятнадцать футов «керенских» денег. «А может, есть и царские, кто его знает», — предполагали бабы.

Церковный староста побежал к попу и так напугал матушку, что та даже сознание потеряла. Батюшка поехал на ночь глядя к своему приятелю-аптекарю, у которого племянник был тоже в каких-то комиссарах. Аптекарь написал племяннику письмо, а батюшку спрятал в аптечном подвале.

Ночью пошел дождь. Утром, прослышав, что залужанский праздник почему-то не состоится, комиссар, страшно искусанный за ночь блохами, хмурый, невеселый возвращался в N и перегнал на старосельской гати телегу попа.

Через день комиссар был арестован и отдан под суд за спекуляцию, пьянство и непозволительную отлучку со службы, используя притом для личных нужд казенный самокат.

ВСЕБЕЛОРУССКИЙ СЪЕЗД 1917-го ГОДА

Весной 1918-го года, красивым теплым утром, обещавшим хороший день, я покинул Смоленск, уезжая на лето домой.

Подвозили меня кооперативщики, приезжавшие в Смоленский кооперативный Союз за товарами.

Нашел я их прямо на рынке, где по нашенским серым одеждам, по мягкому овалу лица, по говору и даже по лошадям и подводам догадался, что люди из наших краев.

Все они оказались из соседней с ним волости, и один из них сразу же согласился подвезти меня за очень небольшую плату.

Человек небольшого росточка, сухорукий, шапку носил сдвинутой со лба назад, говорил козлиным тенорком и был излишне разговорчивым. Звали его Кузьма.

Мы уже проехали верст двадцать, а он ни на минуту не умолк и уже много чего успел рассказать о теперешней жизни в наших краях.

Раза два услышал я от Кузьмы, что их кооператив называется «Беларус». Это меня удивило. «Однако, — подумал я, — это, видимо, никак не связано с нашим возрождением». И с этого названия вытаращилось на меня страшное пугало ять (ѣ), и закрутились собачьими хвостами два русификаторских эса (с)...

Но все же было любопытно. Объехав чуть ли не все крупные города на родине, я только в Могилеве видел гостиницу с названием «Беларусь», а так повсюду в названиях не было ничего, что напоминало бы имя белоруса в «Сѣверо-Западномъ Краѣ Россіи-матушки». Были «Москва», «Краковы», даже «Парижи» и «Неаполи», а «Беларуси», за единственным исключением, не было. Поэтому название кооператива меня заинтересовало.

Тем временем мы подъехали к горке и слезли с телег. Подводы потихоньку поползли наверх, а подводчики собрались вместе и занялись скручиванием цигарок, чтобы, взобравшись на гору и сев в телеги, быстрее поехать и курить.

Но неожиданно Кузьма спрашивает у меня при всех:

— А что теперь с Беларусью будет после того прошлогоднего съезда?

— Какого съезда? — еще более удивился я тому, что мои земляки спрашивают о Беларуси, так как привык к их полной неосведомленности. Думал, что в нашей стороне только в моей деревне немного знают о своих национальных делах, и то благодаря мне.

Парни же посмотрели на Кузьму и засмеялись.

— Мы в прошлом году посылали его делегатом на съезд в Минск создавать свою республику, — сказал самый бойкий.

— Чего ж, дурни, смеетесь? — добродушно цыкнул на них Кузьма.

— А почему ты удрал со съезда? — пошутил другой.

— Разве я говорил вам, что удирал? — возмутился Кузьма и не без гордости добавил: — Я, как лев, защищался, а они — «удрал»...

Бойкий парень прищурил глаз, сдвинул шапку на затылок, хорошо изобразив Кузьму, и его козлиным тенором, как он, махая сухой рукой, вдруг затянул:

Спрадвеку мы спалі, і нас узбудзілі,
Сказалі, як трэба рабіць,
Што трэба свабоды, зямлі-і-і...

Даже я не смог удержаться от смеха. Смеялся и сам Кузьма.

— Вот дурень-то, — плаксивым голосом заговорил он, — думает, что надо мной смеется... Ты, братец, над собой смеешься!

— А где вы научились петь нашу марсельезу? — спросил я у парня.

— Так он же, он всю волость научил, — увидел я палец, наставленный, как штык, в грудь Кузьмы.

Кузьма ударил парня по руке, и тот засмеялся:

— Это ж наш герой! Свою республику создавал!

— Вот же темнота! Господи Боже, вот же наша темнота! Что с вами с такими сделаешь, — вопил Кузьма, ища у меня поддержки.

Когда мы сели на подводы, Кузьма закурил, перестал шутить и спокойно сказал:

— А я хоть немного их просветил. Сами захотели назвать наш кооператив «Беларусом»...

Все услышанное было для меня большой новостью. Ничего подобного я не предполагал встретить в глухом углу Смоленщины, от которого ближайшая железная дорога в ста верстах. Я не узнавал своих селян.

— А вы, дядька, давно... такой? — спросил я.

— С прошлого, братец, года, после того съезда.

— Интересный был съезд? — притворился я незнайкой, чтобы в рассказе было больше непосредственности.

— Разве вы ничего не знаете? — со скрытой укоризной повернулся ко мне Кузьма. — А я, признаться, подумал,

что вы из «народных». Ученый, из Смоленска едет и по-белорусски говорит. Верно, думаю, народный человек...

— Кого вы называете народными людьми?

— Да этих, которые хотят, чтобы наше все было, чтобы, значится, на ноги поставить Беларусь.

— А почему вы об этом не спросили?

— Ждал, может, вы что скажете. Да и теперь... — он потупил голову, — видите... свои же смеются.

— Ну, хлопцы шутили, на них не надо обижаться.

— Да я и не думал обижаться! Известное дело, хлопцы молодые, им бы только дурачиться. И они не такие, как вы, может, подумали... Дружные хлопцы... Надо мной они смеются, но если бы вы им что-нибудь против белорусов сказали... услышали бы кое-что.

— А как на вас смотрят большевики вашей волости?

— Пусть как хотят смотрят, я их не боюсь! Какие там большевики — горе одно. Я настоящих большевиков еще не видел. А ту пьяную черномазую подлюку, что наш съезд разогнал, если бы где-нибудь поймал, то сразу бы ему каюк сделал, хотя душегубства не люблю.

— Почему же такая злоба к нему?

— Потому, братец, что он бил наших людей, делегатку бил. Такая девушка, что он ей в подметки не годится, а он ее бил сапогом, топтал ногами...

Кузьма вздохнул.

— Как же так? — своим вопросом вызвал я его на продолжение рассказа.

— Это был последний день съезда. Поздно уже, ночь, а у нас в театре, где съезд проходит, ну просто как на Пасху в церкви. Как-то и радостно, и тоскливо, и непонятно, что с тобой делается, христосоваться хочется со всеми людьми. Это ж не шутка: республику свою, Беларусь несчастную, на ноги ставим, сейчас правительство народное выбирать будем... А тут и крикни кто-то: большевики приехали нас разгонять. Что за беда, думаем, кажется же против их никаких постановлений не принимали, контрреволюционеров среди нас нет: все больше мужики, солдаты, народные люди из мужиков. Хотим, чтобы все народу шло: и земля, и леса, и власть — за что ж они разгонять нас будут? По-ихнему ж

хотим, только чтобы, значится, без непорядков, без всякого вреда. Мы же на своей земельке, а среди них — всякие приблудные, что чужого края не щадят, без надобности уничтожают; известное дело, за войну собралось их на фронте разных, не столько добрых, как негодников. Нет, кричат, выходи! Ружьями угрожают, присыпало их к дверям, как нечистой силы. И все народ не нашенский, дерзкий, без понятия. Кричат, гонят, а черномазый, начальник ихний, вперед вылез и что-то пьяное там бормочет. Видно, что человек упился и не понимает, куда залез. Не дадимся, думаем мы! Загородились скамейками, котомочками своими с харчами. Да где там, разве ж с голыми руками оборонишься от такой уймы. Вижу я и стоящие со мной рядом, что бросилось это зверье, чтобы забрать наших народных людей. Бросились и мы спасать их. А там целая бойня! Наши солдаты схватились с теми, что явились нас разгонять. Колошматят друг друга, тузят. Вижу я, на том месте, где в театре представление показывают, впереди всех защищается наша делегатка, бойкая девушка, она такие речи на съезде держала, что прямо хватало за сердце. И вот подходит к ней черномазая гадина, и что-то, усмехаясь, говорит ей, видать, оскорбительное для нее. А она вдруг раз в карман — вытащила маленький черный левольверчик и наставила на него — у меня аж сердце упало. Хлоп! — осечка. Тогда она этим левольверчиком как хряснет его по челюсти, он аж согнулся. И тогда поднялось там такое, что и пересказать трудно. Набросились его солдаты на девушку вместе с ним. Повалили на пол, бьют чем попало, прикладами, ногами, за волосы таскают. Насилу наши вырвали беднягу из ихних рук. Да и я ее защищал, не стоял сложа руки. Но тотчас же получил такой удар в спину, похоже, прикладом, что думал живым от этих бестий не вырваться. И вижу: ведут уже некоторых народных людей, общественников, под конвоем во двор. Пропало наше дело, надо спасаться, удирать. Бегу к дверям: стой, говорят, и ты там дрался? Я, недолго думая, шмыг назад, схватил чью-то большую черную папаху, что на полу валялась, насунул на голову и снова к дверям. Стой! — кричат, — и ты там дрался? — Нет, — говорю, — товарищи, я не такой, я не дрался, а тот, что дрался, вместе с другими в заднюю дверь выскочил. По-

верили, не узнали и выпустили на улицу. А там возле дверей полно грузовиков-автомобилей с пулеметами, с солдатами, и на улице полно солдат, не разобрать, кто свой, кто чужой. Тут меня поймали и погнали вместе с другими арестованными в какой-то подвал. Просидели мы ночь. Крепко взяло всех за сердце: вот тебе, Беларусь несчастная! — думаем: бил тебя царь с панами, а теперь простые приблуды за то же взялись. Не подняться тебе на свои ноги, бедная. Плакали мы, братец мой, сидя там, правду говорю — плакали.

— А теперь ведь вы, дядька, надеетесь, что будет Беларусь?

— Теперь! Теперь, братец, вся наша волость, как один человек, грудью за нее станет. Как же ей, в таком разе, не быть? Не мы, так наши дети поднимем-таки ее на свои ноги.

Кузьма умолк, гикнул на коня и погнал его, словно лететь собирался — восхищенный, возбужденный, смелый.

В 1920 ГОДУ

Рассказ «народного» человека

Ради важных нужд нашего народного дела осенью 1920 года я переходил польско-московский фронт и одну ночь провел в нейтральной зоне.

В грязной и затхлой каморке местечкового заезжего двора проспал я не менее пятнадцати часов подряд и проснулся от гомона двух мужских голосов в соседней комнате. Нас разделяла тонкая деревянная перегородка, и весь разговор был отчетливо слышен. Но, занятый невеселыми думами о своем пропавшем проводнике, я долгое время не обращал внимания на говорящих.

Сон мой был тяжелым и кошмарным. На запыленном стекле маленького окна, дождавшегося наконец нескольких желтых лучей заходившего осеннего солнца, беспрестанно билась, звенела и умирала единственная живая муха, и с ее жужжанием связался мой сон, полный воспоминаний о вчерашнем переходе московского фронта.

Недалеко от нейтральной зоны мы попали под обстрел и должны были два часа, показавшихся вечностью, лежать в болоте между кочками.

Проводника моего, крестьянина из ближайшей деревни, сознательного, преданного всей душой нашему делу человека, когда он, оставив меня в болоте, пополз на берег в разведку, — схватили красноармейцы-москали и, ударяя прикладами, погнали в свой штаб. Мы рассчитывали, что он встретится с красноармейцем-белорусом, который при моем первом переходе помог мне переправиться. Но, видимо, их уже сменили, расчет наш не оправдался, и человек пропал.

Мысль о нем теперь страшно мучила меня.

Я скрывался в его хате, идя на восток, целых три дня; познакомился с его семьей, привязался к его детям, которые так мило декламировали мне «Адвеку мы спалі», — и вот теперь мысль о наступившем для них сиротстве грызла меня, отравляла мою радость, что сам убежал из-под носа московской стражи и копии всех важных постановлений Главного Совета наших восточных организаций, зашитые в подкладке пиджака, донес сюда невредимыми (пальто бросил в болоте).

«Что теперь думает Авдотья о «НАРОДНЫХ ЛЮДЯХ», погубивших ее мужа? А она ведь так старалась услужить мне, так вовремя накормить меня всем лучшим, что было у них, чтобы хоть таким образом выказать свое женское сочувствие «народному делу». И вот я, «важный народный человек», как она с гордостью хвалилась своей матери, невольно стал причиной ее великого горя».

«Только бы не расстреляли, а там как-нибудь удастся его вызволить», — не выходила у меня из головы мысль о проводнике.

А расстрелять его могли, потому что он уже был на подозрении как «белорусский верховод» среди окрестных селян, враждебно настроенных против московско-большевистского нашествия.

Была у меня и другая забота: еще надо перебраться через польские заставы, крайне охочие к деньгам и избалованные спекулянтами, совершенно свободно переезжающими фронт.

А денег у меня осталось мало: десять тысяч советских рублей, одна царская пятисотка и двести польских марок*.

Я думал: удовольствуется ли польская стража на фронте пятисоткой и можно ли часть денег оставить хозяину заезжего двора, чтобы переслал семье проводника?

В этот момент гомон за стеной усилился: там тоже поминали царские, думские, польские, советские...

Сперва мне казалось, что хвастаются друг другу своими денежными операциями спекулянты, заполнившие заезжий двор по дороге из Вильно в Минск и из Минска в Вильно.

Но я ошибся.

— И вот, братец мой дорогой, — говорил один, — вырвался-таки я из этого плена, а вместе с тем и от своих любовниц.

— Ну а как же твоя школа? — спросил его друг.

— Школа? Чтоб она сгорела. Все лето не мог выехать, должен был то в ней сидеть, то ездить на разные курсы и съезды по народному просвещению. Напоследок отвели мне так называемую школьную десятину, и чтобы я на ней сам работал да еще и мужикам показывал, что и как надлежит делать по-культурному. А тут жрать нечего, никаких земледельческих орудий труда не выдали... Пальцем я буду землю копать, что ли? Взял и удрал в Польшу, чтоб они сгорели со своими порядками!

— Так... Ну а как же теперь твои зазнобы?

— С ними просто беда, братец мой милый.

— Плачут по тебе?

— А леший их знает! Дело не в слезах, а в том, что в конце концов загнали меня в угол, чтобы женился. Поверишь? — должен был прятаться от мужиков. Выхожу я от одной, а отец другой уже караулит, чтоб меня поймать и взять, как говорится, на цугундер**...

— Как же ты их столько одновременно имел? — смеется его друг.

— Как? — тут заведешь хоть сотню, если жрать нечего. Ты понимаешь, советского жалования учителю хватает на каких-нибудь пять фунтов хлеба. А мужики разжирели,

* В двадцатые годы наравне со злотыми ходили и польские марки.

** Взять на цугундер — взять на расправу, привлечь к ответственности.

полные мешки набили денег, а чтобы учителю или на школу кто-нибудь дал — ни копейки! По старой привычке: школа казенная, так полена дров никто не даст, чтобы класс натопить, — казна должна давать. Вот как они говорят. Вижу я, что или совсем пропадать, или изворачиваться как-то надо. Ну и решился. Зайду к какому-нибудь хозяину, где есть девица на выданье, и начну дурака валять: и про любовь, и про свадьбу, и про то, что теперь все равны, что и учителю не грех на хорошей крестьянке жениться... Развесят они уши и думают: «А может, и правда женится на нашей курносой?» И ну меня угощать, и ну меня подкармливать, тут тебе и сала, и сыру, и всякого лиха...

— Какого же лиха?

— Известно, какого: долго ведь голову дурить не удастся, надо кончать или удирать. Покручусь, покручусь и начинаю комедию — с другой гулять, потом с третьей. И так развелось их у меня в нашей округе десятка два. Дошло до того, что носа нигде не могу показать: отцы ловят, пристают, когда же свадьбу буду делать? Девки между собой ссорятся, одна на другую напраслину возводят, позорят, на меня ропщут. Одним словом, сделался я как бы племенным быком на животноводческой ферме, спасения себе нигде не мог найти.

— Однако же выкрутился?

— С трудом, братец мой! Одна пылкая не удержалась, забеременела. Приходит ко мне еженедельно с отцом или с матерью, подступает как с ножом к горлу: женись! Плачет, голосит, то просит, то угрожает в совет пожаловаться.

— О, это уже не шутки!

— Какие, к черту, шутки... Пожаловался-таки отец на меня в совет, что девку с пути сбил, а жениться не хочу. Вызывают меня, раба божьего, на растерзание: «Что же вы, товарищ учитель, делаете? — говорит комиссар. — Мы вас заставим на ней жениться». — «И принуждать не надо, — говорю, — товарищ комиссар, пусть хоть сейчас ко мне в жены идет». Комиссар мой и осекся. «Почему же они жалуются?» — «Не знаю, — говорю ему, — должно быть, хотят венчания в церкви, а я хотя и беспартийный, но коммунист в душе и признаю только свободное сожительство с женщиной». Нечего ему сказать, видит, что наскочила коса на камень...

Собеседники похохотали, потом умолкли на какое-то время, как бы прислушиваясь, что там за моей стеной.

— Если человек захочет спать, то и шум ему нипочем, — услышал я голос учителя, — да и не так уж громко мы говорим, — добавил он.

Хозяин предупреждал, чтобы мы потише себя вели: там спит какой-то проезжий господин.

— А, ничего...

Они что-то пили, может, ханжу, и закусывали дрочеными*, расхваливая их, курили очень вонючий табак, харкали, плевали, шаркали ногами и за разговором не слышали, как я осторожно открыл форточку, впустив в каморку свежий воздух. За окном на стене сеновала еще лежали последние лучи солнца. Где-то в стороне топал конь, и изредка долетали голоса — хозяина-лавочника и какого-то мужика. Потом все надолго утихло, потому что в будние дни крестьяне — редкие гости в местечке.

— Ну, а что у тебя, братец ты мой? — спросил тот, который удрал от большевиков. Он был в приподнятом настроении, только что рассказав, как за небольшую взятку большевику благополучно перешел линию фронта, а евреев, шедших с ним вместе, поймали и повели в штаб.

— Что у меня? — переспросил оккупированный Польшей, набрал полные легкие воздуха и шумно выдохнул, видимо, готовился рассказать все со смаком и подробно. — Я «примазался» к белорусам, получаю паек в белорусской армейской организации и пока что — горе в сторону! Теперь вот сюда приехал вербовать желающих.

— Погоди, — перебил учитель, — так, может быть, ты меня завербовал бы? Что для этого надобно? Я тоже белорус.

— Ничего, — ответил ему вербовщик, — только язык придется немного поковеркать.

— И всего-то? Да мне это не страшно, с зазнобами я только по-белорусски и говорил.

— А писать по-белорусски умеешь?

— Пробовал. У нас пошли было слухи, что будет Беларусь, поэтому придется в школах обучать по-белорусски. В Гомеле на съезде заведующих отделами народного просве-

* Дрочена — кушанье из смешанных с молоком и мукой или тертым картофелем яиц.

щения что-то в этом роде постановили, но никакого приказа учителям не было, вот я и бросил. Я даже литературу белорусскую немного знаю. Слышал ли ты когда-нибудь «Тараса на Парнасе»?

— Нет. А что это за штука?

— Ну, слушай:

Ці знаў хто, братцы, з вас Тараса,
У палясоўшчыках што быў, —
На Пуцявішчы, ля Панаса,
Ён там ля лазні блізка жыў.
Што ж, чалавек ён быў рахманы,
Гарэлкі ў губу ён не браў…

— Стой! — перебил его офицер. — Так ты у нас сейчас деятелем белорусским будешь. Я признаться, не жалую этот язык, ну да пусть, чего уж… одно свинство!

— А как же ты вербуешь? Тебе ведь, наверно, надо за Беларусь агитировать?

— Ха-ха-ха! — захохотал вербовщик. — Вы там все всерьез принимаете и думаете, что мы в самом деле делаем здесь какую-то Беларусь! Это же одна комедия, это чтобы поляки давали пайки и деньги. Какого черта я завербую, если никто из мужиков не записывается. Сам народ не хочет никакой Беларуси.

Учитель ничего не сказал, видимо, не согласился с таким взглядом друга.

— Ну нет, братец мой милый, — помолчав, заговорил он, — мне кажется, что Беларусь будет. Очень уж серьезно взялись некоторые за это дело. Ты знаешь, даже у нас там завелись теперь такие заядлые белорусы, что скажи ему что-нибудь против хотя бы в шутку, руку не будет подавать.

— Да и у нас хватает таких идиотов, однако мы над ними только смеемся. А что они сделают без армии?

— Что армия? Теперь и армия не поможет. С одной стороны большевики, с другой поляки. Но я хорошо знаю, что белорусская агитация принимает большой размах. У нас весь народ за белорусов, хотя некоторые до этой поры даже и не знали, что они тоже белорусы. За белорусами пойдет

теперь каждый крестьянин, потому что только с ними он и связывает свои надежды на доброе.

— Так почему же ты еще не в белорусах, этакий-то пылкий их защитник? — насмешливо и недовольно спросил офицер. — Когда будет единая неделимая Россия, то я и тебя заодно постараюсь повесить.

— Должно быть, я это предчувствовал, поэтому вот осторожничал, — шуткой ответил учитель. — А все же ты меня завербуй в свое белорусское войско по старой дружбе.

Тут разговор собеседников переключился на воспоминания об их прежней службе в одном полку, и я перестал их слушать.

В дверь моей коморки постучали. Пришел с таинственным видом хозяин, а с ним вместе возница виленских евреев-спекулянтов.

Хозяин помог мне договориться о поездке с обязательным переездом через польскую линию фронта за две тысячи польских марок (с выплатой в Вильно).

За полчаса подвода была готова, и я выехал в компании трех спекулянтов, так и не увидев разговаривавших за перегородкой собеседников.

НА ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ВОЙНЕ

Записки солдата 2-й батареи
N-ской артиллерийской бригады Лявона Задумы

Лагерь

Срок службы для вольноопределяющихся начинался в русской армии 1 июля. Вот я и ехал в самом конце июня 1914 года в безлюдном вагоне третьего класса по онемевшим от жары и пыли и таким убогим жмудским* полям в N-скую артиллерийскую бригаду, расквартированную в глухом и безвестном местечке вблизи от немецкой границы.

Заскребло на сердце, когда поезд подходил к станции унылой, словно будущая казарма. Вокруг — желтые голые пустыри. Все залито нудным зноем. Все сонное, пыльное, поникшее. Выходи — как на пытку.

Но лишь в пустых и замусоренных казармах, в темной и неприветливой канцелярской комнате, узнал я от сухопарого и хмурого черноусого кощея-писаря, что мог я сюда и не ехать: бригада находилась в лагере, в соседней губернии, верстах в ста отсюда.

— Почему ты не поехал прямо туда?

— Куда меня послали, туда я и приехал, — ответил я кощею со злостью за сказанное мне «ты» и за такие их порядки.

Кощей только усмехнулся и тихо приказал второму писарю:

— Выпиши ему свидетельство в лагерь, а билет пусть купит за свой кошт...

— Почему так? — не смолчал я.

— Потому, что по приказу тебя в нашей бригаде еще нет... Стребуй со своего войскового командира.

Все тут было по-казенному неуютно и неряшливо. Только окно чуть приоткрыли, а там приятно, словно живой, шевелил широкими зелеными листьями густой клен. И у меня,

* Жмудь — название древнего литовского племени жемайты (жмудь), которые живут в Жемайтии — западной части Литвы.

вопреки рассудку, появилось жалкое, детское утешение, что хоть немножко, до лагеря, побуду еще на воле. Взвалил сундучок на плечи и снова потащился на станцию.

В лагерь я приехал поздней и темной ночью. Ночевал в канцелярских сенях на узенькой скамейке, пригодной лишь для сидения. Было жестко, неудобно и холодно, а на сердце — невыносимо мерзко. Не успокаивали нарочитое смирение и терпеливость.

Гомон и шум в лагере начался очень рано. Но я уже успел и встать, и походить, и посидеть, и съесть кусок драчены и несколько ранетов, — и все еще долго-долго должен был ждать. Сидел на канцелярском крылечке, на солнце, — будто спал, без живых мыслей, без всего.

Но вот пришел-таки фельдфебель, высокий рыжеватый детина, лет под тридцать, с небольшими и реденькими золотыми усиками. Взял мои бумаги, приказал писарю записать. Говоря, он клал на нижнюю губу два пальца, смачивал их, побренчав на губе и подкручивал золотые усики. На меня старался не смотреть.

Вдруг недалеко от канцелярии послышался шум и голоса. Раздалась зычная команда-выкрик: «Смирно-о-о!» Это шел в канцелярию командир батареи. И в канцелярии все забегали как угорелые. Фельдфебель выкрикнул:

— Встать! Смирно-о!

Все вскочили, вытянулись, окаменели. Показался высокий и будто задумавшийся о чем-то офицер, с усами и подстриженной бородкой.

— Здорово, братцы! — сказал он тихим и гнусавым голосом.

— Здравжлав, ва-скродь!!! — рявкнули во всю мощь и все в одно слово.

Фельдфебель, будто читая по книжке, отдал рапорт и доложил обо мне. Командир как-то недовольно то ли пренебрежительно повел головой в мою сторону.

— Здравствуй!

— Здравствуйте!

У всех это вызвало смех, а у фельдфебеля и досаду. Хотя я был еще в штатской одежде, но для них такой ответ командиру был смешон и нелеп.

— Ты православный?

— Православный.

— Остричь и выдать обмундирование! — скороговоркой приказал он, уже не глядя на меня.

— Слушаюсь, ва-скродь! — отчеканил фельдфебель, и оба вышли из канцелярии на обход батареи. В канцелярии все повеселели и заговорили.

Поместили меня в одной палатке с другим вольноопределяющимся, по фамилии Шалопутов, каким-то шепелявым и, видно, глуповатым юнкером, списанным из военной школы в батарею то ли за неблаговидные поступки, то ли за неспособность к наукам. И на первых порах моей службы, живя с ним вместе в одной тесненькой палатке, труднее всего мне было терпеть его манеры и болтовню. Вечно он или жрал, забрасывая в свое огромное пузо, как в бездонную пропасть, колбасу, сало и ситный хлеб из батарейной лавчонки, или молол всякую чушь. Вот однажды правит он бритву, чтобы поскрести свою жирную и всю в красно-гнойных прыщах шею; как-то ухитрялся он это делать: сам себе намыливал шею, брил, и даже без зеркала. Я лежал на койке и читал воинский устав. Косолапый, потный, подходит он ко мне на своих коротких ногах-тумбах, вертит надо мной отточенную бритву и шепелявит:

— Какая оштрая бритва! Глядиче, серый, бритва на ячь!

«На five» — его любимое выражение, а «серым» он называл меня, как новобранца.

Не успел я и краем глаза взглянуть на его пальцы-обрубочки с приплюснутыми и загнутыми коготочками, как бритва выскользнула из них и упала мне на грудь у самой шеи.

Если я перечил ему в чем-нибудь, он без тени шутки говорил мне: «Вы еще серый, а я старый юнкер и ваш старший». — «Ну и что?» — «А то, что вы не солдат, а индюк, потому что все время думаете о чем-то, как индюк... Черт вас знает, о чем вы думаете». Когда я покупал ему колбасу и ситный хлеб, он становился более любезным, меньше матерился, так как я этого очень не любил, и наставлял меня: «Бросайте, коллега, свою интеллигентность! Знайте, что из интеллигента солдат, как из грязи пуля». Ругался он тихим голосом, но так омерзи-

тельно, что я думал — никто больше в бригаде так не умеет. Однако я ошибся. На второй или на третий день моего пребывания в лагере услышали мы крик на главной дорожке перед палатками. Выбегаем... Маленький, с красным носиком, но с пышными и от уха до уха бурыми усищами, форсистый офицер нещадно распекает солдата нашей батареи. А ругает такими пакостными словами и так их комбинирует, что куда там глупому Шалопутову... Солдат стоит, вытянувшись в струнку, и молчит, — молчит, будто онемел, только таращит глаза и тянется еще старательнее. Спрашиваю у Шалопутова: «Кто этот паршивый офицер? Неужели из нашей батареи?» Шалопутов с негодованием посмотрел на меня, а потом со злорадством ответил, что это — командир одной из батарей нашей бригады подполковник Гноев, лучший в бригаде офицер и «широкая русская натура».

Мне было приятно, что хоть командир нашей батареи не любит ругаться. Вообще, мне сразу бросилось в глаза, что он чем-то выделяется среди офицеров. Это был высокий и широкоплечий мужчина, слегка сутулый, еще молодой, но с усами и бородой, как на портретах у царя — «чтобы и внешне быть похожим на своего императора», как мне объяснил Шалопутов, по-видимому, со слов какого-то офицера. Но глаза у него — вдумчивые и грустные. Вероятно, человек с расстроенными нервами, крайне раздражительный. Я думал, что, должно быть, он высокомерен с людьми — солдатами и офицерами, — но сердце его страдает, он всегда о чем-то печалится, что-то тревожит его безотвязно. И я заметил, что хотя вся батарея очень его боится, однако тайком все посмеиваются над ним. Слышал я о его чудачествах: большой набожности, мелочной приверженности к порядку и чистоплотности. Рассказывали, что он не на шутку поссорился с одним офицером из-за того, что тот положил на его койку свою фуражку и газету.

6 июля — первый праздничный день за время моей бытности в лагере. Всех погнали в лагерную церковь. Из людей, не занятых на дежурстве, только я один сидел в палатке; благо никто мне ничего не сказал, так я и не пошел. Командир с Хитруновым (такая фамилия была у фельдфебеля) обходил палатки и услышал мой кашель.

— А там кто такой?! — грозно спросил он у фельдфебеля.

— Новый вольноопределяющийся,васкродь! — виновато ответил Хитрунов.

— Почему он не в церкви?!

— Не могу знать, васкродь, — уклонился от правдивого ответа Хитрунов, а чтобы еще ловчее выкрутиться, добавил двусмысленно: — Не захотел пойти...

Ответ можно было понять и так, что меня посылали, но я воспротивился и не пошел.

— Как это «не захотел»?! — возмущенно и зло воскликнул командир. — Почему вы не от-пра-ви-ли его?.. Делаю вам замечание, фельдфебель! — крикнул и быстро зашагал на длинных своих ногах дальше.

Мне было очень противно и тяжело. Я в это время сидел в палатке, будто арестованный, и боялся его крика. Но меня командир не тронул, а накричал на Хитрунова за его увертки — и я понял, что при всей своей нервозности он умеет думать и в людях разбираться.

Зато в другой раз он проделал со мной неожиданную для меня штуку... С утра была очень хорошая погода, но потом стало жарко и душно, а к обеду пошли по небу дождевые тучи, сразу похолодало. Я сидел в палатке и писал письмо. Вдруг примчался один наш батареец и говорит, чтобы я немедленно бежал в орудийный парк: командир меня зовет. Меня?! Удивленный, я заторопился, выскочил, не одевшись, а дождь вот-вот хлынет. Из парка все солдаты уже уходили, только у одной из пушек двое что-то делали, и над ними стоял командир. Я подбежал, и он приказал: «Стой здесь». Я стоял и смотрел, ничего не понимая, что они там делают, и боялся, что пойдет дождь. Сразу же дождь и пошел, да такой сильный... Тогда командир приказал солдатам одеться (шинели их лежали тут же), а сам не оделся и мокнул под дождем, хотя рядом на песке лежала и его накидка. Моя летняя гимнастерка за минутку промокла насквозь, а я все должен был стоять, — командир даже не смотрел на меня. Наконец он отпустил их, перекинул через руку накидку — и молча пошел из парка, опять же ничего не сказав мне. Тогда — зачем же мне стоять? — поплелся вслед за ним, правда, на некотором расстоянии, и я, пытаясь понять, зачем он меня за-

ставил вымокнуть и зачем сам без всякой необходимости мокнул, хотя и накидка была...

— Бегом!! — вдруг оглянувшись, крикнул он. — Бегом! Простудиться хочешь?! — И сколько же насмешки и болезненного раздражения было в его словах!

Я побежал, смешной даже самому себе и очень обиженный.

И так около двух недель прожил я в лагере, словно арестант. Из лагеря меня никуда не выпускали, а по лагерю я и сам боялся ходить, так как еще не умел отдавать честь офицерам. Я заучивал наизусть фамилии всех своих начальников, от военного министра до взводного и отделенного. Читал ненавистные мне уставы воинской службы. Сотни раз становился «во фрунт» перед березовым колом вместо начальника, сотни раз «козырял» — и все еще получалось плохо, все еще не умел.

В палатке днем было душно и пыльно; одолевали злые, как черти, оводы. Ночью было холодно и шумно: все время на водопое или в конюшне кто-нибудь стучал, лязгал, кричал на лошадей, ругался. Поднимали всех в пять часов утра, и выспаться было невозможно.

А вот еда была не очень плохая, по крайней мере, не хуже, чем у обычного, средней руки хозяина в нашей деревне. Одно только допекало — вероятно, на всем белом свете не было более неопрятных солдат, чем в нашей батарее (так мне тогда думалось). Я ел со всеми вместе, но не из общего бака, а из своей отдельной мисочки, как ели, в силу своих религиозных обычаев, и некоторые солдаты — татары и евреи. Баки никогда не мыли; хорошо, если перед едой обдавали их студеной водой из колодца. Из одного и того же бака ели и похлебку и кашу. Ложки только облизывали и носили их за голенищами сапог, подле потных портянок.

Время проходило от команды до команды. Я ходил на молитвы и тянул вместе с хрипловатыми басами и тенорами «Отче наш» или «Спаси, Господи, люди твоя...» — тянул или молчал и горько усмехался. Ходил в парк смотреть, как делают гимнастику или вольтижировку, ходил на обед и на ужин, пил с Шалопутовым чай и всё удивлялся его собачьей прожорливости — так много уминал он колбасы и ситного хлеба! — учился отдавать честь и читал нудные уставы. И так жил. И так, можно сказать, жили тут все.

Все время на сердце у меня было тяжело. Писем ни из дому, ни от кого другого не получал, и от этого было еще тяжелей.

Газет, как приехал, я и в глаза ни разу не видел. Уже не знал, сколько я здесь дней и какой сегодня день: может, суббота, может, пятница...

Я со страхом думал, что должен буду так жить целых два года*. Мне жаль было загубленного времени, загубленных молодых сил. И когда по вечерам из пехотной части лагеря доносилась красивая и веселая военная музыка, меня охватывала такая тоска, что слезы невольно набегали на глаза. Я не находил себе места.

Начало

13 июля, как раз в воскресенье, часа в четыре утра, когда мы еще спали, до меня сквозь сон долетела команда:

— Снаряжай!

Первый крикнул фельдфебель Хитрунов, а затем понеслось от дежурного к дежурному, от палатки к палатке:

— Снаряжай! Сна-а-ряжай!

Шалопутов выскочил из палатки в одной рубахе узнать, что случилось, и возвратился растерянный, не зная, подшучивают над ним или говорят правду.

— «Горох» говорит, что война... — пробормотал он, испуганный.

«Горохами» солдаты называют сверхсрочно служащих, вкладывая в эту кличку крайнее неуважение к желающим тянуть военный хомут за казенный горох. Шалопутов назвал теперь так фельдфебеля Хитрунова, и это было признаком вконец испорченного настроения, потому что обычно между ними были шутливо-доброжелательные отношения.

— Война? Откуда? Какая? Вероятно, какое-то недоразумение, — искренне был удивлен и я, но тут же вспомнил

* Обычные солдаты служили на год больше, и я пошел вольноопределяющимся, чтобы сократить этот срок.

слова своего виленского знакомого, известного белорусского деятеля Я. Л., который еще год тому назад с уверенностью говорил, что война будет не позднее, чем через год-два.

Шалопутов молчал, кряхтел и раздраженно бренчал баньками* и шашкой.

Когда мы выбежали, вся батарея собиралась на главной дорожке перед палатками. Один за другим подходили офицеры, которых я до этого никогда и не видел, а минут через пять, когда все построились, пришел и командир батареи. Приняв от дежурного рапорт и поздоровавшись с батареей, он посмотрел на построенных, замерших людей, помолчал, а потом произнес своим немного гнусавым, громким командирским голосом:

— Вот, братцы! Проклятый наш враг — Германия — захотела обидеть единоверную с нами, русскими, маленькую Сербию. Однако наш батюшка-царь этого не допустит... Мы первые не начнем, но если Германия полезет, мы расквасим ей морду. Она, пархатая, зажирела, потому что уже сорок лет не воевала. Так мы ей покажем! А пока что, братцы, надо переехать на зимние квартиры, чтобы быть поближе к врагу. Н-ну, р-расходись!

Вот так новость!..

Одни молчали, задумались, другие будто бы повеселели, заговорили оживленно. Но все это было только внешне... А что делалось в сердце каждого?

Я сначала не мог собраться с мыслями, постичь всю серьезность услышанного, но как-то невольно обрадовался, что не надо будет тянуть эту острожную жизнь целых два года, что жизнь пойдет уже более интересно, что я ловко угодил в эту кашу...

Потом стал сам себя стыдить за такие мысли: будто я радуюсь войне.

И совестно признаться, но мне хотелось, чтобы она была, чтобы настали какие-то перемены.

Задумался я и над речью командира. Неужели можно уговорить солдата идти на войну с воодушевлением, чтобы защищать какую-то Сербию? «Единоверную», если она далеко не для всех наших батарейцев единоверная, потому что

* Шпорами.

есть мусульмане, иудеи, католики. И какие некрасивые слова «зажирела», «пархатая», «расквасим морду»! Этого я даже и не ожидал от нашего командира.

Захотелось написать письма домой и знакомым. Сел писать — и не пишется. Лучше подождать еще немного, пока дело не прояснится.

Ну и попал я в заваруху!

Весь тот день и половину следующего дня мы укладывались, упаковывались, переезжали на станцию и вместе с другими воинскими частями лагеря — пехотой, артиллерией, саперами — грузились, хлопотали, суетились...

Всю ночь горели костры, галдели и кричали люди, тарахтели подводы, фыркали кони, а над всем этим в ядреном воздухе звездной ночи заунывно-дразняще голосили паровозные свистки.

Я помогал упаковывать канцелярию, спал на длинном деревянном ящике с батарейными бумагами. Писари, Беленький и какие-то незнакомые мне солдаты-«аристократы» пили в боковушке водку, ели мясо с огурцами и ситным хлебом и злились, что я не пошел в их компанию, а лег спать. Они все время говорили о войне, пили и ели, как перед войной, ничего для себя не жалея.

Долго в лагере стучало, гремело, лязгало железом, иногда слышалась солдатская песня — и все это до поздней ночи, пока я не уснул, да и ночью просыпался от громких голосов и своей внутренней тревоги.

Эшелон наш отправился на следующий день в пять пополудни.

Я был рад, что еду, куда — безразлично, только бы ехать... Интереснее ведь наблюдать за происходящим вокруг, чем сидеть в том лагере-остроге.

Уже из вагона, перед отходом поезда, я видел, как между всевозможных грузов, наваленных к отправке, там, где остался клочок свободного места, перед зданием вокзала прохаживалась пара. Он — стройный, красивый офицер, с очень кривой саблей, которая волочилась по земле, еще совсем молоденький. Она — тоже молодая, но полненькая, должно быть, беременная пани, вся пунцово-розовенькая и лицом, и одеждой. Он ей все что-то говорил и говорил, то наклоняясь к ее головке, то, снова задумавшись, просто шел

рядом, а она взяла у него из рук хлыстик, молчала, сжимала хлыстик и, кажется, плакала тихими слезами. И так мне стало их жаль, хотя и не любил я офицеров и господ. Но тут искренняя любовь и разлука...

А наши батарейные «горохи» бегали озабоченные, скрывая тревожные думы, бегали, суетились, рассаживали по вагонам, до предела забитым всякими ящиками и седлами, своих жен и детей, подавали им в руки свой упакованный скарб, но все делали так, как делают панские слуги, лакеи: украдкой, чтобы не очень бросалось в глаза. И противно, и печально было смотреть на эти отцовские заботы подневольных людей, и жаль было несчастных «гороховых» детей.

Штатские люди на станциях пропускали нас, будто на войну. Бедно одетые женщины выносили нам ведра с водой, бегали по несколько раз, не щадя сил, только бы мы все напились. Белокурые барышни, те, которые говорили по-русски или по-еврейски, а не по-польски, бросали нам в вагоны цветы, а когда поезд отходил, махали платочками и кричали что-то веселое.

Ночью в вагоне наши писари и два-три «гороха» снова пили водку — будто бы чай, из котелков, — но в войну уже не верили, говорили, что войны определенно не будет, и жалели, что преждевременно закончился лагерь. Страшно ругали за это как немцев, так и сербов.

А газет я так и не мог нигде достать.

Приехали мы на следующий день утром. Теперь уже я станцию не разглядывал, да и она не была унылой, опаленной солнцем... Началась выгрузка имущества, перевозка его и в казармы, и на склады, и в орудийный парк. А пыль, а грязь, а ругань! Куда ни сунься — крики, толчея, неразбериха...

Обо мне все забыли, и я был рад, что нет надобности быть на глазах у начальства.

Отрешившись от всех забот, я ушел на берег Немана. Щипал там в кустах орехи, нашел несколько ягодок, поздних земляничек, любовался с крутого берега красивыми водами Немана. Было тут тихо и покойно — и не хотелось ни о чем думать.

После обеда приказали мне сходить в околоток — лечебницу для больных солдат — на медицинский осмотр, который проходит каждый новоприбывший в батарею.

Идя туда, я размышлял, как ребенок: «А вдруг найдут у меня какую-нибудь хворь в груди — и забракуют... поеду назад! Какое счастье!»

Там, в лечебнице, я долго ждал в небольшой комнате, в которой на железных койках, на голых сенниках и на подушках, набитых сеном, без простыней и наволочек лежало человек пять больных. Под койками валялись брошенные сапоги и всякое тряпье, на шкафчиках, служивших одновременно и столиками, я увидел в одной куче и шапку, и ремень, и кружку для воды, и скляночки с лекарствами. Одолевали мухи; рамы были с очень грязными стеклами, двойные, мухи летели оттуда, облепили крошечки сахара, садились больным на нос, лезли в глаза. Больные лежали молча, закрыв глаза, — спали, что ли.

Сердце наполнилось жалостью.

Неизвестно где пробегав, появился солдат-прислужник. Он ни слова не сказал мне, присел на табуретку, достал из кармана баночку из-под ваксы, в которой держал махорку, и стал скручивать цигарку. Крутил и напевал себе под нос с самым тупым видом:

Типерь же надо мною
То-оварищи смиютца-а-а...
Зачэм жэ ты мне ча-а-айник припа-а-я-ала?..

Потом курил и одновременно концом сапога расковыривал угол ближайшего сенника... Внимательно разглядывал, как сыплется оттуда перетертая соломенная труха. Курил долго, а докурив, бросил окурок на пол, поплевал на него, старательно прицеливаясь, и растирал подошвой до тех пор, пока от окурка остались только черные мазки на грязном цементе. Затем крикнул:

— Сурай, а Сурай! Повернись ты на другой бок: комиссия придет осматривать тебя.

Больной татарин скосил мутные, покрасневшие глаза на широком, заросшем щетиной лице, бросил в нашу сторону безразличный взгляд, ничего не сказал и с трудом повернулся на другой бок.

Второй больной, длинный и высохший, бледный как смерть, неожиданно слез с койки и на моем родном языке сказал прислужнику:

— Мулка... и пасунь ты сюды...*

Он показал, чтобы подвинули койку. Это, видимо была прихоть больного. Он уже с трудом стоял, держась за край столика; ноги у него дрожали.

Прислужник послушно взбил сенник, подняв облако пыли, потом встряхнул убогое солдатское одеяло, подвинул для виду койку, помог ему лечь и ласково укрыл одеялом. Когда все снова утихло, прислужник подмигнул мне, ухмыльнулся и довольно громко шепнул:

— Вот кому война не страшна...

Я ничего не ответил, и горькая жалость еще сильнее сжала сердце.

Наконец-то пришел фельдшер — немолодой солдат, лысый, рыжеусый, с грубым, но добрым лицом. Сначала он накричал на прислужника:

— Какого черта, в самделе, ты тут бездельничаешь? Прибрал бы хоть немного... Бери метлу, подметай!

Потом записал меня в больничную книгу и сказал мне:

— Ну и все. Можете идти.

Никакого осмотра так и не было. Я шел назад растерянный и в мерзком настроении.

Мост

16 июля вечером батарея наша (орудия и часть строевых людей) выехала на позицию: охранять от немецких аэропланов железнодорожный мост через Неман, верстах в двух от казарм.

В казармах не прекращалась необыкновенная бестолковщина, негде было приткнуться, и я выпросился на позицию.

---

* — Жестко... И подвинь ты сюда... (*бел.*)

Впервые ночевал я с батареей в поле. Но устроились хорошо, так как мы, телефонисты, поставили себе на ночь маленькую будочку-палатку.

Я дежурил у телефона и уснул с телефонной трубкой в руке. Спал... и вдруг подхватился: кто-то дернул от меня аппарат! Я испугался, что он утащит аппарат, и бросился на поиски... Бежал, бежал... где же все-таки обрыв кабеля? Был я в шинели, с револьвером и кинжалом сбоку на ремне; через плечо перекинута кожаная сумка с инструментами для соединения кабеля и с изоляционной обмоткой. Я устал, зато согрелся: ведь спать было не очень-то тепло.

Когда медленно шел назад — осмотрелся. Луна. Свежо. Туман в низине. Поезд шумит. Паровоз: пых-пых! пых-пых! пых-пых! А колеса гремят: гру-ру-ру! гру-ру-ру! гру-ру-ру!.. Хорошо! Покой и красота заворожили меня. Сто́ит жить на свете!

Потом я снова лег и сладко спал без всяких помех и без тревоги в сердце.

Проснулся очень рано и был рад хорошей погоде и живописным окрестностям, раскинувшимся насколько видит глаз вокруг позиции. Батарея стояла на высоком холме. Гона за три от позиции виден был железнодорожный мост через Неман, который мы охраняли. На обширной холмистой равнине — хуторки, дороги, Неман, вырисовывалось крышами домов и высокими башнями костелов местечко. От Немана вверх по течению, по оврагам и холмам — лес, лес так далеко, пока его зеленый массив не охватывает всю панораму.

Тем временем беда все больше грозила миру, и мы ежедневно узнавали что-то новое, уводившее мысль от окружающей красоты совсем в другую сторону.

В тот же день, 17 июля, после обеда пришел с батареи посыльный и принес нам новость: объявлена мобилизация.

Дежурил как раз поручик Пупский — коротышка, щербатый, насмешливый и злой, самый неприятный офицер в батарее. Он скомандовал нам всем: «Сюда! Бегом!» Мы сбежались, и он произнес речь о мобилизации — со свойственным ему черносотенным духом. Но солдаты мало что поняли из его слов.

— Так мы на Сербию? — совсем уж глупо спросил один из них.

— Не на Сербию, а на Берлин пойдем! — не слишком удивился такой непонятливости поручик Пупский.

— Куда же это, ваше благородие?

— На немецкую столицу... понимаешь ты, шляпа?

А солдат даже заулыбался, что поручик обругал его, по армейским меркам, так ласково: шляпа!

18 июля начали забирать запасных, и Гирша Беленький, который теперь тоже был телефонистом, пересказывал мне по телефону с наблюдательного пункта, находящегося вблизи местечка, что он там слышит и видит: «Браток! За Неманом в местечке бабы плачут, запасных провожают. Первого забрали в пять часов утра. Жена оторваться не могла, люди оторвали...» — «Беда!» — «Беда, браток! Но ничего! Сейчас, похоже, легче пошло: мимо меня много запасных едет в уезд на мобилизацию, так даже смеются, шапками мне машут... Ах, браток, живем?» — «Живем!» — кричу и я ему в трубку. И слышу, смеется он, — смеюсь и я. Беленький с виду вовсе не беленький, а рыжий и необычайно веснушчатый. Голова, лицо, нос, глаза — все у него круглое и рыже-веснушчатое, но все оно у него всегда смеется, милое и симпатичное. Беленький дружелюбен и пошутить горазд. Он первый больше всех в батарее пришелся мне по душе.

Потом приехал на дежурство капитан Смирнов — тихий, спокойный и, кажется, добрый человек и начальник. С виду он очень скромный, среднего роста и средней силы мужчина, неприметный, с лицом, каких много, с подстриженной бородкой, сероглазый. Первым делом он приказал двум сменам по очереди сходить в лес и нарубить там сосенок, чтобы замаскировать нашу позицию, потому что уже можно ждать в гости немецких летчиков. И я подумал: так просто и так необходимо было — укрыть от вражеского глаза пушки на высоком холме... А ведь раньше это не было сделано, и ни Пупскому, ни подпоручику Иванову, дежурившим до него, и в голову, по-видимому, такое не пришло. И почему, например, и сам я не додумался, что делают подобную маскировку?

Подпоручик Иванов — упитанный, розовый, как панский кабанчик. Он был прикомандирован в нашу батарею из пехоты, и это обстоятельство почему-то принижало его офицерское достоинство в глазах наших батарейцев. Он не знал в лицо всех солдат батареи; увидев меня впервые, спросил:

— Что же ты такой беленький?

— Не могу знать, ваше благородие! — ответил я, вскочив и отдав честь, и обрадовался, что получилось это у меня очень ловко, как у настоящего солдата. А мой непосредственный начальник, старший телефонист Лаптев, улыбнувшись, сказал:

— Он у нас новый вольноопределяющийся, вашблагродь!

Подпоручик покраснел до корней волос:

— А-а... Почему же вам не нашьют шнурков вольноопределяющегося?

(А я ходил без этих шнурков, потому что их пока что нигде нельзя было достать.) Мне тогда было смешно, что он покраснел.

19-го июля произошел один примечательный случай... Приехала наша кухня, мы пообедали, я сидел у телефона и любовался широкими просторами. Свободные от службы солдаты разбрелись кто куда. Пупский лег спать. В это время по полю гуляли ксендз и его гость — клирик. Из любопытства они совсем близко подошли к батарее. Дежурный солдат окриками запретил им приближаться. Они повернули назад, но старший фейерверкер, костромич Соколов, приказал догнать их и привести на батарею. Разбудили Пупского, и он, недовольный, что потревожили, заспанный и злой, вышел из палатки.

— Где шпионы? — нарочно крикнул он.

Привели обоих, испуганных, побледневших, в черных ксендзовских сутанах. Ксендз был невысокого роста, толстенький, он снял перед Пупским шляпу. Голова у него круглая, черноволосая, с выбритым кружком на макушке. Он сбивчиво, с сильным литовским акцентом говорил что-то прерывающимся от волнения и возмущения голосом. А клирик, худой, длиннолицый и светловолосый, молчал и таращил свои голубые литовские глаза с болезненным выражением. Поручик, делая вид, что и слушать не желает их объяснений, стал издеваться, сказал, что их, как немецких шпионов, рас-

стреляют, а пока что им придется часик-другой побыть здесь, а потом их отведут к коменданту в бригаду. Несчастные духовные особы от непредвиденной беды и досады совсем пали духом... Но тут явились выручать их крестьяне с хутора.

— Это наш отец-настоятель... вот и дом ихний, и лужок, и сад... их и земский знает, и исправник...

Постращав и поиздевавшись, Пупский милостиво разрешил ксендзам «уносить свои головы» (так и сказал!) Они стали кланяться, а он захохотал, солдаты старательно подхватили смех начальника.

— За вами теперь будут следить! — крикнул им вдогонку поручик...

Светловолосый высокий клирик невольно оглянулся и приподнял шляпу, потом что-то стал говорить ксендзу, вероятно, пытаясь его успокоить, но тот шел, уставив глаза в землю, и, видимо, сильно удрученный, молчал.

— На границе семерых ксендзов уже повесили, — соврал солдатам Пупский не моргнув глазом и пошел в палатку.

Солдаты, которые приходили на батарею из казарм, рассказывали, каким добряком стал теперь Хитрунов. Один солдатик, не знаю его фамилии, даже показал, как теперь «виляет хвостом» Хитрунов. Солдат просунул скрученную полу шинели назад между ногами и прошелся, виляя этим «хвостом» и изображая Хитрунова (побренчав пальцами по губе, циркнул на них слюной и подкручивая усики). Этот же солдатик говорил, что Хитрунов теперь — станет немного в сторонке и подслушивает, о чем говорят солдаты. Я понял, что Хитрунов опасается, что на войне его могут убить свои же солдаты в отместку за его всевозможные обиды.

Меня это удивило, так как мне казалось, что Хитрунов довольно хорошо относится к солдатам, сами солдаты говорили, что он неплохой человек... Так чего же ему бояться?

О старшем писаре говорили, что он очень «завострился»: похудел, глаза запали, нос вытянулся — боится войны.

В казармах, рассказывали они, всех обмундировывают, дают все новенькое серо-зеленого цвета. Выдают и новые сапоги — и наши телефонисты очень сокрушались, что в местечке не хотят платить за них и пятой части «мирной» цены. Но, говорят, солдат на торгу — полным-полно!

* * *

Ночью 19–20 июля Германия объявила войну России...

Дождались. А то все еще будто шутки шутили.

Так вот — теперь я на войне! Убьют? Лучше не думать...

Вечером 19-го наша смена отправилась в казармы на обмундирование. С нами шел Шалопутов. Он приходил на батарею по какому-то делу к поручику Пупскому; хвастался, что даже пил с ним в палатке чай. На пустынной темной улице он крикнул какому-то местечковому жителю:

— Пан! Дай прикурить... — и вдобавок обругал его похабными словами.

Громко и дрожа от возмущения, я сказал:

— Хулиган! Не трогайте штатских людей...

Правда, мы с ним отстали немного, и другие солдаты могли не услышать, что я так сказал ему. Шалопутов же с нарочитым безразличием и делая вид, что принимает мои слова за шутку, буркнул мне:

— Шляпа вы, а не солдат.

Но я понял, что теперь я уже перестал быть с ним «шляпой», хотя у меня даже ноги дрожали от злости...

Находясь в казарме, я пересмотрел свое имущество, перелистал свои книжечки. Эх, и зачем я их столько сюда вез? Все это теперь погибнет, как погибну, может быть, и я сам... во славу... во славу... чего? Освобождения «малых» народов? А освободится ли мой народ? Что ему даст эта война? Лучше не думать...

Заходил на почту; никаких посылок не принимают. Письма приняли, но почему-то сказали, что и за доставку заказных теперь не ручаются. А ведь кажется, что поезда ходят, как и прежде,— так почему же они так говорят?

В местечке видел много запасных. И их пригоняют все больше.

— Шкандальный запас. Чи пан ест по́ляк? — спросил у меня лавочник, видимо, ополяченный жмогус*, когда я, покупая у него бумагу, говорил с ним по-белорусски.

— А что? — холодно ответил я вопросом на вопрос.

---

* Жмогус — житель западной Литвы.

— Ниц, проше пана... Тшэба модлиц сен пану Езусу!*

И правда: уже все местечко молится, охает, стонет — и бешено спекулирует солдатскими сапогами, обносками и чем «пан Езус» послал.

Среди этого многолюдья я чувствовал себя невероятно одиноким. Мысли мои устремились домой, к родным. Что там у них? Сегодня Илья (пишу 20-го июля), праздник, ярмарка. Здесь я совсем забыл, что Иьин день, а когда-то на этого самого Илью — сколько было ярмарочных радостей! Нет, теперь тревожно и там. Плачут несчастные люди. Что будет, что будет? Не знаю, что будет, и никто не знает.

Перед самым отъездом с позиции я увидел еще одного офицера нашей батареи — штабс-капитана Домбровского. До этого он был где-то в командировке, покупал коней для батареи, что ли. Большой, круглый; лицо у него очень полное и очень красное, глаза заплыли жиром; говорит он попански: се-се-се. Шалопутов сказал мне о нем, что это «обрусевший литовский поляк магометанской религии». Иногда и Шалопутов удачное изречет.

Домбровский привез нам новости: «Наши уже в Германии на пятьдесят верст... немцы прямо стонут... Посланник германский, когда объявлял в Петербурге о начале войны, нервничал, аж трясся... дрожала бумага в его руках... Вержболово и Эйдкунен сожжены... Казакам позволено делать все, что хотят, так они там!.. Япония захватила Кяо-Чао. Английский флот направляется к нашим берегам, нам на помощь... Наш конный полк подорвал мост... где-то поймали немецкого шпиона...»

Не скупился на новости жизнерадостный пан Домбровский, но немного, должно быть, привирал для удали.

— Послезавтра и мы уже будем в Пруссии! — с ликованием, веселый, говорливый, подбадривал он нас.

В казармы прибыли вечером.

Тут я услышал от Шалопутова, что Франц-Иосиф, от волнений в такие преклонные годы, скончался... «Бедный дедуля!» — пожалел благородный юнкер покойника, благородного императора. А ходил он в этот момент с длинню-

* Ничего, прошу прощения... Надо молиться господу Иисусу! (*польск.*)

щим шестом вокруг костра, в котором горели документы батарейного архива, ворошил обгоревшие пачки бумаг и важно сопел — освещенный с одного бока, темный с другого.

Ужинали мы в темноте, возле осинника, что рос перед казармами. Людские голоса, фырканье лошадей...

Уже и казаков много прибыло. После ужина я увидел нескольких и в нашей казарме: пришли в гости к батарейцам. Все они симпатичные люди, но несусветные врали: с важным видом несут всякую околесицу, и почище, чем пан Домбровский, потому что с шутками. Надеются перевернуть вверх ногами всю Германию. Вихрастые, с красными лампасами, довольно рослые, осанистые.

Много пригнали и запасных — бородатых, хозяйственных людей. Они степенные, молчаливые.

Все и всё перемешалось в казарме...

Потом — сон. Солдаты и лежат, и ходят, ругаются, кричат, пишут на маленьком шкафчике-столике письма при свете единственной, с закопченным стеклом лампочки (на всю огромную комнату). Уснуть было невозможно — будят беспрестанно, разыскивая тех, кому идти в наряд, на дежурство. Крики и ругань.

Еще два дня и две ночи прошли в таком же беспорядке и столпотворении.

Шумные, но пустые и тоскливые для меня дни!

Дневник

24 июля.

Выступили из местечка. В поход, на границу. Перед отправкой — молебен. Проповедь попа и речь генерала. Офицеры все перецеловались. Солдаты кричали «ура». Я молчал.

25 июля.

Едем. Один ездовой попал под колесо пушки и сломал ногу. Говорят — умышленно. А что, если бы и мне так? — думаю.

Командир отдал приказ, чтобы мы, телефонисты, стояли со своими двуколками и ждали. Стоим возле сада. Висят над головой вишни. Прибегает поручик Пупский. «Почему не отпрягаете?» — «Командир не приказали, ваше благородие!» — «Что вы... детишки? Отпрягать!» И обругал последними словами, а черт знает за что.

27 июля.

Два дня роем окопы. Я вижу все это первый раз в жизни. Помогаю, но как-то неуверенно. Командир заметил — и обругал меня.

28 июля.

Окопы... Вчера умылся дождевой водой, которая натекла за ночь на брезенты на двуколке. Сегодня совсем не умывался. Ворочаемся всю ночь, как собаки, под этими брезентами. Украинец Ехимчик, наш новичок из запасных, говорит так: «У мэнэ собака... Я ему будку издэлаю...»

29 июля.

У меня украли банку консервов. Думаю на Ехимчика, но молчу. А он молится Богу, повернувшись лицом к саду, к вишням.

30 июля.

Нет времени. Роем окопы.

1 августа.

Выехали. Проехали Симно, Кросняны. Привал. Обедаем. Крестьяне-жмогусы раздавали сало и хлеб. Я стеснялся подойти. Очень жалею. Съел то, что дал Пекельный, и пошел покупать, но ничего не продали.

Вечером на привале Лобков полез на вишню. Командир увидел из окна и выскочил из хаты. «По морде тебе дать? В походе первый наказ: обывателя не обижай!..» И бац! бац! его то по одной щеке, то по другой. Мне говорили, что командир наш дерется, да я не верил. Теперь увидел. Нервный он: так разозлился, что даже пена на губах выступила. Мы давно стоим, а хвост нашей колонны все еще тянется мимо

нас на привал в разные хутора. Пехоты — тьма. Как они устали! Хорошо, что я в артиллерии.

2 августа.

Выступили в половине восьмого утра. На дороге, построившись в колонну, чего-то ждали аж до половины десятого. А встали — по приказу в шесть часов, но на самом деле еще раньше. Кто в этом виноват? Начальник колонны? Плохо...

3 августа.

В походе. Граница рядом. Небо начинает хмуриться. Привал. Длинная серая лента, растянувшаяся по дороге на несколько верст, села на землю. Навстречу этой ленте, прижимаясь к противоположному краю дороги, тащится немецкая колымажка с парой гнеденьких подстриженных лошадей. Правит рыжеусый, бледный как полотно, немчик в черном, домашнего сукна костюме, в синем жилете с длинным рядом блестящих пуговиц. Рядом с ним сидит грузный пехотинец-конвоир, поставив ружье прикладом вниз между колен. Наш командир провожает колымажку быстрым, любопытным и несколько пренебрежительным взглядом. Немчик упрашивает конвоира, чтобы разрешил остановиться. Тот добродушно усмехается и не возражает. Немчик выскакивает из колымажки и бросается к командиру:

— Ваше дитство!! — стоя на коленях, он ловит руку командира, чтобы поцеловать.

— Пшёл! — с какой-то злорадной враждебностью к немцам гордо гнусавит подполковник и, отступив, задумчиво, поверх наших голов, вглядывается в неведомые дали.

Подходит артиллерийский кандидат и спрашивает о чем-то немчика по-немецки. У того снова появляется надежда, и он с жалкой просьбой в глазах говорит, говорит, сбивается и снова говорит.

— Я не шпион... Я русский, хоть и немец... Русский немец... Не хочу расстреливаться. Ехал только в костел.

Дрожащими руками достает из колымажки, из сена, большое румяное яблоко и протягивает кандидату. Яблоко падает на землю, в пыль... Его ловят несколько рук, а в этот момент солдатюга-костромич окает:

— Попался-то! А кговорил: наши ваших-то как мух подавят...

— Земляк! Разве я это говорил?!

— По ко-о-оням! — разносится команда, и кучка солдат врассыпную бросилась от колымажки, серая лента-змея ползет дальше...

Тучи заволакивают небо. Привал вблизи Эйдкунена (Вержболово, Кибарты). Виден пожар. Пошел дождь. Снова везут того немца. Съежившийся, жалкий, покорно правит лошадьми. По бокам — два солдата с винтовками! «Его могут повесить!» — сказал кто-то из начальников.

Где-то далеко вроде бы стреляют?.. Казаки гонят немецкий скот. Хвастаются: «По нас пули ум-ум-ум! Старики-немцы просят, а мы не бросаем, гоним». Подпоручик Иванов с удовольствием, поощряя казаков глазами, слушает их и смотрит на упитанных, ухоженных, с большим выменем немецких коров.

— Ты, брат, не мычи тут у нас! — сказал он неспокойной корове и покраснел. Следом за казаками бегут какие-то два коня без седел. Одного породистого коня из-под убитого немецкого офицера казаки ведут на поводу с собой. Вот еще казаки — гонят баранов и бычка. Рябой вихрастый казак подгоняет бычка плетью. Бычок задирает голову и ревет благим матом. «Он слышит незнакомый гомон... К беспорядку не привычен», — жалостливо глядит на него бородатый пехотинец из запасных.

— Бу-у-ух!! — первый орудийный выстрел.

Все оживленно-весело, но и немного тревожно оглядываются. Всем интересно. Начинается какая-то нервная беготня. Телефонные двуколки заезжают за хутор. Во дворе причитает баба-хуторянка. Стоит, еще без коня, с большой поклажей телега, бегает озабоченный хозяин-жмогус. Сейчас они поедут в тыл, убегут. Вержболова нам не видно, но дым оттуда стелется в нашу сторону. Город подожгли немцы или казаки. Временами выбивается пламя. Дождь почти прекратился, только чуть-чуть моросит. Хозяин уезжает. Темнеет. Вечер. Ночь. Тревожное ожидание.

Овраг

4 августа.

Хорошо, сухо, солнечно...

Возле хаты ординарец Селезнев подавал командиру коня и чем-то не угодил. Командир ткнул ему в грудь кулаком и раздраженно крикнул: «Остолоп!»

Капитан Смирнов говорит младшим офицерам: «Напрасно ночь не спали... Враг испугался и убежал».

Утро становится еще красивее. Сейчас тронемся в дальнейший путь. А ночью был страшный холод, в небе сияли звезды. Я спал на сеновале, на ячменных снопах, исколоlся остюльками, спал мало и тревожно.

Видимо, пойдем в наступление за границу, потому что офицеры приказали, чтобы мы ничего немецкого не ели: может быть отравленным.

Где-то далеко-далеко слышны орудийные выстрелы. Стреляют, вероятно, немцы. Перед нами на синюсеньком краю неба красиво расплываются дымные клубочки: рвутся шрапнели. Настроение поднимается.

Проскакал мимо нас казачий генерал-майор. «Что за беспорядки! Плетется тут этот обоз!» — крикнул на полном скаку. А где этот обоз — кто его знает...

Двинулись и мы.

Едем медленно, часто останавливаемся. Вдоль всей дороги бегает пехотный ординарец, ищет какого-то батальонного.

Мы остановились на обочине. Мимо нас идет пехота — конца-краю не видно... Я влез на двуколку, стал во весь рост, посмотрел. Штыки, как сверкающая щетина, длинной змеей укрыли всю дорогу. Там дальше, впереди, сворачивают в сторону, в поле, сыплются ротами, взводами...

Трюхает на небольшой кобылке тот разыскиваемый батальонный, неказистый пехотный служака. Смотрит в планы местности. Шрапнели стали рваться гораздо ближе — теперь видно, что немецкие. Значит, сейчас бой, бой!..

Где-то с боков понемногу щелкают винтовки.

Вот первый пулемет: тук-тук-тук-тук!

«Наш, — говорит едущий мимо нас казак. — Немецкий бьет чаще».

Вдруг — нам команда, и батарея живо свернула с дороги и мягко покатилась по черной пашне к каким-то кустам. Примчались к глубоченному и очень широкому оврагу. Это граница: с одной стороны столб с русским орлом и табличкой «Россия», с другой — с немецким орлом и табличкой «Германия». Спустились вниз, на зеленую террасу. Батарея строится в боевой порядок...

1 час 15 минут дня, сейчас будем палить «по наступающему противнику»...

Как тут тихо и красиво на лоне природы: лощина, тра́вы, кусты, ручей. Берега оврага укрывают нас от глаз противника с боков, над нами — синее августовское небо. Но сейчас бой! Товарищам моим, телефонистам, не нравится, что в такой момент я что-то пишу в своей записной книжке. Не ругайтесь, черт вас подери!

* * *

5 августа, утро.

Снова утро, снова день... Мы наступили и отступили. Обида и удивление. Ах, как рвались снаряды по обе стороны того оврага! Раненые пехотинцы ползли и ползли из кустов к ручью. «Скверная война!» — с отчаянием стонет один. «Почему? Что ты?» — спрашивает другой в запачканной кровью шапке. «А как же, если наша артиллерия с левого фланга положила своих же казаков и пехоту». — «Неправда... Не говори так», — успокаивал его наш артиллерист.

Батарея, постреляв из оврага, двинулась потом на другую позицию. Неслась по немецкой земле галопом. Я бежал, бежал — и отстал. Кирпичные дома и другие строения немецких хуторов, мощеные, обсаженные деревьями дороги, надписи на перекрестках — все это бросилось мне в глаза как что-то необычное, панское. Бегу быстрее: по сторонам дороги рвутся с черным смрадным дымом гранаты. Сперва я не испытывал страха. Джжж!!! — возле самого уха осколок. Тогда я очень испугался, покрылся по́том, ноги подкосились. Пристроился в канавке. Увидел в траве куропатку. Взял ее в руки: она и не убегала. Сердце у нее так бьется, что чуть не выскочит, зоб твердый, как камень. Вдали пробежа-

ли два зайчика. А высоко-высоко кружил аист и ничего не боялся. Я нашел батарею, когда стрельба утихла. Никто не знал, что я было отстал; думали, что я все время был вместе со всеми. Когда рассказал, хватились, что нет еще двух телефонистов. Вскоре батарея снялась с этой позиции, выехала на дорогу и потянулась назад, к границе. Поравнялась с нами разбитая, маленькая рота; я думал: один взвод. Люди удрученные, измученные, перепачканные. Долго-долго едем назад, но все еще по немецкой земле, — вероятно, куда-то в сторону. Да нет, вот тот пограничный овраг. Знакомый переезд. Снова в России. Легче стало на сердце. Но что это: неудача? Отступаем?

«Тогда считать мы стали раны...» В нашей батарее нет потерь, только один конь подбит — его повели в овраг пристрелить. Жаль его, как человека. В других батареях есть убитые и раненые.

Был поздний вечер, когда мы возвратились на прежнюю стоянку. Хозяин вернулся тоже. «Пусть убьют всех, никуда не выеду», — ворчит этот упрямый жмогус.

Офицеры уже ужинают. «Дай коньяку!» — слышим мы через окно их разговор. «Пожалуйста», — отвечает капитан Смирнов; потом недовольным тоном кому-то доказывает: «Нельзя же без надобности посылать людей на смерть». Го́лоса командира не слышно; он, вероятно, молчит и о чем-то про себя думает.

Наш ужин... Порций не хватило. Запасные ворчат, возмущены. Голодный Ехимчик злобно бьет по ребрам своего нового коня и вспоминает пристреленного: «Такий гарный був коняка, а ты... щоб ты околив!»

Снова ночлег на ячменных снопах. Холодно было невероятно. Я поднялся еще до рассвета; дрожал, как в лихорадке; зубы: тр-тр-тр...

Но вот снова солнышко, тепло, светло, красиво. Напился чаю и пишу. Вчерашний день, наш первый бой — как во сне, как в тумане.

Мысли летят домой, к родным. А перед боем я видел сон... Какие-то столики, палатки, люди, телеги, лошади. Мама нарезает мелкими кусочками мясо — красное, сырое — и с огурцом. И я хочу куда-то пойти и купить ей огурцов. Не ку-

пил... Не купил из-за своей непростительной нерешительности. Мама говорит кому-то: «Слава богу, дождалась уже и я помощи от деток». А мне стыдно-стыдно и жаль-жаль маму. По нашим народным поверьям, видеть во сне сырое мясо и огурцы — очень дурной знак. И я думаю: как необъяснимо переплетается в человеке это наследие веков, переживания многих поколений.

5 августа, после обеда.

Обедали торопясь и сразу, около часу дня, выступили в поход. С нами вместе идет и первая батарея. Солнце печет — дождь будет. Идем в Германию снова по той же самой дороге.

«Старые» для нас места. Деревня называется Пляттен. Бегают брошенные хозяевами кони. Мы поймали светло-гнедую кобылу взамен нашего убитого коня-батарейца. Кобыла не приучена идти размеренным шагом в орудийной упряжке, так ее поставили везти кухню, а кухонного пегого коника запрягли в орудийную пару выносным. И как-то странно: поймали чужую крестьянскую кобылу по пути, и стала она нашей.

Пепелище на краю деревни. В обгорелом саду уцелела и зеленеет груша с богатым урожаем плодов. Казаки во время привала, несмотря на объявленный нам ранее запрет, сразу же отрясли грушу и нас еще угостили, обозвав за трусость «шляпами».

Горько смотреть на черные дымящиеся головешки — хорошо, что выезжаем в поле. Простор, вопреки тесной немецкой культуре, широкий. Тут, говорят, и произошел бой. Поле теперь голое, пустое, унылое. В канавках, по обочинам хорошей мощеной дороги, то тут, то там валяются убогие пожитки наших солдат, бывших в сражении. Вот какая-то невзрачная кучечка у телеграфного столба... Первый увиденный мною труп. Наш убитый. Лежит ничком. Череп снесен — жуть!..

Снова кучка домиков у пригорка, не видная издали, скрытая от путников деревьями. Называется тоже — Пляттен. Старичок-немец сидит на скамеечке у дома, дряхленький, седенький, слезливый. Больше — ни души во всем поселке. Вот — немецкая школа. Вот добротный каменный

дом. В огороде — тьма кроликов. Никто на них, даже из казаков, не зарится. В сенях валяется сломанный велосипед. В квартире все брошено так, как было в повседневной жизни. На столе стоит недоеденный обед. На белом блюде много котлет. Так хочется их съесть. А что, если отравленные? Выходим... В следующем доме черепичная крыша разворочена снарядом. В огороде на дорожке убитая утка, а в кустах шмыгают белые, пушистые, словно комочки невесомой овечьей шерсти, кролики; сколько их здесь — ай-яй-яй! Покажет красный глаз — и удерет, спрячется. На грядках много крупных огурцов. Не утерпели — нарвали.

Справа за поселком, в стороне от нашей дороги, догорает сенной сарай. В нем сгорели тяжелораненые: там находился немецкий врачебный пункт. Сгорели только наши пленные, так как своих немцы успели вывезти. Об этом рассказывают двое наших раненых, ползущих на четвереньках по канаве. И они были в плену и лежали в том сенном сарае. Они радуются, что, брошенные на произвол судьбы, не замерзли и не умерли минувшей ночью. Теперь, когда их положили на носилки, один тут же потерял сознание, а второй, бледный, будто с того света, все силится пересказать своим о прошлой страшной ночи. Хвалит немцев, которые, пока не сбежали, очень хорошо за ними смотрели. «А мы думали: прикончат нас», — на губах у него слабая улыбка. Но их сразу поместили в фургон с красным крестом на белом полотне и повезли. «В Расеюшку на побывку!» — шутят наши батарейцы.

Тем временем возвращается разведка, и батарея продолжает путь.

Только взобрались на пригорок... Груды светло-синих немецких трупов! Изорванная одежда, продавленные каски, поломанные карабины и винтовки, а возле каждого убитого горки стреляных гильз. Самые разные, одна страшнее другой, позы мертвых: скрюченные, ничком, навзничь с выставленными вверх сжатыми кулаками. Вот один весь изогнутый, с пышными усами, обтыканный вокруг ветками, — видимо, раненого заслонили товарищи от солнца, и он умер в страшных муках. Или, может быть, сам себя загородил, стреляя. Дыхание перехватывает у меня в горле, не могу смотреть... Возможно, это работа нашей батареи!

Я нашел новенький немецкий бинокль; взял, нацепил себе через плечо. Тут же в целой, блестящей, с большим золотым орлом офицерской каске увидел недописанное письмо убитого. Заскребло на сердце, стало стыдно, тяжко. Я вложил письмо в каску и поскорей бросил ее, но одумался и положил на грудь трупу. И потом еще видел, что наш батареец Толстов, славный парень, взял руку одного убитого немца, подержал ее, окостеневшую, и тихонько опустил. Зачем он это делал? Должно быть, интересовался, что такое мертвый.

Некоторые солдаты тащат рыжие, косматые немецкие ранцы, копаются в них. Вытаскивают оттуда, с какой-то радостной жадностью и немножко с опасением оловянную ложку, мыло, полотенчико, кусочек белого хлеба. Вилки и столовые ножи отбрасывают в сторону, как ненужные для солдата вещи.

Кто-то нашел в немецком ранце сладкие желтые сухарики. Один дали мне. Я попробовал — стало противно, замутило, будто у меня что-то лишнее во рту, распирает меня...

Варшлеген

6 августа.

Весь этот день были в походе. Наша батарея снова в авангарде. Догнали обоз немецких мирных жителей. Они смотрели на нас враждебно и испуганно. Едут большей частью старики, женщины и дети. Повозки нагружены всяким добром, за повозкой — корова с огромным выменем. В каждую повозку впряжена пара лошадей. Правит лошадьми старик, сидящий впереди с трубкой в зубах; за коровой присматривает сидящая сзади старуха. Дети и девушки посередине, с кошкой или собакой. Девушек красивых мало. Весь обоз, по приказу начальника штаба, повернули назад, домой, откуда кто выехал.

Проезжали оставленное жителями местечко. На культуру завидно смотреть! И больно сердцу, что Беларусь, по сравнению, дикая-дикая!

На улице в пыли лежал труп молодого немецкого парня в заплатанном на локтях пиджаке. Возле него — поломанный велосипед. Говорят, это — переодетый немецкий разведчик, убитый догнавшими его казаками. И все мы ехали мимо — так, посмотрел и отвернулся...

Из одного дома выходит наш пехотинец. В руках банка меда и стеариновая свечка. Зачем она ему? Из-за крыльца выглянул старый немец, снял перед солдатом потрепанную шляпу и низко склонил лысую, с трубкой в зубах, голову. Солдат радостно смеется. Противно смотреть.

Снова догнали еще более длинный обоз немецких беженцев. Одна красивая немочка смеется и плачет, сидя на своем возу. Старуха, вероятно, мать, молча оглядывается на нее и старательно дергает веревку, которой привязана к телеге большая, медлительная корова.

Мы направляемся к Кёнигсбергу. Где-то глухо отдаются орудийные выстрелы. Там, говорят, сражается наш 20-й корпус. Видно далекое и ясное зарево.

Повели под конвоем нашего пехотинца. В чем дело? — Арестован за грабеж.

Время от времени ведут пленных немцев. На нас не смотрят, однако на коротком привале я с одним разговорился. Он умеет по-польски, — познанский немец, а может, онемеченный поляк. Когда его конвоир, вихрастый казак, отошел, он сказал мне:

— Ваши хохлатые такое зверье... (Так он говорит о казаках.)

— А мы о вас так думаем, — ответил я в тон.

— Зачем война? — сказал он, помолчав. — России и так землю некуда девать.

— Ваш кайзер объявил войну.

— Нет, ваш царь. А пан ест по́ляк? — с опаской в голосе добавил он.

— Нет... Но не бойтесь меня, потому что я не хочу войны.

— Русский народ добрый, а казак бывает разный, — подстраховался он на всякий случай.

Возвратился казак, и я пошел к своим, кивнув немцу головой.

Остановились на ночлег. Ехимчик вдруг вспомнил, что сегодня не простой день, а праздник Спаса. «Живэш як нэхристь на ций войни...» Но раздобыл себе яблоко и, помо-

лившись, разговляется. А Беленький, наш безбожный иудей, дразнит его: «Ехимчик! Ты отдавай мне свои порции мяса: у тебя же спасовский пост».

«А ты, дурныця, можэ, й сала зъив бы?» — огрызается Ехимчик. Он еще не знает, что наивкуснейшая еда для Беленького — именно сало. «Сейчас будем есть и сало, друг Ехимчик! Сейчас свинью раздраконим!» — бегает повеселевший Беленький. Солдаты уже ловят на хуторе кур, поросят. Наши два телефониста тащат увесистого подсвинка,— не зря же мы в авангарде и телефонисты.

Но что это? Не успел Ехимчик догрызть яблоко, а наши повара-кустари опалить этого подсвинка, как всех нас по большой тревоге гонят рыть окопы. Хватит записывать!

7 августа, утро.

Встал в половине шестого. Вся батарея на ногах и готова к бою. Мы стоим в деревне Варшлеген. Надо записать, потому что придется, видимо, не раз вспомнить ее, если буду жив.

7 часов. Начался страшный бой. Выйдем ли живыми?

* * *

8 августа, пятница.

Ведут и несут раненых немцев и наших. У бледного, окровавленного немца болтается голова. Что-то перебито в его шее. Одного ведет наш солдат, обняв его, как девушку. Второго несут пятеро наших на руках. Еще один идет, шаркая ногами по пыли, уткнув глаза в землю. Перед офицером — во фронт. Полковник ему по-немецки: «Гутен морген!» Пленный что-то говорит, но язык не слушается его. «Иди, иди, голубчик!» — машет полковник рукой. Пошел, загребая ногами землю.

Что было вчера? Я жив, но прежнего меня навеки нет.

Я был с командиром на наблюдательном пункте. Меня старший послал на чердак наблюдать в слуховое оконце.

Внизу, за деревом, стоял с угломером командир, а при нем в окопчике сидел старший с двумя лучшими телефонистами.

Пули засыпают наш домик. Ветки на дереве наполовину ссечены. Командир только крестится после каждой команды. Батарея бьет и бьет беспрестанно. Я боюсь... Я ничего не вижу сквозь запыленное с наружной стороны оконце. Погибну без всякой пользы. Пули разбили оконце в тот момент, когда я чуть отклонился. Прячусь за дымоход, трясусь, отупел. Над самой крышей грохнул снаряд. Охваченный диким страхом, засыпанный обломками черепицы, бегу вниз, камнем падаю в окопчик. «Смерть пришла», — шепчет один телефонист. Старший окидывает его гневным взглядом. А командир стоит за тонким деревцем, прикованный к трубе и угломеру... Только крестится чаще. Этот человек обладает безмерным мужеством. Я смелею. Пули вроде бы пролетают реже. «По наступающей кавалерии!» — пронзительным голосом кричит командир, хотя мы от него в двух метрах. Ужас висит в воздухе. Батарея бабахает с перебоями: что-то там повреждено, — о несчастье! «Второе орудие засыпано снарядом! — слышим прерывистый голос по телефону. — В пятом сбит прицел». Ах, беда, беда! Наш огонь ослабел, а пулеметы застрекотали со всех сторон. Мимо нас перебежками продвигаются пехотинцы. «На чердак!!!» — грозно рявкнул на меня командир. Он все крестится. Снова ползу на чердак как загипнотизированный: смерть так смерть, только бы не мучиться так. О, нет! нет! Жить хочу! Господи, помилуй мя грешного! — и хочется креститься, как командир, но остатки разума еще тупо шевелятся. А пехотинцам же во сто раз хуже... Вспоминаю родных. Мысли путаются. Вот оно, оконце-смерть... С ожесточением выбиваю остатки стекла. Видимость теперь хорошая. «Немецкая кавалерия удирает за горку, снаряды накрывают ее!» — исступленным, пронзительным голосом кричу вниз. Чему радуюсь? «Слезай, слезай! — зовет меня старший. — Горит дом!» Да, домик занялся от снаряда. Смрадный дым забивает дыхание. Слезаю... Командира и телефонистов нет. Недоумеваю. Спохватываюсь и бегу. Догоняю их. Под пулями с трубой и угломером быстро идут наискось по улице к другому дому. «Подбери футляры, — спокойно говорит командир. — Они остались возле окопа». Бегу назад, хватаю футляры, снова мчусь догонять их. А где же командир? Забегаю за дом с надежными

кирпичными стенами, к которому они направлялись. Их нет, а стоят двое казаков с одним конем и курят. Второй конь, видимо, издохший или убитый, лежит горой посреди улицы. «Побежали на батарею», — объясняют казаки. И мне надо идти, но я боялся смерти; ах, как хочется остаться за этой стеной... Бегу на батарею, а она находилась в лощинке за хутором, саженей двести отсюда. Бегу, а пули над головой так и гудят, словно пчелы. Присел я в канавке перевести дух. Гляжу: а в канавке, пересекающей всю лощину, полно пехотинцев. Помаленьку постреливают, а иногда лопаточками в земле ковыряются, из дерна заслон перед собой возводят. Тогда пополз я по канавке мимо них. Когда полз, то обратил внимание, что несколько пехотинцев очень уж неподвижно прислонились грудью к насыпанной ими земле... Убитые! Страх охватил меня, я вскочил и, пригнувшись, побежал во всю мочь. Прибежал на хутор, а там, во дворе, полно наших раненых батарейцев; есть и пехотинцы, все лежат на свежей соломе. Тяжелораненых несут в хату. Никто не мог сказать, мне, куда девался командир, а батарея уже опять стреляет, значит, где-то он выбрал новый наблюдательный пункт и оттуда по телефону командует. «Когда же это успели кабель к нему с батареи протянуть?» — только и смог я удивиться и побежал к батарейным телефонистам. Возле первого орудия меня окликнул белоусый капитан Диамантов, сидевший у прицела, прижавшись спиной к стальному щиту-прикрытию. Капитана этого я редко видел, так как долгое время он был не в батарее, а где-то в другом месте, в обозе, что ли. «Вольноопределяющийся! — крикнул он. — Сбегайте в резервы: почему не присылают патроны, уже нечем стрелять». Я бросился назад, через сад, туда, где стояли передки. Там, за копной соломы, корчился раненый ездовой, а над ним стояли растерянные товарищи. Я сказал им, что надо сейчас же ехать в резервы, а они стали мне доказывать, что им не хватает человека, ехать невозможно. Я, глупец, побежал назад к Диамантову и доложил, что ездовые говорят: нельзя им ехать, человека недостает. «Шляпа ты! — обругал меня капитан. — Сам поезжай или кого-нибудь из санитаров посади. Пшел!» Мне было стыдно, но и обидно, что требуют, как от хорошо обученного солдата, а я еще совсем плохо

знаю службу (приехал в батарею месяц тому назад). Обиду мою заглушил страх, потому что сверху так и сыпались на меня срезанные пулями с яблонь мелкие ветки; летали пули и ниже. Когда я возвратился к копне, ездовые уже уехали без меня, не дождавшись помощи. Их товарищ, ездовой, скончался. «Надо же его унести», — подумал я и направился в хату, где был фельдшер. Санитар Лобков (которого командир бил за вишни) заболел, поэтому вместо него с санитаром Фельдманом, нашим белорусским евреем, за убитым пошел я. Несли под свист пуль, пробираясь по саду между кустов; убитый казался очень тяжелым. Фельдман вдруг понял, что несем не живого, а мертвого. Мы, словно сговорившись, перевернули носилки под яблоней, и труп шлепнулся лицом вниз, словно тяжелый мешок, а сами помчались со всех ног... Вовек не прощу себе этого малодушия, если не сказать трусости, из-за которой оскорбили память товарища. Потом фельдшер послал нас к орудию подпоручика Иванова за раненым номером, по фамилии Жуковский. Подпоручик бодрился сам и подбадривал свою орудийную прислугу. Увидев нас, он постарался повеселее кивнуть мне головой, сидя у орудийного щита-прикрытия, к которому прислонился плечами, и сказал что-то вроде: «Несите, несите его быстрей», — или нечто подобное. Донесли удачно и положили в хате, на кровать. Фельдшер сделал Жуковскому перевязку. Вот тогда мы закурили — фельдшер, раненый Жуковский и я. А Фельдман снова куда-то побежал смотреть, нет ли новых раненых. В хате лежал, к моему удивлению, Шалопутов. Месяц тому назад, когда я только прибыл в батарею, меня поместили в одной палатке с Шалопутовым. В то время он был храбрый, на словах, вояка, хвастался, что он бывалый солдат, потому что прислан в батарею из Виленской военной школы, за какие-то грехи, величал себя «старым юнкером», а меня называл «серым», «шпаком*», «шляпой». Теперь он лежал здесь. Кажется, спал... Или притворился? Может быть, ранен? А он услышал наш разговор и грубым самоуверенным тоном изрек: «Всех нас возьмут в плен... Видите, обходят кругом». Потом встал, закурил с нами и пошел

* Шпак (*бел.*) — скворец.

в дальний угол комнаты, повернулся к печке и справил там малую физиологическую нужду. «Что это вы, Шалопутов?! — пристыдил его фельдшер. — А еще вольноопределяющийся...» — «Так я же в печь, ничего особенного...» — «И во двор не хочет выйти», — осудил его раненый Жуковский.

Услышав о дворе, фельдшер бросил недокуренную сигару (все наши солдаты много набрали их в разбитых магазинах в местечке) и выбежал из хаты. За ним пошел и я. Ох, сколько же там было раненых!.. Стоны, кровь... Смотрю, у самой стены лежит кто-то с желтыми зубами, ощерив их от боли. Я не сразу узнал, а потом мне стало так тяжело, потому что это был наш славный весельчак Толстов. Я хотел сказать ему что-нибудь, понимал, что надо что-то сказать обычное, повседневное и дружеское, но не мог выдавить из себя ни одного звука. Толстов посмотрел на меня... В мыслях моих пронеслось, как однажды, гуляя по валу за городом, я услышал какой-то хрип в канаве, за кустами акации, спустился туда и увидел издыхающую собаку. Глаза у той собаки были как и у человека, когда он очень страдает от боли и безнадежности, чувствует, что кончается, что это смерть... Собака спряталась, чтобы ее никто не видел, и она была недовольна, что я тревожу ее последнюю минуту; она болезненно и негодующе захрипела, скорчилась... Такой же взгляд бросил на меня теперь и Толстов, бомбардир-наводчик первого орудия. Я заметил, как и фельдшер окинул его тем особенным взглядом, каким смотрят на людей уже потустороннего мира. Потом фельдшер с большой нежностью и лаской подал ему раскуренную сигару, потому что он попросил закурить. «За полчаса умрет», — шепнул мне фельдшер, когда мы уже отошли от него. И правда, когда минут через десять я снова проходил мимо, то увидел, что он, бедняга, стал синеть и по-мертвецки закрыл глаза. Кишки у него были иссечены осколком гранаты. Еще через несколько минут подошел фельдшер, положил руку ему на грудь и потом перекрестил как покойника: «Если бы вчера не наелся всякой зелени, то, может быть, и выдержал бы», — сказал он. Эта смерть произвела на меня гнетущее впечатление, я даже стал меньше бояться пуль и снарядов. А они снова посыпались. Один плюхнулся в небольшой пруд на самом подворье — и не взорвался. Черным дымом от снарядов заво-

локло все вокруг, скрыло синее небо, где чиркала крыльями беззаботная и смелая ласточка.

Гляжу: часы остановились на половине двенадцатого. Стекло разбито, стрелки погнуты. Когда и где ударил — не знаю. «Ах, быстрее бы уже кончился этот ад!» — прошу я неведомую силу. Сви-и-ж-ссь! — пуля пролетела у самого уха. Прячусь за стенку. «Где же наши главные силы?» — стонут там запасники. Все они хотят жить, возвратиться домой, кормить свои семьи и вести хозяйство. А я отупел, утратил ясность мысли и чувство воинского долга. Плетусь, словно больной или пьяный, в хату. Батарея бьет одиночными выстрелами. Нехватка снарядов; ждут из резервов. В хате все нервничают. Принесли еще одного раненого.

— Шалопутов! Уйди, тут раненого надо положить, — говорит кто-то.

Шалопутов лежит как колода.

— Знаете, я буду жаловаться на санитаров, — уныло угрожает фельдшер.

— Да? На кого же? — спрашиваю я, будто мне это очень интересно.

— Фельдман... совсем не слушают меня. У Лобкова живот болит. Лобков, — поворачивается фельдшер к Лобкову, — я о вас командиру доложу.

— П-пожал-луйста... — искажается в гримасе его детское безусое лицо. Боязнь смерти вцепилась в него своими безжалостными когтями.

Пришел ездовой Марчук, здоровенный мужчинище с сочной, но грубоватой белорусской речью. Он говорит:

— Кудой плывець ероплант, тудой ен и шпокае. А ероплант крутицца над нами, як каршун над падлаю.

Раненый Григорьянц лишь что-то бормочет поармянски.

Пришел фейерверкер Тихомиров и со своей костромской обстоятельностью, как и во всяком деле, намекает на плен. Неужели плен?

— О, Вильгельма, Вильгельма! Бог тебя покарает, если ты виноват в этой жуткой войне, — вслух рассуждает Тихомиров. — Несчастные люди...

От Тихомирова я узнал, что командир сидит на крыше одного дома, недалеко от батареи, и оттуда по телефону командует. Все мы умолкли, побежденные этим его геройством, и мысленно желали, чтобы судьба уберегла его от смерти. И уже хочется верить в чудеса. На моих же глазах один пехотинец-запасник, стоя в саду, вынул из шапки пулю. «Будто желудем с дуба щелкнуло», — сказал он с улыбкой. Возможно, что пулю кто-нибудь бросил на него, а возможно, пуля была уже на излете, потеряла силу и оказалась в шапке, но все запасники-россияне перекрестились, как при виде чуда... Кто-то даже заикнулся, что бывают люди, заколдованные от пуль, но его разговор никто не поддержал, потому что в таком шуме и грохоте боя было не до праздных разговоров. Все поспешили укрыться за углом сенного сарая.

Так тянулся этот бесконечно долгий день. Снова и снова летал над нами аэроплан. Пехота наша, которая нам была не видна, неистово палила по нему из винтовок, а он знай себе плывет и сбрасывает какие-то горящие ленты прямо над самой батареей.

Подпоручика Иванова ранило, и он пришел в хату на перевязку.

— Записать в книгу прикажете, вашродь? — спрашивает фельдшер.

— Зачем же?.. Я легко. Но если надо, ну что ж, запиши. — И застеснялся, и «возвратился в строй» с какой-то торжественностью, хотя и не без тревоги.

Бой утих вечером. Говорят, на помощь нам пришла с левого фланга какая-то дивизия.

Орудийная прислуга до того наработалась за день у пушек, что некоторые номера с трудом поднимали руки и проливали пищу из дрожащих ложек. Работали от семи утра до девяти вечера, без передыху и без обеда, то заряжая орудия, то подкапывая хоботы, то еще что-то.

После ужина приехали пехотные санитары и стали по всему полю собирать убитых и раненых.

Наш командир пришел на подворье, стал возле хаты, где у стены на соломе лежали убитые, перекрестил Толстова и сказал: «Царство небесное!»

В хате он расцеловался с каждым раненым, говоря: «Поздравляю, брат, что удостоился пострадать за Веру, Царя и Отечество!»

При этом царила торжественная тишина, у некоторых на глазах выступили слезы. Даже мне было тяжело за свою враждебность ко всему этому красивому самообману.

Потом произошел некрасивый случай с Шалопутовым. Выходя из хаты, командир увидел его, лежащего в углу, в сенцах, пристроившегося на каких-то досках, на подстеленной шинели.

— Ранены, Шалопутов?! Шалопутов! — позвал его командир.

— Гм-му-у...

— Ты ранен, Шалопутов?

— Никак нет... у меня нога.

— Что нога-а? — и давай его стаскивать.

— Болит очень... Ушиб где-то.

— Ну и поганец, — с глубоким презрением и стыдом за него сказал герой-командир и быстро, как от чего-то омерзительного, отошел.

Из офицеров у нас ранен еще штабс-капитан Домбровский, но остался в строю. А в третьей батарее убит командир. Кажется, я его когда-то видел: сильный, добродушный мужчина-русак, с большими рыжими усами, по фамилии Шилов. Говорят, умирая, уже вечером, он пошутил, сказав обступившим его офицерам: «Вот тебе и Георгиевский крест... Поставьте хотя бы деревянный...» Эти слова надо пояснить. Он со своей батареей нанес немцам такой урон, что еще во время боя генерал по телефону сказал ему: «Поздравляю вас, полковник, с Георгиевским крестом». Когда Шилов умер, один солдат упал ему на грудь, целовал и плакал. Ни один из видевших это тоже не мог удержаться от слез. А убила его пуля, влетевшая в окно на чердаке, когда он, схватив какую-то дверь, стал загораживать окно, устраивая себе наблюдательный пункт. Убит был под вечер, в конце боя.

Думаю: вот и меня могло так же убить на чердаке теперь уже сгоревшего домика.

Нет больше времени писать, и голова болит от вчерашнего грохота и еще больше от собственной нервозности.

Пишу после обеда, поправив окопчик. Тихо, спокойно. Сидим вдвоем с Вороновым на том самом наблюдательном пункте под деревом, у сгоревшего дома. Смрад идет от

пожарища, ветер вздымает пепел и песок и сыплет на нас. Хочется спать, потому что всю ночь после вчерашнего боя просидел я с Вороновым на этом пепелище. Ну и холодно было нам! И всю ночь немецкие прожекторы светили на нас и сеяли тревогу.

* * *

9 августа.

Конец вчерашнего дня был для меня горьким. Старший, посмеиваясь, уколол меня: «Вы тоже в хате прятались». Да, прятался... Нечем оправдаться. Я покраснел и молчал. Сегодня мне веселее. Сон вернул мне силу, и какой-то внутренний голос успокаивает меня: ну и хорошо, что прятался, — ты еще понадобишься для своего главного дела.

Так, оказывается, у нас серьезная победа. Немцы отступили, бросив много убитых, раненых и оружия.

Сегодня я проснулся на батарее, возле окопа телефонистов, от яркого, теплого августовского солнышка и шумного спора в хате между офицерами 1-го и 2-го дивизиона о трофеях.

Нож мой пропал, и нечем заточить карандаш для описания этого офицерского спора. Спорят о том, кто уничтожил немецкую 12-орудийную батарею, отчаянно выдвинувшуюся на открытую позицию, которая видна от нас невооруженным глазом. Вокруг позиции этой несчастной и геройской батареи теперь валяются разорванные на куски кони и люди, кучи убитых снарядами и удавленных гужами лошадей, безобразные и страшные груды человеческих тел с оторванными руками, разбросанные вещи. Зарядные ящики взорваны, погнуты, смяты, как бумага в кулаке, некоторые разнесены буквально в щепки.

Представитель первого дивизиона, худой и черный усатый капитан, как видно, новый командир третьей батареи, со слезами на глазах уверяет, клянется, что батарея уничтожена им, что она даже не успела выехать и сделать хотя бы три-четыре выстрела из двух орудий.

Офицеры 2-го дивизиона, придя в гости к нашим (я служу в первом дивизионе), возражают... Их батареи стояли далеко справа и сзади нас, и даже я, ничего не смысля в артиллерийском деле, удивляюсь, как могли они, а не мы, уничтожить ту батарею.

Время, количество одновременно выехавших немецких орудий, записи команд, свидетельства пехотинцев и многое другое — все доводы доказательно разбиваются, и спор склоняется в пользу первого дивизиона, стрелявшего тринадцать часов подряд!

Дослушав препирательства до конца, я пошел умываться, но долго-долго искал воду и нигде не нашел. Войско всю выпило. В колодцах на дне осталась одна грязь. Колодцы здесь большей частью закрытые, с насосами. Насилу выпросил воды попить у командирского ординарца. Сегодня и обед запоздает, так как за водой поехали на реку, за несколько верст отсюда. Бродя по полю, видел много убитых коров и лошадей. Почему их не закапывают? На обочине дороги видел целую гору собранных пехотинцами винтовок, шинелей: светлых, синих — немецких, и серых, грубошерстных — наших; ранцев косматых, бурых — немецких, и холщовых — наших; шашек, пулеметных лент, ботинок и прочего. И все несут и несут...

Вдруг послышалась «венская» гармонь! Звонкие, весело-игривые звуки залихватской полечки потрясли меня. Не могу выразить того запутанного клубка чувств, который подкатился к сердцу. На глазах невольно выступили слезы. Мысли мои полетели в тихую, мирную прежнюю жизнь на милой, родной Могилевщине. Праздничный день, танцы, гулянье… А тут я вижу жуткое поле смерти под синим, теплым, безмятежным небом.

Но вдруг музыка оборвалась. Может быть, кто-то не позволил играть перед померкшими глазами убитых товарищей... А пусть бы играла гармонь победу жизни над смертью! Не все ли равно, что тут делать: плакать или смеяться?

Музыка доносилась с ближайшего хутора, очень большого, занятого пехотинцами. Я пошел туда. Там во дворе и в сарае, на подстеленной желтой соломе, полно раненых, перевязанных белыми, но с уже проступившими пятнами кро-

ви бинтами, — немцев и русских. То тут, то там между ранеными лежали неподвижные фигуры — это скончавшиеся от ран. Оскаленные зубы, тусклые, запавшие глаза, спутанные, замусоленные усы — страшно смотреть.

Тут и штаб. В саду я услышал, как начальник нашего отряда говорил с кем-то по телефону:

— Нет сил собрать. Может быть, тыл подберет. Не менее семисот винтовок. Более двух тысяч человек... Да! Лежат цепями, колоннами. Бог знает, то ли они уже раненые сползлись в кучи и умерли вместе, или так одновременно убиты. Артиллерия и пулеметчики работали на славу! Рад стараться, ващдитство!

Мимо нашего наблюдательного пункта по дороге проходит и проезжает много разных военных. Недавно ехал пьяный казак. Болтается в седле. В одной руке разбитый телефонный аппарат, а в другой — бутылка с наливкой. Он попросил меня подать ему головешечку прикурить и предложил мне потянуть «немножко» прямо из горлышка. У него, пьяного, горе: говорит, будто «вольные» немцы (мирные жители) убили двух его станичников, а сам он насилу избежал смерти.

Привалы

10 августа.

Поход наш продолжается. Пишу на крутом берегу неширокой, но полноводной и глубокой реки. Мост разрушен. Саперы наводят понтоны. Куда ни глянь — и проволочные заграждения, и волчьи ямы. Удивляюсь, почему немцы оставили их без боя.

Переправились. Местечко. Разумеется, безлюдное. Кирха (а может, — костел). Наши католики забегают и коленопреклоненно молятся. У самой кирхи, на подоконнике раскрытого окна пустого дома, граммофон, заведенный рукой врага, похабным диссонансом в условиях войны и смерти ревет мирного «пупсика». Молодые пехотинцы столпились у окна, смеются, гогочут, а некоторые подпевают по-русски:

— Пуп-сик, мой ми-лы-ый пу-упси-ик!..

Потом завели неприятную мне немецкую «польку», разобрались на пары и кружатся как сумасшедшие. Которые постарше — невесело поглядывают на этот балаган, отряхивают со своего обмундирования пыль, вытирают пот, переобуваются.

В другом доме нашли рояль. Почти каждый побарабанил пальцами. Наконец надоело. Наш ездовой рубанул шашкой вдоль по всем клавишам. Пехотинцы подняли крышку и оборвали струны. Когда увидели идущего сюда офицера, все разбежались в разные стороны. Забыл отметить: вчера нам объявили, что за пьянство будут розги, а за грабеж и разбой — расстрел.

11 августа.

Вчера вечером мы, телефонисты, обожрались медом. Всю пасеку разворотили. Впотьмах не столько меда достали, сколько пчел подавили. Лицо у нашего старшего разнесло, как от нарыва. Мои руки тоже искусаны, потому что и я ходил помогать управляться с пчелами. Думал, все будет по-людски, а получилось постыдно и гадко.

Пехотинцы довершили нашу работу. Офицерские денщики тоже набрали для своих господ миски две лучших медовых сотов. Интересные улейки: сплетены из соломы и ракитника, как наши плетенки, куда ссыпают коноплю. Я даже обрадовался: и у немцев не только рамочные пчелиные домики. Шалопутов из батареи исчез бесследно. Думают, что сбежал, потому что никто не знает, когда и куда он девался.

Сегодня проезжали первое немецкое не безлюдное селение, а с жителями. Но они прячутся от нас.

12 августа.

До обеда ехали. Страшная сонливость охватила меня, потому что за эти три дня похода физически очень устал (садиться на двуколку запрещают, надо идти пешком). Еще больше утомился умственно. Ни о чем не хочется ни думать, ни рассуждать.

После обеда рыли окопы. «Что это вы как без рук?» — с презрением сказал мне старший, глядя на мою работу.

Его нервозность — признак того, что завтра может быть бой.

Подходит много свежих войск — пехоты, разумеется.

Потери наши 7-го августа, как теперь говорят, страшные: 50–60 процентов.

Появились автомобили с каким-то важным начальством.

Я заметил, что мирные немцы воспрянули духом. В одном селении разговорился я со старым немцем, который говорит по-польски. Старик сказал, что немцы уже разбили Бельгию и Францию. Неужели правда? Может быть, наше начальство скрывает от нас? Этот старик дал мне хлеба без примесей, свежего, вкусного. Я давал ему гривенник, но он кланяется и все: «Нейн, нейн».

13 августа.

Утром был густой туман. Обедали на привале в м. Алленбург. Совершили налет на магазины с сигарами, вином и какао. Но из съестного — нигде ничего хорошего нет. Немки давали воду. Все, кто остался в местечке, — бедный люд. Они сами водили наших солдат к богатым магазинам и, смешно выставив вперед руки, будто охватывая большое брюхо, показывали, что владельцы этих магазинов, пузатые буржуи, удрали, а их оставили одних.

Когда выехали из Алленбурга, оказалось, многие из наших батарейцев пьяноваты: смеялись, галдели, и все, даже некурящие, дымили дорогими панскими сигарами с золотой опоясочкой.

Я тоже хлебнул немножко вкусной-вкусной и такой приятно-густенькой наливки, не предполагая, что она обманчива: наливка оказалась очень хмельной...

Сразу же голова у меня стыдливо-весело закружилась. Боялся только, чтобы командир не заметил, что я пьян.

Я старался идти как можно ровнее и сохранять серьезный вид. Но лицо и уши у меня, как и у всех, были красными, огнем пылали.

Когда же хмель стал проходить, упало и мое настроение.

Телефонные двуколки вместе с командиром батареи ехали несколько впереди, на некотором расстоянии от батареи.

Из небольшой рощицы до нас донеслось несколько выстрелов из револьвера или карабина. Стало немного тревожно...

Вдруг едет оттуда подвыпивший казак, и сразу к нашему командиру; стараясь прямо держаться в седле, рапортует, что он убил «двух штатских немцев-шпионов».

Подал взятые у убитых бумаги.

Командир читает и болезненно морщится, глядя на усердного воина: из паспортов, конвертов и замусоленных записок видно, что это — русские чернорабочие, которые были на заработках в Германии и возвращались теперь назад, в Россию.

Казак смутился, но не очень: видимо, не поверил. А сам неграмотный. И как у него с ними вышло, понять невозможно: «Побежали... побежали... кричал». Известно, хмельной человек.

Мало того: ему еще обидно, что его не похвалили. Ехал — и ворчал на нашего командира.

14 августа.

Привал на огромном дворе какого-то барона. На главных дверях старинного дома-дворца приклеен белый лист бумаги: «Оставляя свое имущество, прошу всем пользоваться, но очень прошу не жечь. Эта старинная башня была сооружена рыцарями для защиты от язычников». Я хотел осмотреть дворец, но при нем уже стоял наш пехотный караул, и меня внутрь не пустили.

Немного поодаль, возле флигеля, ползали голодные щенята и скулили. У них только-только открылись глаза. Сука укусила одного из казаков, и он пропорол ее пикой. Когда через несколько минут я пришел сюда снова, кто-то придушил и щенят. Правильно сделал.

Потом в дороге наш Ехимчик долго рассказывал мне, какая хорошая сука была у того штейгера, под началом которого он работал в шахте: и на задние лапки становилась, и смеялась, и убитого учуяла в песке и откопала. А убили того человека его же дружки за гулящую девку; их сослали на каторгу. О задушенных щеночках он сказал со своим украинским хладнокровием так: «Мудрый ций чоловик, що вбыв: навищо ж малэньким страждать».

Сегодня нам читали в приказе о больших победах союзников над немцами в Бельгии. Значит, тот старик мне налгал.

Теперь нам на привалах в каждом селении выносят воду — старые немки, немцы и дети. Иногда даже дают молоко, белый хлеб, яблоки. Солдаты проявляют при этом отвратительную жадность.

После полудня донесся гул орудийной стрельбы. Завтра бой?

На привале в м. Грос Энгелев я видел, как в покинутой немецкой хатке под соломенной крышей (здесь это невиданное диво, потому что крыши чаще всего черепичные), солдаты нашей батареи абсолютно все пораскидали порасшвыряли и кинжалами стали ломать большой сундук, очень тяжелый, грязный. Никак не могли взломать замок. Я обозвал их свиньями и хулиганами, мародерами и стыдил их, а им хоть бы хны. Обругали меня по-русски и назвали «вольношляющимся». Я отстал от них и пошел из этой передней комнаты в более чистую комнату; там на полочке лежала толстая книга в дорогом переплете. Раскрыл книгу — и на первой странице увидел Вильгельма во всем его королевском и императорском величии и пышном одеянии. Какое-то зло меня взяло, и я внизу к подписи пририсовал крестик и поставил «1914 год», что должно было обозначать смерть его в этом году. Пришел я на батарею, смотрю — а мои громилы несут мне ту самую книгу, чтобы я взял и ублаготворился. Но я не взял. Они посмеялись и отдали книжку нашему кашевару на растопку.

15 августа.

Едем дальше. По дороге все чаще и чаще красивые рощицы, в пригретой травке прыгают и звенят кузнечики. В тени приятная роса...

Наконец въехали в большой немецкий лес. Много белок, птиц. Перебежало через просеку гона за два от нас несколько стройных диких коз.

Доносится далекая глухая стрельба из орудий.

Форты

16 августа.

Вчера после обеда и до самого вечера простояли с телефонными двуколками в том большом лесу. Натерпелись страху. Пехотная разведка, как при облаве, рассыпалась вокруг нас по лесу и скрылась из вида. После длительного тревожного ожидания мы услышали далекую перестрелку из карабинов, потом показалось несколько разведчиков, среди которых были и легкораненые, со свежими белыми бинтами на голове или руках. Вдруг прискакал из леса и наш командир с батарейной разведкой и раненым пехотным офицером. Все приехавшие были в подавленном настроении. Не было времени на расспросы, мы моментально свернулись, ударили по коням и во всю прыть загромыхали по гладкому и прямому, как стрела, шоссе назад к батарее. Не успели проскакать и полгона, как по тому месту, где мы стояли, враг стал «крыть» тяжелыми снарядами, невероятной, не виданной еще нами силы. Лес зашумел, наполнился гулом, треском, звоном. «Из фортов нащупывают...» — разобрал я несколько слов из тревожного разговора командира с нашим старшим телефонистом Лаптевым, тоже испуганным. Из каких фортов, я не мог понять: неужто мы успели так близко подкатиться к Кёнигсбергу?

Батарею свою догнали на другой дороге; она тоже, без нас, свернула и потянулась куда-то в сторону и назад. В сумерках мы уже были возле какого-то местечка. Тут, по обе стороны дороги, стоял огромный табор немецких беженцев. Бросилась в глаза разница в настроении мирных жителей. Они смотрели на нас гораздо смелей; пара-другая глаз светилась затаенным вызовом и злой радостью. Какая-то рыжеватая девушка смеялась и махала нам рукой, показывая, чтобы мы уезжали назад, в Россию. Она кивнула головой в сторону своей опечаленной подружки, потом послала мне рукой поцелуй. Что она говорила, я не мог расслышать из-за тарахтенья колес.

Одна картина вчерашнего дня оставила особенно тяжелый осадок в моей душе. Верст пять по шоссе от того табора, то отставая, то обгоняя, бежали при батарее двое стариков: крупный тучный немец и его сухопарая седая жена. Немец был красный как рак и потный, запарившийся, с вытаращенными неприятными рачьими глазами. Он просто задыхался от бега. Растрепанная, зареванная старуха припрыгивала, как подбитая. Они искали начальство, которое забрало их сына, паренька лет пятнадцати. Взяли парнишку за то, что он будто бы что-то плохое сказал о русском войске. Никто из нас не знал, куда и кто его забрал, а старики все бежали, высунув языки, и, обливаясь слезами, спрашивали у всех нас на своем непонятном жаргоне о сыне и по-собачьи заглядывали в солдатские глаза. Уф!

Потом снова мы, телефонисты и разведчики, вместе с командиром затарахтели далеко вперед от батареи. После долго стояли, озябшие, в темноте, на дороге и ждали батарею. Я уже потерял ориентацию, не знал, куда, в какую сторону мы направляемся. Снова поехали. Темно — хоть глаз выколи. Курить запрещено: говорят, над нами повис дирижабль. Ночевали прямо на дороге, в полной амуниции, не распрягая лошадей. Холод, не дай бог. Промозгло, зябко. Тревожная дремота.

Ранний рассвет. Не могу сориентироваться. Кажется, со всех сторон слышу орудийную и винтовочную пальбу. Первый раз в жизни увидел дирижабль. Как черная сигара, неподвижная, мрачная, высоко-высоко висит над нами в хмуром небе и гипнотизирует.

Наконец-то совсем рассвело. Солнышко согрело нас. Дирижабль незаметно исчез. Мы заняли позицию. Вырыли окопы.

17 августа.

Стоим на той же самой позиции — вблизи какого-то Картау, небольшого поселка. Кто-то вспомнил, что сегодня праздник — воскресенье. Все стали бриться (весь день было тихо, спокойно). Побрился и я. Даже на душе будто бы посветлело.

Бродил бесцельно вокруг позиции и... встретил возле реки знакомого с нашивками вольноопределяющегося, бывшего банковского служащего из Вильно. Он брал обеды у моей квартирной хозяйки-литвинки в Замковом переулке. Она пекла необычайно вкусные налистники. Я насилу узнал его. А ему стало стыдно за свой вид. Сидел босой, опустив волосатые ноги в нагретую солнцем водицу, мрачный, давно не бритый, в очень грязной гимнастерке. Разговаривает неохотно. Уверен, что в живых не останемся, в Вильно не возвратимся. Смерть стоит в его мутных, угасших глазах. Они оживились какой-то безропотной завистью, когда узнал, что я служу не в пехоте, а в артиллерии. «У вас, у батарейцев, вероятно, есть соль. Одолжите мне щепотку, пожалуйста...» Я принес ему щепоть соли, но разговора больше не начинал, потому что тяжело было на сердце от его вида. Он сказал, что в его полку после боя 7 августа мало кто остался в живых из второго пополнения, с которым его пригнали.

18 августа.

Дождь. Сыро, холодно. Ушел с позиции гона за три в пустой дом немножко погреться. Дверь открыта, пусто, но слышу: в дальней темной каморке что-то происходит... Схватился за кинжал, осторожно подхожу: оказывается, невзрачный пехотинец с цифрой 106 на погонах ковыряется лопаточкой в земле. Вытаскивает из ямки большой узел разного барахла, развязывает постилку и копается в тряпье. Стыдно и противно: это шакал. Я ему ничего не сказал, повернулся и пошел на цыпочках к выходу. Но тут вбегает огромный черноволосый верзила (на погонах тоже цифра 106) и озабоченно и по-деловому басит с порога: «А що, нэма часом хусточкы?» Мерзость.

* * *

19 августа.

В четыре часа дня бабахнули первые выстрелы нашей батареи в ответ на огонь врага.

Наш третий бой.

— Тротиловой гранатой! беглый огонь... Огонь!!!

Бух-бух-бух! Загудело, загрохотало, понеслось. И через какие-то секунды: тах, та-ах, тах! — удачные попадания.

Записываю команду и в перерывах (во втором орудии задержка: гильзу заклинило) успеваю записывать кое-что в свою записную книжку. Нас не обстреливают, поэтому орудийная пальба мне нравится: в ней есть своя красота. И батарейцы тоже как будто повеселели: монотонность последних дней наконец нарушилась, неопределенное ожидание закончилось. Дождик немного покапал и перестал.

— Прицел 150... Стрелять правому орудию... Тротиловой гранатой... — слышу из телефонной трубки. — Готово?

— Готово!

— Огонь!!

Неужто бой разгорится? Наблюдательный пункт недалеко: в высоченной насыпи недостроенного железнодорожного моста. За толстой каменной опорой моста — окоп под тремя рядами наката. Прочная штука! Там сидеть безопасно. Этот окоп утром рыл и я, так как находился в то время на наблюдательном пункте. Зачем отослал меня старший сюда, на батарею? Тут для телефонистов не окоп, а яма.

— Подкопать хоботы!

Артиллеристы быстро подкапывают хоботы (задние концы пушек), чтобы стволы еще больше поднялись вверх. За бойкой работой находят время пошутить, спорят, смеются и виртуозно матерятся. Я уже свыкся с их матерщиной: Беленький вбил-таки в меня это «наплевать». Дождь совсем прекратился. Выглянуло солнышко; дождевые тучи разбегаются. Третий наш товарищ, флегматичный костромич Пашин, принес тем временем полное ведро картошки, приготовленной со свежей поросятиной. Повар из него хороший. Но поесть нет времени: снова команда. Остынет бедная картошка. А без соли, которой уже нет и у батарейцев, будет совсем невкусная. «Братцы, давайте попеременно!» — советует Беленький. «Жри!» — по-приятельски шутливо подталкивает он меня локтем, уступая первенство. Ем, аж за ушами трещит. «Прячь свою записную книжку, а то прочту!» — «Нет, братец, дудки! Спрячу за голенище». — «Когда-нибудь доберусь». — «Разве что в Смоленске». Следующим за картош-

ку принимается молчаливо-рассудительный Пашин. Беленький будет есть, когда все насытятся — деликатный человек!

— По отступающей пехоте! Уровень больше: ноль десять... Батарея готова?

Мы молчим, не знаем, что отвечать. Спрашиваем у батарейцев.

— Подкопать! — ревет телефон. — Батарея готова?

— Нет, еще не готова, — отвечаем наконец.

— Я приказал подкопать, а они расселись! — раздается свирепый голос старшего (все передается дословно, так, как говорит командир).

— Шестое, седьмое и восьмое готовы, — даем ответ.

— А пятое?

— Нет...

— Стрелять шестому. Огонь!!!

Снова команда: подкапывать!.. Но уже невозможно: прави́ло мешает (палка, которой поворачивают орудие).

— Быстрей, быстрей, а то враг удерет... не успеете огреть его по затылку гранатой, — орут с наблюдательного пункта, передавая слова командира.

— Огонь!!

Бух-бух-бух!..

А где-то сбоку чуть нежней поет пулемет.

— Т-т-т-т!..

Бьем аж на шесть верст. Стволы орудий глядят прямо в небо. Похоже, такое первый раз в нашей боевой практике.

Но понемногу канонада утихает. Батарейцы, оживленные, довольные, отдыхают. В окопах сыро, под ногами грязь. На землю ложатся сумерки. Минут через двадцать после пальбы прибегает, высунув язык, весь взмокший ординарец 2-го дивизиона: командир просит нас не стрелять, потому что мы... *Поражаем свою пехоту*. О, проклятый, как поленом по голове стукнул.

— Почему же ты пешком?! Где твой конь?! — готов разорвать его на части наш всегда уравновешенный капитан Смирнов.

— Подо мной убили коня...

— Мы, вашродь, не поражали... у нас прицел и уровень не того... — бормочет орудийный фейерверкер Гладков, чтобы хоть немного от сердца отлегло.

А с наблюдательного пункта снова спрашивают:

— Батарея готова?

Отвечаем:

— Мы поражаем свою пехоту.

Мертвая тишина в трубке.

— Хороших дел наделали, если свою пехоту... — криво улыбается капитан Смирнов и сам бежит говорить по телефону. «Командир пошли на батарею», — передает старший.

А может, дивизионный 2-го дивизиона ошибся? Будь проклята война!

Темно писать.

20 августа.

Всего наша батарея выпустила вчера, по моим записям команд, — 1012 патронов. «Сначала крыли уфимцев, потом огонь перенесли на уральцев», — горько шутят солдаты. Своих поубивали...

Сегодня весь день пасмурно. Пронеслась гроза. Сильно грохотал гром, молнии сверкали беспрестанно. Дождь залил нашу яму. Рыли новый окоп. Я выбился из сил. У Беленького разболелся живот: не надорвался ли он, таская с железной дороги шпалы? Зато окоп сделали — «мое почтение», как говорит довольный Пашин.

Вечером — тихо, безветренно, хоть мак сей. Полнолуние. Бодряще-свежо. Журавли пролетали: «Кур-кур... Кур!» Беленький услышал их курлыканье и заплакал — совсем расклеился наш милый еврейчик. Все бросаем и при свечке играем в новом окопе в карты. Окоп — как дом. Беленький уже хохочет, целует меня... «Это у меня от картошки живот сильно болел, прямо до слез». — «Рассказывай бабушкины сказки», — ворчит степенный Пашин.

Еще несколько слов. Сегодня увидел нашего командира в ином свете. Я слышал, как он рассказывал офицерам: «Убитый немецкий солдат обгорел, слегка поджарился. Подошла свинья и обгрызла ему ногу. Одним словом — своя своих не познаша». К чести офицеров, никто не засмеялся. Должно быть, и командир говорил это не искренне, а для поднятия патриотизма. Гадко!

21 августа.

Весь день тихо. Отдыхаем на этой же позиции. Приезжал наш дивизионный. «Бейте немцев и завтра так, как били позавчера, — сказал он нам. — Спасибо, братцы, за молодецкую работу! Потери у нас небольшие, а немцев положили много». — «Чтоб тебя раздуло с такой работой, если правда, что и своих поубивали», — сказал Пашин.

Немцы отступили — «Снаряжай!». Передки уже приехали на батарею.

Алленбург

22 августа.

Всю ночь ехали, под проливным дождем, на северо-восток и юго-восток, но все на восток и на восток... Что это: отступаем или на отдых едем? Никто ничего не говорит. Проезжали местечко... не Алленбург ли это? Вроде что-то знакомое. А грязь, темень, холод! Дождевые тучи раздирают небо.

23 августа.

Ехали-ехали, наконец заняли позицию недалеко от Алленбурга. Я не ошибся, вчера ночью проезжали его. Значит, немного отступили? Гм! Но окопы вырыли, выспались.

Ехимчик сегодня в хорошем настроении. Побрился моей бритвой и разговорился о своей домашней жизни.

— Всегда я то и дело ссорился со своим отцом, — рассказывает он.

А сыновей у его отца, бедного хлебороба, было много — «сынов как соколов», — а подмоги никакой. Все разбрелись по белу свету. Было Ехимчику пятнадцать лет, поманило и его уехать на шахты — «заработать на себя копейку». Отец плачет, клянет его. Но паспорт вынужден был дать. Возвратился Ехимчик из шахт, отец снова плачет, но уже от радости. Однако в тот же день поссорились... Жениться задумал — ссорились, свадьбу играл — ссорились, стали жить-поживать — ссорились, на войну шел — плакали и ссорились.

— И как это так получается, что всегда мы ссоримся? — удивляется Ехимчик.

Я не знаю, что ему ответить, но вижу, что Ехимчик дал себе зарок не ссориться больше с отцом, если вернется с войны. И я говорю:

— Ну вот, побудете на войне, возвратитесь — не станете ссориться и уже никогда не будете ссориться...

— Та воно ж дило такэ...

А я себе думаю: «Дило такэ, что, может быть, уже не доведется тебе ссориться с отцом, мой милый Ехимчик, несчастный ты бедняк, шахтер и царский солдат...»

24 августа, воскресенье.

А что там у нас дома? Давно нет от них никакой весточки. Ивана, видно, забрали на войну как запасного. Обо мне горюют. Вот уж наплачется наша бедная мама.

Сижу в окопе на ступеньках у входа и курю сигару, наевшись картошки у батарейцев 8-го орудия. Там завелись у меня приятели. Я все больше узнаю своих батарейцев, хотя многих еще не знаю по фамилии. Все солдаты ко мне добры и чем могут облегчают мне тяжесть армейской жизни на войне. Они думают, что мне, как новичку и вольноопределяющемуся, особенно трудно. Среди «панов» нет столько великодушных, сколько их есть в «простом» народе.

Утром пил плохое какао без сахара. Потом перекрыли с Пашиным окоп. Насыпали побольше земли на толстые доски, положенные в три ряда крест-накрест. Легкий снаряд, возможно, и не пробьет.

Кричали «ура». Нашими войсками взят Львов. Потому что медленно собирались и строились, командир крикнул: «Зажирели!» Он прочитал телеграмму Ренненкампфа и сказал: «Надеюсь, что и мы не отстанем от своих боевых товарищей». Значит, мы отстали... или что? Наивный и по молодости не сдержанный на язык подпоручик Иванов, как бы в ответ на мои мысли, сказал мне между прочим в разговоре: «У нас вот не клеится».

Недобрая тревога слышится мне в его словах.

26 августа.

Вчера набрасывал план позиции, не было времени писать. Вчера и сегодня летают аэропланы. Наша пехота об-

стреляла свой же самолет. Летчики вынуждены были спуститься.

Рисуя в канцелярии батареи увеличенную копию нашего участка позиции с карты-двухверстки, я одним глазом прочел в командирской газете «Свет» телеграмму о том, что ген. Самсонов погиб, что потери наши велики...

Нет ли здесь связи со словами подпор. Иванова: «У нас вот не клеится»? Командиру, когда он пришел, не понравилось, что у меня перед глазами лежит «Свет»! Но он сегодня вообще не в настроении: в пути денщик потерял его простреленный и порванный в бою 7-го августа мундир, который дорог воину как память о сражении. Планом моим он не очень доволен, потому что я рисую, как землемер, а не как военный специалист. Мне это очень досадно, так как я уважаю этого нервного человека и хочу угодить ему своей работой.

Весь вечер и ночь ждем боя. Я дежурю у телефона на батарее. Сон сморил меня, сижу и клюю носом. А лечь с трубкой боюсь: усну как убитый.

* * *

27 августа, утро.

Первая батарея начала стрелять в семь часов утра. Наша — позднее.

Туман, холодно, солнышко из-за леса поднимается красное, жаркий день нам обещает...

Пишу вечером.

Долго мы только слушали, как справа от нас первая батарея бьет залп за залпом беглым огнем. Приятно было слушать.

Потом забухали наши батареи со всех сторон, через наши головы полетели первые немецкие снаряды и крошили тот лесок, за которым стоял наш обоз первого разряда и куда я ходил в канцелярию. Там же, где-то поблизости, находились и наши передки. Потом передки подъехали ближе. Далеко впереди затрещали пулеметы, зашпокали винтовки, все чаще, чаще — и загудело все, как 7-го августа.

Нам уже стало досадно и тяжело от ожидания и бездействия. Наконец откуда-то с поля боя примчался верхом на взмыленном коне наш командир, бросил коня на батарее, чтобы вели его к передкам, пошептался с капитаном Смирновым и быстро побежал на наблюдательный пункт. Через минутку мы палили и уже палили до вечера. Не было уже ни интереса, ни восторга, а только — упорная, напряженная и какая-то злая работа. Потому ли, что долго не стреляли перед этим, или потому, что отдохнули, или потому, что не хочется отступать, но все будто сговорились окаменеть в этой старательной и злой, напряженной пальбе.

Снаряды засыпали батарею, тяжелые, невероятной, невиданной силы.

Осколки много раз перебивали нам кабель. Ходили соединять по очереди — все побывали на волоске от смерти, потому что связывать кабель приходилось на открытом поле под ураганным огнем. С Беленьким после пятой вылазки на соединение кабеля случилась истерика. Возвратившись, он упал на дно окопа, катался на спине, как бы пытаясь зарыться в землю, голосил, кричал, ругался. В это время оглушительно разорвался тяжелый снаряд в двух метрах от лаза в наш окоп, и мы потеряли сознание... Земля вздрогнула как живая. Телефон умолк, трубка выпала из моих рук. Посыпались комья земли, нас обволокло копотью и густым, черным смрадным дымом. Батарейцы 1-го орудия бежали вытаскивать наши трупы из ямы. А глядь — мы потихоньку выползаем сами... Они рассмеялись и повернули назад. На этот раз был мой черед идти искать повреждение. Я, оглядывая кабель, побрел как обреченный. Снова бабахнули снаряды — один впереди меня, второй — сзади, в 1-е орудие. Людей разметало во все стороны. Я тоже упал, а почему — не знаю. Однако хорошо, что упал: осколки просвистели выше, над головой, а оборванные концы провода я увидел перед самым своим носом. Отупев от страха и немножко как бы не в себе, я непослушными пальцами наспех, кое-как скрутил, скрутил концы провода... потому что узел не вязался. Пошел назад. Хочу быстрее — ноги не слушаются, как колоды. Пашин радостно машет рукой: телефон заговорил. Неведомая сила подхватила мое тело, и ноги, как на пружинах, толкали меня ближе и ближе к окопу-спасителю. Батарея услышала

команду — открыла огонь. Только я ввалился в лаз окопчика, как — тр-рах!!! — там, где я только что соединял кабель, огромный столб черного дыма и комья дерна взметнулись высоко в небо... Флегматичный Пашин побелел как полотно. Без слов передает мне трубку и, чуть помедлив, отправляется исполнять свою обязанность — его черед. «Господи, спаси его! Господи, возврати его!» — в чрезвычайном напряжении все мы молили об одном, не размышляя, есть такая сила или нет такой силы, которая могла бы спасти Пашина.

— Будь проклят Вильгельм и каждый, кто хочет войны! — исступленно кричит у меня над ухом Беленький и передает несущуюся из трубки команду командира: — Два патрона, беглый огонь... Огонь!

— Огонь!! — пронзительным, нелепым, диким голосом ору я команду на батарею.

— Огонь! — спокойно командует капитан Смирнов, вынимая папиросу изо рта.

Батарея грохочет. В ушах звон, голова трещит.

— Вольноопределяющийся! Не выкрикивайте так громко команду, вы ведь сами заглушаете свои слова, — спокойно осаживает меня капитан.

Нервы успокаиваются. Пашин возвратился. Но у него на глазах слезы: ездовому (не знаю его фамилии), близкому знакомому Пашина, земляку, подносившему на батарею снаряды, большим осколком вспороло живот, и кишки выпали.

— Где же он, твой земляк? — задаю дурацкий вопрос.

— Разве не видишь?

Ай-ай, прямо возле окопа фельдшер с красным крестом на рукаве и сам тот раненый запихивают синие грязные кишки назад под гимнастерку. Пашин с размаху швыряет в окоп желтую кожаную сумку с инструментом для соединения кабеля и бросается туда, где лежит его земляк с выпавшими кишками. Но несчастный уже скрючил на груди немытые, руки и на глазах синеет, чернеет... Фельдшер крестится, Пашин — тоже и рукавом смахивает слезы, будто мух отгоняет. Мне на этот раз хочется сделать, как и они, да рука не поднимается: при виде этих порванных кишок я верю и не верю, что есть нечто, что зовется Богом.

Вечером старший приказал нам, команде телефонистов, построиться. Построились, ждем.

Пришел командир, поздоровался, поблагодарил за «молодецкую работу» и в конце особо торжественным голосом объявил:

— Поздравляю, братцы! Все будете представлены к Георгиевским крестам.

Старший потом пояснил, что мне, Пашину и другим телефонистам будет крест 4 [-й] ст[епени], а ему, старшему, и Беленькому, представленным уже к 4 [-й] ст[епени] за 7-е августа, будет 3-я степень.

Затем командир отправился проводить такую же церемонию с отобранными для награждения из всей батареи (мы строились отдельно на наблюдательном пункте).

А я сидел и горько размышлял: «Какие же мы герои... Георгиевские кавалеры? Если бы не боялись наказания, если бы не воинская дисциплина, ни один из нас — ни я, ни Пашин, ни Беленький — и с места, конечно, не сдвинулись бы. Да и ходили на «молодецкую работу» по очереди, подчас отчаянно препираясь, кому идти...»

А Беленький уже прыгал, как ребенок, и лез целоваться. Пашин, как скромный мужичок, сиял от внутренней радости: ведь он теперь будет Георгиевским кавалером и таким заявится в свою деревню в Костромской губернии; правда, временами он мрачнел, отвернувшись, крестился и вздыхал: «А-ах... царство небесное!» И все заботился, чтобы на могилке друга поставить непременно березовый, из сырого дерева, крепкий крест. «А вы напишете на нем», — просил меня. — «Хорошо».

Бегство

29 августа.

Не довелось нам — ни ему ставить, ни мне надписывать... 27 августа, около одиннадцати-двенадцати часов ночи, только я угрелся перед сном грядущим — тревога: снимаемся с позиции. Ехали ночь, весь вчерашний день, едем сегод-

ня... По моему компасу выходит: северо-восток, юго-восток, но восток и восток... Что это? Почему?

Едем быстро, останавливаемся редко, не более как минуты на три, иногда на пять, и снова едем, едем и едем...

Неужели отступаем? Едем, а сзади нас, где-то далеко, не утихая, гремит канонада.

31 августа.

Отступаем... Едем день и ночь, с редкими, коротенькими привалами. Ай, как же хочется спать! Сил нет. Пусть догонят, убьют, только бы лечь и задремать на травке под деревом... Сил нет идти, а садиться на двуколки нам, телефонистам, запрещено. Один ездовой упал, задремав на передке, и попал под колеса пушки. Счастливый! Положили в санитарный фургон — там выспится всласть. Мой добрый гений — Ехимчик. Когда старшего поблизости нет, разрешает мне проехать немножко на его двуколке, а сам слезает, будто бы по физиологической надобности. На привалах пишу, чтобы не уснуть. Но рука и мозг не слушаются меня.

Ночью со всех сторон светят прожекторы. Чаще и чаще полыхают зарева.

Глухо гудит канонада, но в какой стороне — невозможно уловить.

Догоняем какие-то длиннющие обозы. Раза три мы уже были вынуждены обходить их по полю, по пашне, по канавам. Они загородили дорогу и ползут как черепахи.

Появилась пехота. Валит в беспорядке...

Рассказывают о разбитых немцами обозах, о брошенных повозках, зарядных ящиках — и спасенных дамских шелковых штанишках, блузках, серебряных ножах и вилках, награбленных мародерами, главным образом обозниками.

Заняли было позицию. Но через полчаса оставили и поехали еще быстрее... Мы удираем, мы бежим... А где же враг? Его нет...

Вот и Вержболово! Граница. Эх!

Появилась масса пехотинцев-«шатунов», которые потеряли или бросили свои части. «Спасайся, кто может!» — цинично говорят они и бегут, бегут на восток. Не армия, а

сброд. Командир наш то молчит, сжав зубы, то бросается на «шатунов» с плетью. Их ловят, собирают десятками, назначают начальника и гонят под присмотром. А они все равно разбегаются, чтобы где-нибудь «урвать» хоть какую-нибудь еду.

В России после Германии я чувствую себя... будто вышел из чего-то душного и такого, где все-все известно и нет поэзии, и вышел на свежий, вольный и убогий воздух...

Хочется и в России, здесь, видеть эти удобные, обсаженные деревьями шоссе, красивые кирпичные домики (и прочее и прочее, — вид немецкого поля стоит перед глазами: дренаж, разбросанные вдоль только что вырытой канавы дрены, культура), но чтобы и наш простор сохранить, поэтический размах и приволье лесов, лужков. Или это привычка к своему? Или это две души во мне — восточная и западная? И грустно, хочется чего-то лучшего, и радуюсь, что вырвался из духоты.

2 сентября.

Пишу вечером на биваке. Приехали разведчики. У одного ранен конь. Видели неприятельскую кавалерию и цепи неприятельской пехоты за м. Шумское... значит, верстах в пяти от нас. Яростно гремит артиллерия. Где?

Жители-жмогусы уезжают. Погода хмурая. Часто моросит дождь. А они не замечают мерзкого ненастья. С телег падают в грязь плохо уложенные убогие пожитки — поднимают машинально, потому что прибиты горем. Гонят скот. На телегах шебуршатся и визжат поросята. Из мешка вывалилась буханка хлеба.

— Эй, дядька! Хлеб потерял!

Поднимает и, не обтерев, бросает на телегу. Хотел я купить у этого, спрашивал и у многих других — ответ один: «Нейра» (нету). Женщины плачут.

Туман, дымно, сыро. Горят костры. В болоте тонул солдат-обозник с повозкой. Сам выкарабкался, а брошенная лошадь захлебнулась.

Перебранка с жителями из-за картошки, яблок. Хлеба нет четвертый день. Хочется есть, в животе уныло.

Бравый краснолицый казачий офицер проскакал на быстром, как огонь, коне. Кричит:

— Ребята! Немец прет назад, отступает! Не падай духом!

Никто ему не поверил.

— Глянь, какой сытый, разъелся... Не падай духом, — бурчит наш запасной, туляк Изотов.

А какой-то пехотинец, ни на кого не глядя, бросает многозначительные слова:

— В России людей много, надо их сгубить, чтобы...

А что — «чтобы», он не объясняет, но и без этого у всех растет небезопасная для таких порядков злоба.

Одно правда: у нас есть *«господа офицеры»*, но нет полководцев. Потому такое отступление.

Убежавшие из плена говорят, что Волковышки забиты мирными беженцами, а немецкие солдаты все взламывают, всюду ищут, в погребах, в подвалах. «Мы с ними *культурились*, а они с нами свинячатся», — кто это сказал? Или, может быть, я сам придумал? Не знаю. Но все — скоты двуногие. Да здравствует война — уничтожение скотов скотами! Мы не люди, мы — быдло...

Сошел с ума пехотный капитан из нашего батарейного прикрытия. Стал ругаться самыми грязными словами, такими же словами бранить Бога, наносить себе раны. Его связали.

Нескончаемо прут обозы. У докторов и чиновников в руках револьверы: прокладывают, размахивая ими, дорогу своим многоценным подводам.

— Обоз, ну-ну, вперед! Проезжай, обоз! Пристрелю, если кто загородит дорогу! Артиллеристы, подайся в сторону.

Неожиданно вынырнул наш командир:

— Тут немцев нет. Почему в ваших руках я вижу револьвер?

Испуганный чиновник молча берет под козырек. Дедка на бабку, бабка на внучку, внучка на сучку...

3 сентября.

Бежим все дальше на восток. Которые же это сутки? Четвертые или пятые? Не знаю, какой сегодня день.

Проезжали большой унылый лес; много граба, ели. Тут едва слышны преследующие нас глухие орудийные выстрелы.

Большой привал! Вокруг — просторные жмудские поля, темно-зеленые хуторки («колонии»). Обессиленный, падаю

на землю. Хочется есть. Консервы старшего не для меня... Он, спрятавшись, жрет, а у меня ничего нет. Пехотинец-запасник несет хлеб. «Дяденька, постойте! Возьмите сколько хотите, дайте маленький кусочек!» — «Вы, батарейцы, с голоду не сдохнете. Меня целый взвод ждет». Ой, ну что же мне делать, ведь ужасно хочется есть. Сегодня и вчера батарея без обеда. Беленький предлагает пососать сахар: у него нашлось два кусочка.

Солнышко заходит. Шумят, гремят, отступая, массы людей, подвод, лошадей, орудий.

— Вернусь я во Владивосток, — мечтательно говорит пригнанный недавно из запаса батареец, бывший приказчик торговой фирмы. — Вернусь я к Шорину... Обед из трех блюд... Два последних — по желанию, выбирай какие хочешь.

— Ах, черт разборчивый, о чем размечтался.

— Если немец не убил, то лучше уж застрелиться, чем так мучиться.

— Глупый твой разговор.

— Идешь-идешь, а есть нечего...

— Замолчи!!! тты... холера!

А я сосу кусочек сахара, который дал Беленький, но есть хочется еще больше, и я тоже мысленно говорю этому приказчику: «Замолчи ты, холера, со своими блюдами на выбор!»

* * *

4 сентября.

Нахлынули воспоминания о своей родной снежной зиме со скрипуче-легкими санками на заметенной дороге, с зеленым сеном в яслях в хлеву, где греются, опустив головы, наши гнедые кони. Приятные воспоминания. На войне любо мне все это, далекое, родное. А тут так тяжко... Почему? Что хлеба нет? Или что люди — не люди, а быдло? И потому, и потому, и потому...

Говорят, недалеко Ковно. Верст пятнадцать-двадцать. Едем на позицию. Опять кружатся над нами немецкие аэропланы. А где же враг?

Неман

9 сентября.

Четыре дня не писал...

Переправляемся снова с Виленщины на Сувалщину. Назад за Неман. А на Виленщину переправа была вечером, точнее, ночью, с 6-го на 7-ое сентября. Опишу, как это было.

Выехали из Петкелишек в полночь с пятого на шестое сентября. Долго, бесконечно долго телепались по грязи, пока не рассвело. Дул сильный ветер.

— Куда в этакую темень?

— За Неман!

Через Мазуришки, Дарсунишки — поехали... «К бесу в кишки!» — бранятся и шутят насквозь продрогшие батарейцы.

Обедали на привале.

Вечером под распроклятым дождем притащились к Неману. Стояли... Продвинулись немного... Опять стояли... Какие-то хаты у дороги; за одной из хат издыхает конь.

Поздней ночью началась переправа через Неман. Крутой спуск, грязь, холод, ветер с дождем — и темно, ни черта не видно. Завязло орудие — нá тебе! Из сил выбились батарейцы. Тащил и я — по колено в каком-то жидком и липком месиве. Охрипший поручик-матерщинник:

— Тяни, тяни!! — и все матерится.

— Тяни сам, чтоб тебе чирья в глотку! Сам на лошади гарцуешь да плетью машешь. Вот стащим с коня да с обрыва в Неман вниз головой, чтоб ты навек замолчал. Вокруг черно, как в твоей душе: никакой черт не увидит.

Вероятно, учуял наши мысли, отъехал, оставил нас одних. Все-таки вытащили без его ругани. Пехота шлепала, шлепала мимо, потом вцепилась, как саранча, — помогла.

Разъяренный Неман. Волны плещут и обдают зимней стужей. На понтонах — ополченцы, бородатые дядьки с крестами на шапках. На том берегу — костры. Неман в этом месте в ширину саженей 60–70. Измерил шагами, когда переходил.

Обогревались у костров. Искали, где бы переночевать, чтобы хоть немножко в сухом. Горькое чувство испытали у

дверей огромного дома, занятого «господами офицерами». Можно было бы где-нибудь там приткнуться — заперто, не пускают... Спим на мокрой земле под дырявым брезентом, по которому бьют, как в бубен, дождевые капли.

Утром месил грязь по местечку, пытаясь найти хоть какой-нибудь собачий харч. «Нет!» — «Нема!» — «Нейра!» Солдат полно, не пройти. Разные воинские части, драгуны, конная гвардия, «аристократы». И пехота, словно грязь, залепила все... А дождь, лужи! Убогие, несчастные старые евреи стоят, как больные, возле своих закрытых, а то еще и забитых досками лавчонок... Ой, булки, булки!!! Расхватали... Смотри да облизывайся. Женщины-литвинки идут и плачут. И плачет-мяукает на колокольне их католический колокол. Костел. Несколько женщин на коленях. Ксендз — как старенький голодный актер.

8-го сентября, вчера, писал письма. Относил в канцелярию и узнал там от младшего писаря, что подполковник Гноев сказал, будто война протянется самое большое — два месяца. А там — мир, и на зимние квартиры... Какое счастье!

Все солдаты говорят, что две недели будем стоять здесь, потому что Австрия уже просит мира. Я не верил, но так хотелось верить. Ах, если бы правда! Ах, если бы так!

А тем временем я шлындал голодный. Набрел на наших батарейцев, которые играли в карты, спрятавшись, чтобы кто-нибудь не увидел. Приглашали меня. Отказался. «Какой он, к черту, вольношляющийся: в карты не играет и денег — хоть шаром покати...»

Вечером, неожиданно, выехали на позицию, недалеко отсюда, и до полуночи рыли окопы. Перед тем как лечь спать, телефонисты еще поспорили о грибах (рядом могучий лес) и о цыганах (пехотинцы поймали какого-то сомнительного на вид цыгана).

Сегодня, *9-го сентября* 1914 года, во вторник, утром, варили картошку, накопав ее в опустевшем имении какого-то пана-поляка. И пили мутную бурду из прессованного чая. Без сахара, потому что он есть только у офицеров и их денщиков.

Не успели мы облизаться — «Снаряжай!».

Снова возвратились на ту сторону Немана.

Тогда переправлялись ночью, теперь — днем. Помыли в Немане сапоги и руки. На берегу, возле того места, где я мыл руки, очень воняло от дохлой телки. Озимь на крестьянских полях перемешана с грязью, весной здесь ничего не вырастет. Вид перед нами открывался необычайно красивый. Внизу, на земле, еще сыро от инея, а верхушки деревьев уже залиты багрянцем осеннего солнца.

И сегодня попал я на бунтарский разговор какого-то присланного накануне лохматого запасника.

— Дурни мы все, вот потому нам трудно, и мы тут таскаемся...

Солдаты действительной службы с патриотическим задором сразу осадили его. Но вроде бы и стыдно им было, вроде бы и чувствовали себя немного дурнями...

* * *

10 сентября.

Пишу после голодного обеда голодный и греюсь у костра.

Ночью заорали: «Снаряжай!» Часа в два. А потом промучили в неизвестности и ожидании и выехали только часов в пять.

Снова назад за Неман. Какое-то проклятье гоняет нас с берега на берег. Это проклятье наконец подает свой голос: верст за десять впереди нас загрохотали немецкие орудия, которых давно было не слыхать.

Утро на Немане-реке было необычайно красивым... Панорама чистая, ясная, только Неман внизу дышит густым, белым и холодным паром. Умываться его водицей было очень приятно.

13 сентября.

Вчера, 12 сентября, пополудни, на подворье хутора, возле хаты, глядя на восход солнца, принял я присягу «на верность царю и отечеству». Довольно-таки неказистый войсковой попик, немолодых лет, после короткой процедуры,

искренне или неискренне, растрогался, обнял и поцеловал меня, поздравляя с «высоким званием воина его императорского величества государя императора Николая Александровича, нашего доброго, кроткого царя-батюшки...» Когда он внушал мне это, я почему-то вспомнил о нашем, народном взгляде на присягу, о том, как боится наш крестьянин всякой, самой страшной, кары за нарушение присяги. Однако бывает, присягают и фальшиво...

До этого времени я служил без присяги, как «молодой солдат».

Вчера же меня наградили и первой нашивкой (был канониром, стал бомбардиром).

— Будь стоек в бою и милостив к врагу! — напутствовал меня добрый попик.

«Буду... мне теперь все равно».

Ходил потом за командиром батареи с буссолью. Он выбирал лучшую позицию. Когда вернулись назад, командир увидел, что батарейная прислуга одного из орудий, вместо того чтобы укреплять блиндажи, спит в устроенном под деревом шалаше из веток (батарея стояла возле леса). Он потянул ближайшего за ноги и, когда тот, заспанный, вскочил, изо всей силы бацнул ему по уху. Остальные вскочили сами. Командир влепил еще двум-трем и с пеной на губах от яростной нервной злости крикнул прерывающимся, дрожащим голосом:

— Враг на носу, а они дрыхнут!

Ему самому было очень неприятно, что он так поступил. Я видел это по его глазам. Когда он скрылся в своей хате, солдаты дразнили наказанных и потешались над ними; особенно усердствовали те, которые тоже спали, да вовремя успели убежать. Но наказанные, с красными от оплеух мордами, недолго смущались, тут же вместе со всеми стали смеяться. Удивительное дело: после этого приключения на батарее стало как бы немного веселей.

14 сентября.

Война нарушает весь распорядок жизни. И в праздничные дни слоняемся мы здесь грязные, вшивые, немытые.

Я и не знал бы, что праздник, и удивляюсь, как об этом помнят здесь другие.

— В церковь сходить некуда, — сокрушается Пашин и ругает Польшу на чем свет стоит.

— Глупый! Тут не Польша, а Литва, — объясняет ему Беленький.

— Не один ли черт, — не соглашается упрямый костромич. — Там костелы, тут костелы — всюду одна Польша и паны бритые.

У меня радость: пришли от родных и знакомых долгожданные письма, а из Вильно — несколько номеров «Нашай нівы». Командир был как раз в канцелярии. Он повертел «Нашу ніву» в руках, с особым вниманием присмотрелся ко мне — и ничего не сказал.

Радость мою оскорбил старший писарь Лебедев, который, когда командир вышел, сказал:

— Охота же писать газеты на таком свинском языке. *Ведь по-русски так легко научиться.*

Во мне все задрожало от гнева, но что я могу сказать этому черносотенцу, если он говорит так не по темноте своей, а сознательно и умышленно. Пашин так не скажет.

Хорошо в хате, в канцелярии. А на улице холодно. Ветер как зимой. Шел на батарею и по дороге думал: придет ли такое время, когда не будет империализма, национального угнетения, богатых и бедных, сытых и голодных, обогретых и озябших, не будет солдат, военной службы, войны? Когда наступит этот золотой век? Эх, ветер, ветер! Холодно, брат, жить на свете! Зачем и из-за чего кормим мы здесь «зверей»? Проклятые козявки, на кой черт создала вас «разумная» природа? Наивный вопрос! И Лебедев — козявка, и я — козявка, и все мы — козявки. И те наши рьяные «сознательные» белорусы, которые всегда упрекали меня, что подобные рассуждения — слабость духа, недостойная истинного возрожденца-революционера, и они сами — козявки...

А все же я рад, что родные мои все здоровы, что дома все благополучно! И недаром же мы тут воюем — до чего-то довоюемся. И если тут не убьют, придет время — повоюем и за кое-что другое...

Поворот

16 сентября.

Затемно выехали за Неман. «Теперь мы идем наступать», — почему-то думают все. Темно, с поля дует холодный осенний ветер. В лесу тише. Пахнет дымом. Между соснами мелькают фигуры пехотинцев. Дождь. С левого фланга долетает далекая канонада.

Дождь усиливается. Стоим. Спрятался под сосну. Под ней несколько пехотинцев и среди них один пехотинец-вольноопределяющийся. Он сообщил удивительную новость: «С левой стороны участок нашего фронта занимает японский корпус». Совсем недавние враги — японцы? Непостижимо!

17 сентября.

Весь день нас заливает дождь, а мы едем, едем и едем. На крыльце пустой, оставленной хозяевами хатки стоял войсковой поп и благословлял нас крестом, и так благословлял всю колонну, тянувшуюся мимо него. Некоторые, усердные, подходили, и он давал целовать крест и руку.

Значит — идем в наступление...

18 сентября.

Страшная ночь! Бездорожье невероятное, ветер колючий, пронизывающий. То одно, то другое орудие тонет в грязи. Тянут, кричат, ругаются. Остальным приходится долго стоять и ждать, пока его вытащат. Я промерз и весь трясусь.

— Выругайся, браток, по-матерному — потеплеет, — советует мне старший.

19 сентября.

У нас уже появился новый прапорщик, молоденький, только из военной школы, по фамилии Кульгацкий. Он заговорил со мной по-дружески. На мой вопрос ответил, что никаких японцев на нашем фронте нет, — наивно было бы так думать... От него же узнал, что двигались мы сначала в направлении м. Симно, потом подались на Мариамполь и сто-

им от него в нескольких верстах. Немцев обходят, и они сегодня в час дня оставили Мариамполь без боя.

Весь день ехали по непролазной грязи под дождем. Сухой нитки на мне не было.

Проезжали мимо большой панской усадьбы, где помещик — поляк, арендатор — еврей, батраки — жмудины. Совсем так, как бывает и у нас в Беларуси. Неудивительно, что ни польские паны, ни еврейские эксплуататоры не сочувствуют ни литовскому, ни нашему возрождению. Пробудится народ — и свернет им шею... Только доживу ли я до той поры, изматываясь так, как вчера? Меня душит кашель, нестерпимо ноет левый локоть. Вот бы мне заболеть как следует. Кончились бы эти муки. Будь проклята моя доля, бросившая меня на войну… И тут же думаю: «Постыдись, брате, хоть сам себя…» — *«Ребята, не падай духом»*.

У-у! На кого сжимаются мои кулаки.

20 сентября.

Старый солдат-пехотинец рассуждает:

— В японскую войну было лучше. Сибирское начальство заботилось, чтоб солдат был сыт. Привал десять минут: тут тебе кашевары, приехав к привалу заблаговременно, горячий чай дают, консервы... А здесь всю неделю голодный шагай и шагай, а зашел в сад гнилое яблоко поднять — офицер тебя хворостиной по голове... гонит, как свинью. Не дорожат здоровьем солдата: как только дождь, так обязательно и поход. Да поднимут часов на пять раньше, чем надо в поход выступать — стой, мерзни, мучайся, неизвестно зачем... Поверите ли: на мне «звери» кишмя кишат, сил нет терпеть...

Верю, потому что и у меня так же. Да и абсолютно у всех.

Сегодня проезжали местности, где уже лежит след хозяйничанья немцев. Мирные жители страшно жалуются на их издевательства и грабежи.

— Все забрали, разграбили. Гуся твоего зарежет, да еще пух им ощипывай. Картошку, как наши, не копают: подавай им чего поделикатней — масла, яиц, молока... Морды у них — во! Видно, на хороших хлебах росли, не то что мы. Всю лучшую одежду забрали, лошадей забрали, коров или порезали, или с собой угнали. Девчат обижали...

— Ну, а что вы делали, когда бой шел?

— Что? Очень боялись. В ямах сидели.

— Когда начался бой, — рассказывает старый жмогус, — побежал я через сад в блиндаж, который нам немцы посоветовали сделать. Бегу, а деревья от сотрясения воздуха так и качаются. Собачку мою убило… Такая славная собачка была, забавная...

— Из ружей мало стреляли, а все: бу-бу-бу! С утра до вечера бухали, а мы сидели или ползали, как дохлые, без еды...

— Если Бог вам даст прийти на их землю, вы там так же делайте, — говорит с горькой злобой какая-то молодица-литвинка, изможденная, с мутными глазами. По-русски хорошо говорит: видимо, в городе служила.

Другая молодица слушает наш польско-русский разговор, ничего не понимает и заливается горючими слезами. Потом что-то с отчаянием говорит по-жмудински.

— Что она говорит? — спрашиваем.

— Говорит: снова придут немцы. Глупая баба! — объясняет старенький жмогус с бритыми усами.

* * *

22 сентября.

Вчера выехали в первом часу ночи. Ехали по глубокой грязи, под дождем, на пронизывающем ветру.

Потом распогодилось, показалось солнце, но не потеплело, — холодно. Стояли возле костела... вдруг громыхнули выстрелы из орудий и винтовок! Наши или немецкие — не знаю, но что-то очень близко. Пал духом, весь во власти страха смерти.

После полудня за селом начался бой. Стрельба по всему фронту. Видимо, подошли к немецким позициям. Наблюдатель 1-й батареи сказал, что в трубу Цейса видно, как на далеком-далеком пригорке разгуливают немцы, но наши орудия туда не достают. Трещали и пулеметы, но больше била артиллерия.

23 сентября.

Бой как начался вчера, так и шел всю ночь и сегодня идет. Это впервые, чтобы и ночью так палили из пулеметов и винтовок.

— Пожар! Пожар! — закричали около полуночи наши телефонисты.

Я засмотрелся на красивый вид: от снаряда загорелся дом или скирда хлеба, дым светло-бурый, а затем черный, густой, с языками пламени, прет вверх к темному небу. А тем временем по всему фронту гудит, гремит, бухает, свищет, трещит. Бесчисленное множество пулеметов со всех сторон: тр-тр-тр!.. Тяжелыми: гкрех! гкрех! — со страшной силой «кроет» немец наши пехотные окопы и «нащупывает», где батареи.

Погода утихомирилась, устоялась: ветра нет, только ядреный холод; ногам холодно, согреть невозможно.

Ночь я провел в ямке, которую выкопал в откосе сухой канавы и выстлал натасканным с поля льном, обидев какого-то несчастного жмогуса. Потом принес снопок соломы, прихватив его, когда бегал в канцелярию на хутор за керосином. Керосин нужен был в лампочку для батарейной «отметки» (по ней ночью наводят орудия).

Когда шел на хутор, немного невесть чего боялся, ведь темень, ни души. Чтобы успокоиться, дал волю фантазии. Представил себе, между прочим, как это жмудское поле еще так недавно оглашалось мирной песней девушки-пастушки, как мальчишки в ночном разжигали костер, грелись, жарили сало на прутиках, рассказывали сказки... А теперь?

В канцелярии керосина не нашел и отобрал последний запас у бедных хуторян. Хозяйка даже плакала, но как я мог вернуться без керосина? Я просил, уговаривал, умолял, ругался, угрожал. Самому было грустно и смешно от своей роли этакого решительного солдата.

Переезжаем на новую позицию, немного вперед.

24 сентября.

Ночью было очень холодно. На фронте затишье, мы стояли как бы на привале, только орудия были в боевой готовности. Однако выспаться не удалось. Спал на земле под брезентом, и хотя мои добрые друзья пустили меня лечь в серединку, я просто коченел от холода. Когда они спали, я несколько раз подхватывался и, как застоявшийся выездной конь, бегал по полю под печальным ночным блеском луны.

Часовой удивленно и немного испуганно поглядывал на меня: не сошел ли случайно с ума вольноопределяющийся? Ученые, они... часто с ума сходят.

— Что это *вы*? — не утерпел, спросил и сказал не «ты», а «вы», что было признаком тревоги в его простой солдатской душе.

А я — гоп, гоп, гоп! и кричу:

— А? Блохи кусают...

— Ха-ха-ха! — успокоенно засмеялся часовой, услышав мою шутку. И сам пошутил: — Ха-ха-ха... Они давно от страха передохли. Разве только *белые*? Ха-ха-ха...

А я, запыхавшийся, юркнул под брезент и прижался к Беленькому.

Утром хотел поговорить с прапорщиком Кульгацким.

— Ваше благородие!.. — А он с перепугу закашлялся (вероятно, потому что я употребил такое обращение) и:

— Андрей, Андрей! — позвал своего денщика (моего тезку), — угости вольноопределяющегося чашкой чая. — И сам тотчас же ушел в хату, должно быть, какую-то корчму при заезжем дворе, потому что только одна эта хата и стояла тут, у дороги. А белого хлеба в Мариамполе он мне так и не купил, хотя сам предложил купить, когда мы отправлялись сюда из-за Немана. «Господа офицеры все разобрали», — сонно ответил мне Андрей на мой вопрос. Теперь я подумал: по-видимому, прапорщик закашлялся потому, что не купил мне хлеба... Какая еще может быть причина?

Днем летали два немецких аэроплана. В это время батарея по команде капитана Смирнова, замещавшего командира батареи, «лупила» по немецким окопам мелинитовой гранатой. Хотя и день, но, разумеется, вспышки из стволов орудий были хорошо видны и курился дым и пыль. Когда возвратился командир, то был крайне недоволен, что капитан своей неосторожностью выдал аэропланам месторасположение батареи. Из-за этого, когда стемнеет, снова, кажется, переедем уже на третью тут позицию. А веселый орудийный фейерверкер, светлоусый ярославец Соловьев, шутит:

— Сколько выпустили снарядов? 317 гранат и 39 шрапнелей? Неплохо... мое орудие человек двадцать убило, хватит на этой позиции...

Но ведь мы же окопы успели вырыть, и оставлять их так не хочется.

Ноги мои очень мерзли весь вчерашний день и сегодня мерзнут, и некуда деться, хоть ты плачь.

Хлеба нет уже третий день. И негде купить ни за какие деньги; прямо беда пришла. О чем думает наш тыл? А сухари свои мы без разрешения погрызли раньше.

— Вот и сидите теперь на бобах, — сказал капитан Федотов.

— А где эти бобы? Дайте их нам, мы их съедим!

Обеды наши из рук вон плохи, одна вода, да и та черная от гнилых капустных листьев или от сушеных овощей, которые в ней кое-где болтаются. Едим два раза в день, утром и вечером. Один раз дается порцийка мяса, но такая крохотная, что и есть нечего. Порцийка вся в песке, зацапанная грязными пальцами кашевара и артельщика. Ох, эти пальцы: ими разрывают мясо на порции, ими тут же и сморкаются «в кулак». Порции вареного мяса раскладывают на подстеленный мешок, а иногда даже на шинель. Как будто трудно приспособить для этого какую-нибудь чистую доску.

25 сентября.

Дует сиверко, руки от него в трещинках, писать холодно. А ночью почти и не спал — так озяб. Лежал у телефонного аппарата, держа трубку возле уха. Лежал, укрывшись, насколько это было возможно, сеном, чтобы немного было теплей. Все равно проворочался с боку на бок до самого утра, дрожа от холода.

Сегодня не умывался (второй день). Хлеба привезли фунта по два (или меньше) на человека. Ходил «в тыл» искать хлеба, яблок. Нигде ничего... Зашел в костел, видел там кучу разной одежды, снесенной крестьянами на сохранение. Солдаты хотели растащить, но бабы своими воплями не допустили.

Возле костела стояла кучка старых жмогусов и солдат. Услышал жуткую историю, как немцы насиловали девчат-жмудинок... Даже не верится. Какой-то войсковой писарь, видимо, свеженький на фронте и человек книжный, с крайним возмущением и возбуждением ругал-ругал немцев:

«Так-то они прививают свою культуру... ах, сволочи!» Потом его разговор перешел на слишком патриотическую московскую ноту и нагнал на жмогусов тоску, а на меня раздражение. «Ну что: плохо вам под Россией? Под немцами лучше? Отведали? Вы католики, но у нас вы имеете все права, а вот вам немецкая культура... отведали!»

Настроение у всех плохое. Немцы не отступают. По дороге плетется много наших раненых пехотинцев; дрожат от холода. Они горестно рассказывают, что немцы обманывают наших то будто бы брошенными передками от разбитой батареи, то белым флагом, а потом косят пулеметом «как капусту». Окопы они себе сделали из толстенных сосновых бревен и рельсов с железной дороги. Им там тепло: поставили печурки, натаскали перин у мирных жителей, тулупов; приволокли даже столы и стулья.

Живут, как паны, в своем доме. «Им хоть бы что... Выбейка их оттуда нашими свистульками*!»

Со всех сторон слышится ропот, что нет у нас тяжелой артиллерии... и вообще порядка.

Утром немножко спал (на осеннем солнышке). Проснулся: на земле в лощинах сероватая пороша — вестница близкой зимы. Только почему она не радует, как в своей родной деревушке, где воспоминания о ее приходе связываются с блинами, шкварками, тертым картофелем с салом, молотьбой на рассвете, копкой свеклы, дерганьем оставшейся конопли, шинковкой капусты?..

Ох, капуста напомнила пулеметную «капусту»! Я начинаю мысленно бунтовать против начальства, которое на земле и которое на небе.

Новости за день:

Ели невкусную постную картошку, наворованную с поля у хуторян.

Пили «кирпичный» чай с хлебом.

Пришла мне телеграмма; она сперва напугала меня страшно и удивила. «Вам телеграмма!» — «Где? Какая? Что такое?» — «Степана забрали. Сообщи здоровье...» Оказывается, она шла дольше письма! А я было подумал: неужто кого убили?

---

* Легкой полевой артиллерией.

На этой позиции у нас уже четверо убитых, восемь раненых и одно разбитое орудие. И это в батарее, а что же в пехоте?

Говорят, будто 10-я армия (ген. [ерала] Мищенко) обошла немцев и погнала. Они и тут, на нашем участке, должны ударить, и этого всем нам очень хочется, так как четвертый день стоим в каком-то напряженном ожидании и мерзнем в плохоньких окопах.

Командир N-ской батареи проезжал мимо нас пьяный, с красным лицом, с залихватскими рыжеватыми усиками и кричал:

— Ребята! Командир корпуса приказал взять позицию во что бы то ни стало.

Первая батарея куда-то уехала; ночью, вероятно, и мы переедем.

Прибыл в нашу батарею новый офицер, только что произведенный подпоручик Сизов. Молоденький, деликатный и стыдливый, как девушка. Но высокий, стройный, красивый. Все на нем новенькое. Желтое седло скрипит и пахнет фабрикой. Новенькая серая шинель — до пят, с девичьим станом и даже на груди шинель приподнимается округло. Познакомился со мной — как с равным. Сидел в нашем, телефонном, окопе и много о чем рассказывал нам и угощал нас конфетами и шоколадом. Он хочет быть для всех добрым и доступным. Говорили с ним о плохих солдатских обедах (он с виноватым видом хулил и офицерские), о нудной жизни на позиции, о легкой возможности быть убитым, о войне («после войны, а она скоро закончится, нас, военных, на руках будут носить»), про 2014 год («рай будет на земле»), о человеке, который«как капля в море», и т. д. Когда мы остались только вдвоем в окопе (Беленький пошел за обедом), разговор вновь зашел о легкой вероятности смерти, и подпоручик Сизов ударился в мистицизм. С неожиданной доверительностью признался он мне, что у него есть «маленькая святая иконка от славной девушки», с которой он познакомился «недавно и довольно оригинальным образом». Будучи недолго знакомой, она обещала прийти на вокзал провожать его на фронт, «пришла и принесла иконку». «Иконка моего ангела», — проникновенно и с юношеской стыдливостью

произнес Сизов. Он с любовью нарисовал мне «симпатичный тип русской девушки». «Она говорила, — раздумывая, вспоминал он, — если мне будет угрожать опасность, смерть или еще что, чтобы я помолился святому, который на иконке, и вспомнил о ней...» Теперь подпоручик пишет ей письма и с нетерпением ожидает отпуска. «Но сначала надо сделать что-то и на фронте, — так закончил он разговор. — Вот вы уже представлены к кресту, как я вам завидую».

Стреляли сегодня «по неприятельским окопам» (такая была команда). Выпустили, согласно моим записям, 9 гранат и 381 шрапнель. Вечером уедем на другую позицию.

Стоим

26 сентября.

Стоим на той самой позиции, не переехали. Говорят, на помощь нам прислали четыре тяжелых орудия и мортиры. Подъехали к нам на позицию будто бы ночью.

Гремело всю ночь. Немцы стоят. Обстреляли наш наблюдательный пункт тяжелыми снарядами. Разорвалось более трехсот снарядов на одной малюсенькой горке, где находился этот пункт. Деревья там разнесены в щепки. Землю разворотило — не описать. Хорошо, что командиру и телефонистам во время короткого затишья удалось убежать. Обстрел этот даже и сравнить нельзя с предыдущими боями: это была жуть неописуемая... Земля стонала, и все мы, сидя вне зоны обстрела, стонали или немели, закрыв лицо ладонями. Батарея терроризирована. Нет у меня желания описывать это, так как мысли и слова парализованы тем диким, страшным гулом, который все еще звенит в ушах.

На одно только хватает слов: «звери», «звери», «звери», или, чтобы не тратить фигуральных выражений на мерзость, просто — крупные белые вши. На ногах, на спине, везде. Ползают, копошатся. Можно сойти с ума.

27 сентября.

Стоим на той же позиции. На фронте затишье, воюем со вшами.

Видел во сне, что читаю газеты. Ах, если бы сон в руку.

28 сентября.

Всю ночь, посменно, рыли окопы недалеко от старой позиции, с которой еще не снялись. Соорудили добротные блиндажи, хотя и очень обидели строения хуторянина-жмогуса.

29 сентября.

Убитый человек, убитый человек... Что тут особенного? Кажется, ничего. А как представлю себе те жуткие, мутные, мертвые глаза, вывороченные мозги, кровь, скрюченные судорогой и поднятые вверх окостеневшие руки со сжатыми кулаками, — тогда только воспринимаю значение слов «убитый человек». Духовного же безобразия во всей глубине прочувствовать не могу. Отупел.

Я подсчитываю по своим записям команды, сколько патронов за день выпустила батарея, равнодушно докладываю об этом капитану Смирнову, передаю, не отходя от телефона, громким голосом команду: «Один патрон — беглый огонь!» — и меня это не трогает. А ведь я помогаю, нет — не помогаю, а сам вместе с другими старательно убиваю людей. Убиваю таких же невольников, как сам. Что же это я делаю? Пока что я не прочувствовал всей глубины этого ужаса! Не прочувствовал, а только думал, что тут — чудовищный страх, и жуткую сущность этого страха я пойму только когда-нибудь потом.

Знак, которым отличают настоящих героев, — так было сказано, когда раздавали Георгиевские кресты. А тем временем...

Сидя весь день в окопах, под страшным обстрелом, 4-го августа «настоящие герои» — подпрапорщик Х. и старший фейерверкер Z. — посылали с разными поручениями под пули нижних чинов, а сами «делали» в окопе и закапывали лопаточками.

7-го августа, в другом бою, подпрапорщик Ф. С., которому дают кресты 4-й, 3-й и уже 2-й степени и который был в тот день орудийным фейерверкером, делал то же самое, но не закапывал, а выбрасывал из окопа на лопаточке. Что ж, разумно рассуждая, так и надо, если можно спасти жизнь, не

рискуя понапрасну. Но почему же не дали крестов тем нижним чинам, которые обязаны были по долгу службы вылезать из окопа и бегать под пулями? «На всех не хватит». Значит, все — такие же «герои», а особенно в пехоте, где несравненно больше риска. А разве там так щедро дают кресты?

Мы, телефонисты, получили их за тот бой, когда, по обыкновению, далеко не по-геройски препирались: «Ты иди соединять провод!» — «А сам?» — «А ты?» — «А черед чей?» — «А я старше тебя: должен слушаться».

Так в чем же настоящий героизм и много ли под этими крестами героев? Или, может быть, я плохо понимаю слово «героизм»? На современной войне — все герои или, точнее говоря, нет героев, а есть более или менее дисциплинированное быдло.

Можно до крови расцарапать грудь из-за паразитов. Сидел в гимнастерке, надетой на голое тело, и стирал рубаху в холодной воде без мыла.

— Пустое, брат, дело! — сказал Пашин. — Без кипятка толку не будет.

Написал отцу письмо, чтобы ничего не присылали, а только порошок «Арагац»* — травить этих белых бандитов, и как можно скорее.

30 сентября.

Живешь здесь грязнулей, воюя со вшами и алчным псом набрасываясь на ведро с казенной бурдой.

Грохочут орудия, несмотря ни на дождь, ни на холод, ни на грязь, ни на темень ночную. Грохочут...

Зачем и во имя чего?

Те социалисты, которые сразу объявили себя «пораженцами», за свою твердость духа удостоятся будущего. Не боюсь в этот момент соглядатаев — пусть прочитают мою книжечку и расстреляют полевым судом. Только... надолго ли у меня этой смелости?

За сегодняшний день батарея выпустила 426 шрапнелей и 114 гранат. Ну и был денек! Однако хватит описаний боевых красот...

Девятый день боя на этой позиции...

---

* «Арагац» — порошок от вшей.

Сегодня перебил своих вшей. Понос у меня и у Беленького. Не от картошки ли? Едим из кухни только вечером, так как днем кухне подъезжать запрещено. Если посмотреть сверху, то покажется, что тут — мертвое поле, никого нет, никто не едет и не идет, ничего нигде не шевелится, пустыня... А сколько сидит здесь людей, как мышей в норах.

Привезли немного хлеба. Выдали по 21 крошке (кусочку) сахара.

Ноги мерзнут. Протекают сапоги.

Попариться бы в бане, надеть чистую рубаху, вкусно поужинать и лечь спать в тепленьком. Больше ничего на свете не хочу!

Ах ты, доля моя, доля! Доля горькая моя!

И не одна моя: многих миллионов.

* * *

1 октября.

Сегодня пришло письмо от родных, посланное 9-го августа. Вот так почта... Ничего, все хорошо. Стефана забрали, но он надеется, что, как ополченец, на позицию не скоро, а может быть, и вовсе не попадет. Семья его живет у нас. Лавринька поедет учиться. Урожай у нас в этом году хороший. Из Темнолесья забрали много людей. Когда провожали, все очень плакали. Но водка запрещена, — и никаких скандалов, никаких пьяных выходок. Тихо, спокойно — и море слез, всюду лишь рыдания и горе... Предрекают близкий конец войне...

Ничего, все хорошо, и радость моя, что получил письмо, радость моя — тихая и спокойная. А может, — тупая? Тут отупеешь.

И когда было то 9 августа! За это время могло быть столько перемен, столько новостей! Жив ли ты еще на свете, брате мой Стефане?

Лучше об этом не думать и вернуться к своим повседневным здешним делам.

Правда, дела довольно однообразные. Что сегодня было?

Ел брюкву и мак, которые нашел на голом и унылом огороде жмогуса, чтобы хоть немного перестало сосать под ложечкой. Спал в эту ночь в хате на соломе.

Видел, как дивизионный адъютант раздавал кресты. Герои ругались, спорили: «Этому не следует, тому не за что!..» — «Он был-таки под огнем!..» — «А я что — под снегом?»

Слышал, как в сенях косоглазый «холуй» (так солдаты называют денщиков), родом туляк, говорил, что он, вернувшись с войны, бросит солдатскую одежду в пылающую печь, чтобы сгорела «вся эта мерзость». Потом он хаял «хохлов» (так солдаты называют своих товарищей, которые родом с Украины, а *также из Беларуси*), потому что они свой паек сахару и чаю не сами используют, а продают лавочникам, чтобы скопить денег и вернуться домой в лакированных сапогах, с форсом. «Хохлы чай пить не умеют: фу-фу-у! — дуют и, как собаки, лакают: хлявк, хлявк!» Его товарищ, денщик из белорусов, спокойно защищался:

— А что мне твой чай! Если я хорошо поем, так и воды попью с удовольствием. У нас, когда косить идут, сала или простокваши с хлебом наедятся. А у вас, и правда, как собаки: жиденького чаю хлёб-хлёб! — и побежал хортом*-чертом на сенокос. Какая у него может быть работа? Ему бы тогда только на гармошке пиликать.

Терпеливо дослушав спор до конца, я попросил у них воды умыться, но они оба мне отказали, сказав, что воды у них нет, и бурчали мне вслед:

— Не велик пан, походит и так.

— Вольношляющий... надо было дать...

— Почему же не дал? Это же твой хохол.

Тогда я пошел в хату, где размещалась канцелярия дивизиона (я сегодня был прислан сюда для связи с батареей).

Тут распивали чаек с молоком писари. Старший над ними был усатый поляк или ополяченный белорус с Виленщины, с русской почему-то фамилией — Маслов. На груди у него была пришита георгиевская ленточка. Пан писарь Маслов засыпал меня *пшепрашами, пане-пане, проше пана*. Он слышал, видимо, от кого-то, что я поляк. Тонко переведя

* Хорт — гончая собака.

разговор на польский язык, Маслов очень сокрушался, что, к сожалению, не умеет писать на этом «учтивейшем в мире» языке.

— По-русски так учтиво не напишешь, как по-польски. А я печатное слово читаю, а писать не умею... О-о, если бы я да умел писать по-польски!

Что бы он тогда сделал, он не договаривал.

Маслов, по-видимому, был не из крестьян, потому что очень уж безобразно обходился с хозяином хаты, старым, тихим и покорным жмогусом с седыми подстриженными усами и маленькими глазками, и высмеивал его, что католик, а знает только десяток польских слов.

— Хозяева здесь живут как свиньи, хотя у них все есть. А вот кто из высших поляков (вероятно, себя Маслов причислял к этим высшим) — те бедствуют. В России им хода нет... Даже тот, кто большое образование получил, все равно сидит без работы, и никто ему пенсию не платит, или же он занимает совсем низкую для него вакансию.

Пан Маслов сидел за столом и, говоря так, осторожно заглядывал мне в глаза, ища сочувствия. Но в разговор вмешался ординарец.

— Вот, например, как наш пан Маслов: всего только писарь!

Маслов немного смутился, уловив насмешку, но не подал виду и принял слова ординарца как комплимент себе.

— Может, дуралей, чаю хочешь? — спросил он у ординарца елейным голоском, под которым скрывалась язвительность. — Только без млека, иначе не хватит пану вольноопределяющемуся.

— Я своего напился! — весело ответил ординарец.

Отворотило и меня от угощений писаря.

— Когда будет в Польше свой круль, вот тогда пан Маслов свое получит, — снова пошутил ординарец.

Маслов сильно покраснел, да только, вместо того чтобы ответить ординарцу, набросился на бедного жмогуса, сидевшего у порога, наставив на него свои усы.

— Если бы эти глупцы не забывали о том, что они поляки и обязаны отстаивать Польшу, то... то...

Маслов осекся, испугавшись, не сказал ли чего лишнего. Расправил и подкрутил рыжие свои усищи и обвел

высокомерным, не совсем безобидным взглядом компанию. Остальные писари молча хлебали чай и не поднимали глаз.

Вошел адъютант дивизиона, щуплый штабс-капитан, тоже поляк из Беларуси, магометанин. Маслов перед начальством очень «тянулся», особенно на виду у других солдат перед этим адъютантом. Теперь он, как пружина, сорвался с места и гаркнул команду на всю хату.

— Вста-ать!! Смирно-о!..— Потом застыл перед своим стаканом чая, и мы все встали и замерли. Разговор наш, само собой, закончился. И хозяин-жмогус тоже встал и вытянул руки по швам, как солдат.

Когда офицер скомандовал: «Вольно!» — я, ординарец и хозяин вышли из хаты в сени. Там ординарец продолжал втолковывать жмогусу (хотя тот ничего не понимал):

— Хозяину безразлично: будет в Польше круль или нет. Налоги на землю еще большие придется платить, потому что Польша слишком мала, чтобы иметь своего круля... Правда отец?

Жмогус только качал головой и изредка бормотал что-то на своем, непонятном нам языке.

Я пошел к телефону и дальнейшего разговора не слышал.

* * *

2 октября.

11-й день здесь...

Сегодня 2 октября, но тепло, солнечно, погоже. Утром думал, глядя на болото с водой возле нашей позиции, каким бывает это болото ранней весной. Жабы, или, как в нашей деревне говорят, *люгашки* — ква-а, ква-а... — а от лозы горьковатый запах...

Стрельбы почти не слышно, а мы и вовсе не стреляем.

Ходил по огороду и искал мак. Нашел всего несколько головок, да и то подгнивших. Съел их и одну брюквину, а головки две мака принес Беленькому. Вспомнилось: в детстве в Темном Лесу вместе с мальчишками вытрясали мак и ели

его «ложечками», которые мы ловко мастерили из маковых головок.

Дорогой папочка, пришлите «Арагацу» и записную книжку.

Телефон наш сегодня ночью немного подмок, потому что в окопе на дне мокровато от близкого болота. Повздорили слегка.

Говорят, что немцы ночью пошли в атаку, но были «начисто» скошены нашими пулеметами. Немецкий прожектор разбит.

3 октября.

Пухом тебе чужая земелька!.. Пришло письмо из дому, в котором печальная весть: Лексей Пилипенок убит. Первая жертва из нашей деревни Молоху войны.

«И сколько, сколько их в борьбе за край родной, удалых, молодых...» — зубрил когда-то я в русской школе из русской хрестоматии.

За какой родной край, и вообще, — за что? Разве же Беларуси от этой войны легче станет? А не случится ли так, что, добившись победы на фронте, русская реакция укрепится и еще круче согнет нас в бараний рог?

Лексейка, Лексейка! Вечный тебе покой! Несчастная твоя мать.

Пришла и «Наша Ніва» за 25 сентября. Сколько радости приносит мне наше печатное «мужицкое» слово! Нервы мои совсем сдают... Но разве это стыдно, что я тут, на этой проклятой войне, с нежелательными и самому спазмами в горле и досадными, неудержимыми слезами на глазах целую письма из дому и «Нашу Ніву» из Вильно? Чего мне стыдиться? Эх вы, слезы, слезы, глупые вы слезы: не туманьте мне глаз. И ты, глупое сердце, не сжимайся от боли и скорби.

В номере газеты — «Летописцы» З. Бядули. Они мне здесь душу перевернули. Жаль мне тебя, моя бедная, убогая, неученая и такая творческим духом богатая мужицкая отчизна. Плачь, записывай, как летописец, свои неизвестные широкому миру и такие, может быть, маловажные, на его широкий взгляд, муки свои. Произведение «Богатырь» — непонятно; видно, что автор не сидел в окопах.

Пробовал сегодня просветить одного солдата-белоруса из нашего пехотного прикрытия. Прочитал ему отрывочек из «Летописцев».

— Вот саусим па-простаму, дзеравенски язык. Як его? Маларасийски завуць, ци што?

— А у вас как говорят?

— И у нас так: ни по-польски, ни по-русски.

— Вы католик-белорус?

— Ага... мы польской веры, польские.

Читаю ему: «Даражэньки сынок!» — и дальше из рассказа.

— Так у вас говорят? Или, может быть, не так?

— Так, так... Точно так... Ха-ха-ха!

Трагический смех!

Но наконец он понял меня и сказал:

— Если так, как говорите, значит Беларусь должна быть. Что ж, разве мы хуже других? Это хорошо, это справедливо: «Что надо свободы, земли человеку...» Это верно! Только... — тут он замялся в своих рассуждениях, умолк.

— Что «только»?..

— Только одного боюсь: останемся сами по себе, без русских и поляков, евреи нас совсем заедят.

— Почему заедят? Когда все будут свободными все будут равными, так зачем же им нас заедать? А вы знаете, что вот это, что я вам читал, написал наш белорусский еврей?

— Неужто правда? Не может быть!

— И правда, и может быть...

И все же в вопросе о евреях мы не достигли полного единства. В его глазах так и осталось какое-то недоверие какое-то сомнение, хотя он и говорил, вроде бы поддакивая мне:

— Что ж... На мой век евреев выстарчит (хватит). И ничего, кроме доброго, сам я от них не видел.

Но я уже должен был идти на батарею.

О подпоручике Сизове солдаты говорят: «Чуть не плачет в окопе». Ему хочется «что-то совершить на фронте, чтобы, приехав в отпуск, не было стыдно». Он жаждет дела, действий, красивой войны, а тут сиди и сиди в гнилом окопе. Как он был рад, когда командир батареи поручил ему сделать блиндаж на нашем наблюдательном пункте в пехотных окопах, на самой передней линии. Как он теперь гордится,

что сделал этот блиндаж, — конечно же, не своими, а солдатскими руками. Вот он возвратился. Синее, хоть и близко вечер, осеннее небо, летят галки и вороны. Тихо. Подпоручик восторженно рассказывает, как немцы обстреляли их из винтовок, но ничего: блиндаж сооружен, и сам он, подпоручик Сизов, «одиннадцать пуль в них выпустил». Говорит, а язык у него толстый, мясистый и красный; молодость и здоровье... Сам принес солдатам письма из канцелярии и радостно-ласково раздает их.

4 октября.

13-й день здесь... Ночью сгорел от немецкого снаряда хуторок, где мы обогревались. Теперь негде обогреваться. Позиция эта страшно опостылела. Во время пожара мы обозлились и жахнули по немецкому окопу «два патрона, беглый огонь». Стрельба по этой команде, когда вся батарея дружно бабахает, мне больше всего нравится.

Беленький получил посылку, и мы все полакомились ландринками, шоколадом, курили папиросы. За один присест все съели, а сам Беленький, очень веселый, от радости тараторя без умолку, съел меньше всех. У него даже румянец на щеках появился и глаза заблестели, будто выпил. Полакомившись, бросился меня целовать, кричал: «Живем, брате Лявон!» Вечером он немного пал духом, но, разговорившись, снова повеселел, признался мне, что утаил от компании одну плитку шоколада, и мы съели ее вдвоем. Ели маленькими кусочками всю ночь, так как дежурили.

5 октября.

Письмо из дому. Бедная ты, моя мамочка! И у всех матерей из-за детей больше горестей, чем радостей. Раздумывал на тему: а можно ли было бы сделать так, чтобы уничтожить любовь родных? Человечество бы стало гораздо счастливее. Грустно!

6 октября.

15-й день здесь... Тяжко.

Перебежал к нам немецкий солдат. Говорит, что им четыре дня ничего не давали есть. Поляк-познанец. Я в русском войске — как этот поляк в немецком. Значит?..

Хлеба второй день нет. Купил у жмогуса гнилых груш на 15 копеек. Заболело брюхо. Не хочется писать.

7 октября.

За день батарея выпустила 37 гранат и 93 шрапнели. Все на свете плохо.

8 октября.

Сегодняшней ночью на дереве у пепелища (где раньше был хуторок и куда мы ходили обогреваться) повесился на ремне от карабина еврей, доброволец из пехотного прикрытия нашей батареи. У всех тяжело и скверно на душе. В прикрытии человек пятьдесят, и я этого добровольца раньше, к сожалению, не заметил. Да они же там и меняются часто. Солдаты вообще очень не любят добровольцев. Всегда ехидничают: «Доброволец... за день до призыва записался». Может быть, и в этом случае издевательства товарищей были одной из причин смерти? Никто ничего не знает. Один наш батареец-костромич обругал несчастного самоубийцу так: «Лахудра... вши заели». Беленький молчит, и я молчу. Еще совсем молодой парень, с интеллигентным, как видно, лицом, а теперь на него страшно и муторно смотреть. Погиб. Жалко, тяжело, неприятно... Не хочется больше писать.

Уже 17 дней стоим здесь.

И опротивела мне эта позиция страшно.

9 октября.

Восемнадцатый день здесь... Вчера все говорили, что примирение скоро наступит, не позднее 25-го этого месяца. Ну и дал немец такое примирение, что и языки у говоривших отнялись... В сумерках, когда наш командир рассвирепел и стал пускать «два патрона, беглый огонь», немец заметил, вероятно, вспышки от выстрелов и засек направление на батарею; а может быть, раньше, днем, со змееобразного аэростата приметил, что люди тут ходят, так как ходили пехотинцы из батарейного прикрытия и наши батарейцы носили солому в землянку «горохам». Внезапно, ни с того, ни с сего, только кончался день, только уже темнело — бухнула по нашей батарее первая граната... Упала она близехонько от батареи, в болото. Потом еще, еще, перелет, недолет, взял «в вилку» и долбит...

— Номера в укрытия!! — кричит впервые таким исступленным голосом капитан Федотов.

Номерами называются солдаты при орудии, потому что их обязанности распределены по номерам. Уже сиганув в окоп, я успел одним глазом, сбоку и снизу, заметить, как и ноги капитана бежали в укрытие. Вероятно, к этому времени уже все успели спрятаться, потому что капитан Федотов в укрытие всегда уходит последним. На батарее установилась мертвая тишина, своя, наша, а в ней грохотало чужое...

Мы сидели в окопе, — я и Беленький, а Пашин не успел и вкатился в окоп первого или второго орудия, ближайшего к нам, — сидели и со страхом прислушивались, как дрожит под нами земля от разрывов. Опять слышим, как несколько снарядов легло перед батареей, а несколько позади нее. «Поправляет вилку», — шевелится подавленная мысль. Потом страшные разрывы в разных местах, но все на батарее. Грохот жуткий и непрерывный. «Беленький, о чем ты сейчас думаешь?» — неожиданно для самого себя спрашиваю я, чтобы хоть немного развеять страх. «Думаю: сюда, сюда, у нас ахнет», — отвечает Беленький, и губы его шевелятся не так, как всегда. «И я о том же думаю». — «Э-это... ввсе ттак». Не хватает слов и образных сравнений, чтобы выразить это гнетущее чувство ожидания смерти от каждого с гулом летящего снаряда.

Прекратилось-таки... Ох, вздыхаем, как после болезни.

— Есть ли раненые и убитые на батарее? — спрашивает командир по телефону.

Забéгали, засуетились.

— Есть или нет? — выползают из окопов, озираются.

— Кажется, все живы-здоровы, — с некоторым даже удивлением разводит руками особенно ласковый теперь капитан Федотов.

— Вот палил, так палил!

— В душу б его так палило! — крестятся, и ругаются, и смеются солдаты.

А вокруг нас разворотило землю, страшные ямы, на дне которых земля как будто обожжена, побелела. Заглядывают в эти ямы, успокаиваются, шутят. Так счастливо обошлось: был кромешный ад, а никто не ранен, не убит, и все окопы, и все орудия целы.

Вдруг бежит от своих убогих окопчиков пехотинец из нашего батарейного прикрытия*... Хрипит испуганно и дико:

— Хвершала! Носилки! Двух ранило... Киселя убило... Может, и еще есть: весь окоп разворотило.

Подпоручик Иванов пошел с санитарами туда. Одного ранило в щеку, оторвало половину языка, другого — в затылок, а третий — тот самый несчастный Кисель, которому я читал «Летописцев» З. Бядули и который боялся евреев, еще открыл раза два рот, когда мы пришли с санитарами, и был готов.

И все эти люди — из запаса, немолодые.

Стоим здесь уже 18 дней...

Сколько же еще будем стоять?

Опротивело! Все мне тут опротивело!

10 октября.

Не так давно солдаты пророчили замирение на сегодняшний день. Теперь отложено до 25-го этого месяца. Кто знает, что будет этого 25-го? Доживем ли мы до него? А если доживем и мира не будет, солдаты еще на дальше отложат — «пока соберется музыкантская команда у пехотинцев, а то некому играть отбой». Так у нас тут шутят.

Сегодня — студеный ветер, мелкая морось, тучи со всех сторон. Все вокруг приумолкло, не стреляют. Солдаты почти все время сидят в окопах. Что им делать? Взводный выиграл в карты несколько рублей и послал одного из номеров на хутор за гусем (купить, а если удастся — украсть), и будет угощать своих. А что будем есть, если долго тут простоим — и все скупим, и все тут поворуем? Сегодня ели постную картошку, «и на том спасибо».

Вчера вечером один снаряд немецкий попал в штаб полка, взорвал ракеты и сжег хату. Очень красивое было зрелище, когда сноп ракет рассыпался в темном небе!

Ах, если бы нам такая тяжелая артиллерия, какую имеют немцы! Хорошо еще, что немцы хуже нас стреляют, а то была бы нам баня.

Пехотинцы из прикрытия последними событиями начисто запуганы. Во вчерашнем несчастье видят Божью кару

---

* Человек пятьдесят, сто или целая рота, которая всегда должна находиться при батарее на случай неожиданного нападения врага, особенно в походе.

за смерть еврея-добровольца. Своими вечными издевками: «Доброволец... казенная шкура... записался за день до призыва» и тому подобными — довели до самоубийства. Я думаю, что если бы и наш Беленький слышал по сто раз на день: «Жид, жид-боловид, тебе зад, а мне вид», так и без оскорблений, а только от одного этого идиотского повторения сунулся бы в петлю.

После обеда мы толокой (за табак Беленького) вырыли для себя новый телефонный окоп, очень хороший, с окошком, ну — вроде землянки. Расположен на сухом бугре, и вода под ногами, как в старом, не чавкает.

В сумерки позвал меня в свою хату командир. Я пошел вместе с его посыльным-ординарцем. Только подошли к хутору, как невероятно «тяжелый» (очень большой, судя по силе взрыва, «чемодан») бабахнул у дерева возле сенного сарая... Грохнуло так, что все затряслось. Мы вскочили в сени и оттуда, когда осколки разлетелись, увидели огромный столб дыма, земли — место взрыва. А в сенях Дикан (белорус с Минщины, который когда-то спорил с другим денщиком о том, как «хохлы» пьют чай), помыв тарелки после офицерского обеда, играл на скрипке свою вечную кадриль. Он так «злякався», что даже скрипку выронил из рук. Застыдился нас, поднял скрипку и осматривал ее со всех сторон, и к уху прикладывал: не разбилась ли, потому что «уронил как-то нечаянно...». Выбежал испуганный командир: «Где? Где?» Но немец больше не стрелял. И почему был выпущен этот один, такой огромный и такой дорогой «чемодан»? Не понимаю. Когда утихло и командир позвал меня в хату, я впервые увидел на его груди нашитую георгиевскую ленточку. Уже не раз я слышал, как солдаты говорили, что, увидев командира с такой ленточкой, надо его приветствовать, и объяснили, как надо приветствовать. И я теперь сказал:

— Имею честь радоваться, ваше высокоблагородие, видя на груди...

— Спасибо! — прервал он меня.

— ...доблестного начальника заслуженную награду!

— Вот, значит... — начал он объяснять мне задание, вероятно, хотел, чтобы я прекратил свою тираду.

— Дай Боже второй! — разошелся я и вдруг испугался: что, если с моей нелегкой руки после пожелания будет ему второй крест... деревянный? Ах, зачем я произнес последние слова!

Командир дал мне задание: с двухверстной карты сделать одноверстку и, кроме того, нарисовать позицию батареи в масштабе 1/8400.

Я пошел работать в канцелярию, за версту отсюда, и по дороге, осенней, темной, безлюдной, думал: если бы сейчас летел снаряд и оторвал бы мне палец на левой руке, — я чертил бы правой и показал бы рану, только закончив порученную мне командиром работу. Пусть бы знали, какой я... Разумеется, я сразу же и ругал себя за подобные рассуждения и удивлялся, почему такое лезет в голову: то ли под влиянием читанной мною ранее русской литературы, то ли в силу каких-то других причин...

11 октября.

Вчера, возвращаясь из канцелярии на батарею, я заблудился, вспотел от ходьбы и от страха, что не найду батарею. После моих высоких рассуждений — самое комическое приключение. А карту я так и не успел начертить, благо взялся за это подпоручик Сизов. Спал я в хате, искал вшей, разделся, спал хорошо. Кто может понять эту радость и наслаждение: спать раздевшись? Только тот, кто почти месяц спал в сапогах и в шинели... А ночевал я на хуторе в той же хате, где офицеры ночевали, только в другой половине.

Теперь сижу в окопе и пишу в рукавичках.

12 октября.

Не пишется. Не знаю, какой сегодня день, и ленюсь высчитать. На левом фланге идет большой бой, а мы воюем только с паразитами. Тихо, нудно и тяжко.

13 октября.

Жена плачет, что роса падет; сестра плачет, что ручей течет; мать плачет, что река плывет...

Сегодня утро морозное. Лощина белая от пороши. В воздухе не туман, а густой теплый пар. Ноги быстро идут по скрипучей травке.

За кустом выбросил с десяток белых, посередине черноватых, крупных вшей. Полегчало на душе.

После обеда разбирал и чистил карабин. Надо смазать, а нечем. Пашин пошутил: дал совет, *чем* смазать, но и *этого* у нас мало, так как кормят только вечером и одной бурдой.

Под вечер просто замучила изжога. Вероятно, от хлеба. Держимся хлебом.

Кроме того, была и еще неприятность. Проходя мимо командира, не отдал честь, так как думал, что не двадцать же раз на день отдавать. Оказывается, плохой еще из меня солдат: хоть сто раз проходишь мимо, надо козырять и козырять. Получил основательный разнос от командира, потом от старшего. Моему старшему был за меня от командира выговор. А ну вас всех к черту!

Переезд

15 октября, 5-й час утра.

Сегодня в полночь оставили позицию, на которой простояли 23 долгих-долгих и нудных-нудных дня. Ее после нас заняла N-ская бригада.

Куда едем — не знаю. Направление — на левый фланг.

В дороге насквозь промерзли. Ночь — как год.

Зато теперь ем блины в теплой хатке доброго жмогуса (стоим на биваке). Хозяин с состраданием смотрит на мою ненасытность и жалеет солдата: «Солдатус — как собак...» — «Верно, отец! Солдатская доля — собачья».

Тащимся дальше.

Под ногами болото. Все время — туман; иногда сыплется что-то мокренькое и меленькое, туман не туман, дождь не дождь; где-то ворона: карр-карр-карр! Мокрые листья под деревьями, дым из трубы у хуторян, собачка: гав-гав-гав! Куда мы едем?

16 октября.

На бивак приехали вчера поздним вечером. Несколько снарядных ящиков отстало в пути — утонули в грязи, при-

ехали ночью. Кони наши выбились из сил, пар от них идет, как белый дым. Люди измотались, вытаскивая из грязи орудия, повозки и лошадей.

Ночуем между гор.

Сегодня дорога суше, и тумана нет.

Вокруг — горы, лощины, болотца. Немецкий аэростат, будто толстая кишка в небе, висит и висит. Казался далеко справа, теперь мы едем прямо на него.

Привал. Пехота собирает сушняк, чтобы вскипятить воду в своих котелках, и «оправляется» в десяти шагах от того места, где пьют чай, едят хлеб. Наш командир одного огрел плетью по спине и злобно крикнул: «Свиньи!!»

Я надумал сбегать на ближайший хутор, надеялся купить там хоть немножко хлеба. Хлеба я не купил, потому что там уже полный двор солдат, но зато увидел необыкновенно красивых девушек-жмудинок. Три сестры. Красива старшая, но еще красивее — младшенькая. Стройная, лоб высокий и чистый, губки чуть вздернуты; глаза миндалевидные, голубые, две толстые косы сзади — светлые и немного вьются, а форма рук — ну просто классическая, и это у крестьянской девчонки. Каждый жест, взгляд, движение губ — все с какой-то простой, но удивительно милой девичьей грацией. Прямо наслаждение смотреть на ее милую жмудинскую и общечеловеческую красоту. А средняя — некрасивая... «И почему обидела ее природа рядом с такими сестрами?» — думал я. Младшенькая очень похожа на старшую, но у старшей все в пышном, зрелом цветении. Стоит она с пучком льна в руках, в накинутом на плечи теплом платке (косы лежат поверх платка), стоит и с вопрошающе-печальным ожиданием смотрит, как солдаты выламывают палки из плетня, как крошат дырявую корзину — для костра, чтобы вскипятить в котелках чай. Мне так захотелось услышать ее голос, что даже сердце затрепетало.

Я попросил:

— Прошам донас (хлеб), сурыс (сыр), пена (молоко), кявшине (яйца), яблокас (это слово «по-жмудински» я создал сам)... Пинегу, пинегу (деньги)! — очень громко сказал я, чтобы не подумала, что даром хочу. На этом мой запас слов был исчерпан.

— Нека нейра... нека нейра (ничего нет)! — ответила она вежливо, немножко огорченно тихим, но приятным мело-

дичным голосом. И пошла в сад, куда ее позвала мать. И я туда пошел. Там «госпадарис» (так тут говорят) с парнишкой, похожим на среднюю сестру, бегали между яблонями, хватались то за сундуки, вынесенные сюда из хаты, то за кадку, то за узлы с убогим тряпьем, и озабоченно, тревожно говорили и кричали на своем языке.

Я уныло поплелся с горки, с хутора, вниз к ручью, где стояла батарея.

Звиу-ж-ж, фью-фью! — зловеще пропела вдруг случайная шрапнель и шпокнулась на горке у хутора. Обстрел начался так неожиданно, что я застыл на месте...

Гляжу: пехота сыплется, как картошка, вниз, бренчит котелками, кувыркается с винтовками в отведенной руке — прыг! прыг! — кто куда, через плетень, через канаву, и рассыпается вокруг всего хутора. Из другой хаты бросились убегать пехотные офицеры, к ним каким-то образом приблудился со своей скрипкой в руках наш Дикан. Бежит во всю прыть, всех обогнал.

— Тревога!

Жжу-жшу-гру-укх! — тяжело, с нарастающей силой в звуках, как бы вал за валом, еще более зловеще прогудела и, внезапно смолкнув, а затем в один жуткий момент заглушая все, грохнулась чуть поодаль от хутора первая граната.

В пехоте поднялась неописуемая паника, закопошились, как одичалый разворошенный муравейник, бренчали котелками, лопатками, тащили винтовки за штык и бежали без оглядки во все стороны. Но спокойствие и порядок на батарее и приказы командиров образумили солдат. Залегли на межах, приткнулись к откосу реки, остановились, затаились...

— По коням! — гордо скомандовал наш командир, батарея рванулась, командир пришпорил коня, а за ним лентой-ужом, не отставая, батарея быстро поползла вперед по дороге.

* * *

17 октября.

Вчера не все дописал.

Как только мы отъехали от хутора, обстрел прекратился. Однако уже перед самой позицией надо было проехать

высокое открытое место. Мы об этом не знали, офицеры нам не сказали. А может быть, и знал только командир. Это для нас обернулось новой неожиданностью. Враг со своего проклятого аэростата увидел нас. Только голова колонны взобралась на горку — гранаты, шрапнели, тра-ах-буух... Батарея ринулась вперед бешеным галопом. Потом я видел уже только то, что происходило прямо перед глазами. Я шел, а когда все понеслось сломя голову, я уцепился сзади за телефонную двуколку, но не удержался, упал, покатился. Вскочил, побежал... Снарядный ящик перевернулся, и кони тащили его некоторое время вверх колесами, потом взвились на дыбы, бросились в сторону, запутались в постромках, упали. Две пары выносных коней, не знаю, от каких орудий, вырвались из упряжки, под свистом осколков и грохотом взрывов промчались мимо меня по полю, волоча за собой оборванные постромки, бросились в лощину, в болото и сразу провалились по шею. Потом на какую-то минуту я присел в придорожной канавке и увидел, что на дороге лежит утерянная кем-то шапка, мешок овса и наши батарейные лопаты, которые отвязались и свалились. Батарейцы и какие-то пехотинцы прыгали по полю, как воробьи, будто играя с осколками в прятки. Было это одно мгновение. Пехотинец бежал, прятался в чернобыльнике, снова выбежал, лишившись от страха рассудка, взмахнул руками и перекувыркнулся, — ранен... И я сорвался и помчался вперед, так как здесь укрываться — смерть... Самое заднее орудие гремит мимо на одном колесе, а второе задралось вверх. У лошадей гривы развеваются, солдаты обхватили их за шеи и мчатся с невероятной быстротой. Я увидел, что орудийные номера вскарабкались на ствол, облепили все орудие, что обычно запрещается. И я не знаю, из каких сил бросился к орудию, вскочил верхом на самый конец задранного вверх ствола. Никто меня не столкнул, а кто-то (до сих пор не знаю, кто) ухватил спереди за гимнастерку и тянул, чтобы я не свалился на́бок; так я и удержался. Потом батарея покатилась под гору, и здесь было спокойнее, однако весь строй нарушился; чтобы не наехать на других, бросались в стороны. И тут снова небольшой подъем, а выше хутор, и по хутору тоже бьют снаряды. Что было, рассказать и даже осмыслить и разобраться — трудно. Передние оказались сзади. Номера разбежались, как вспуг-

нутая стая куропаток; нелепо и низко приседают, когда рвется снаряд. Каждое орудие, каждая упряжка, каждый человек рвался и пер вперед сам по себе — галопом, вприпрыжку, вскачь, рассыпавшись кто куда. Черным дымом от гранат заволакивало их. Свистела и сыпала смертельным горохом из седого клубочка-облачка шрапнель. Смерть тому, у кого оно клубится над головой. Бегу, бегу — в горле сухо, все горит, хрипота. Вот наша телефонка — опрокинулась, конь упал, лежит: живой или убитый? Мимо, мимо!

Уже не так... немного унялось... утихло! Мы убежали, мы перед высокой горой. Тут позиция. Мы убежали... А там, сбоку и позади, на этом проклятом перевале, который мы переезжали, стоит под смертью еще одна батарея,— какая, не знаю. Почему же она стоит? Занесло ее пылью-копотью и черным дымом заволокло. Почему она стоит? Жутко смотреть, как она там гибнет. Видно: еще бегают, копошатся там человечки, а по ним беспрерывно: гах-х! Фью-фью-фьють! И вдруг эта разбитая, умершая батарея загрохотала!.. Засверкали выстрелы, через наши головы зашумело, понеслось то, чем она выстрелила. Батарея обороняется! Как радостный весенний гром, гремит она в наших ушах. Она защищает свою пехоту, дает ей возможность занять выгодные позиции. Защищает, принося себя в жертву. Я ничего не понимаю: откуда она там взялась? Когда заняла там боевую позицию? Я думал, что и она двигалась в одной с нами колонне. По-видимому, нет.

А мы — в горах! Горы, горы! Тут, с одной стороны, лощина. Хуторки. Болото, торф копали, вода. А спереди — высокие горы!

— Быстрей! Быстрей!! Быстрей!!! — слышу, кричит командир, кричит капитан Смирнов, кричат батарейцы.

— Быстрей! Товарищей от смерти спасать!!

Злые слезы застилают все перед тобой. Батарея готова к бою? Нет? Ах, почему нет? Людей мало. Все, кто может, на позицию! Первое наше орудие уже стреляет. Пехотинцы гуськом несут от передков, из лощины, лотки со снарядами. Батарейцы — с ними. Сизов ласково похлопывает шашкой по спинам, поторапливает! Стреляет второе! Гранатой, гранатой! Где же люди? Сбегаются запоздавшие номера... Жахнули бы всей батареей, — людей мало! Быстрей! Быстрей!! Быстрей!!!

Радость, радость! С горы кричат: «Обстрелянный аэростат спускается на землю, спустился, спустился!» Спустился...

А когда я бежал сюда мимо хуторков, из ближайшего двора вышли три старухи-жмудинки, идут — сумасшедшие — на соседний хуторок.

— Куда вы? Азад!! — помню, крикнул на них так, как у нас кричит пастух на коров.— Убьют вас тут, в погреб полезайте, прячьтесь!

Не понимают моего языка жмудячки... Свирепо машу им обеими руками, показываю, чтобы вернулись. Постояли, посмотрели, уныло поплелись назад.

Потом стали мы окопы рыть, энергично взялись телефоны проводить. Вся батарея стрелять начала.

До темноты стреляли.

Телефон наш сразу же перебило (одновременно оба провода). Четырех батарейцев ранило: фейерверкера Оборотова, Пичугина, Бояшку (тяжело) и запасного Чистякова. А какие потери были при переезде — пока что не знаю. Говорят, однако, совсем незначительные: человек пять, ездовых и номеров, легко ранило — и все. И меня удивляет: счастливый ли это случай, что мало потерь при таком адском обстреле, или еще что?

Тут песок, копать было легко, но окоп наш телефонный — «от солнца только», как сказал Чернов, придя к нам ненадолго с наблюдательного пункта. Чернов сказал, что какому-то несчастному пехотинцу голову оторвало, лежит там в низинке, где торф копали. Убегал от обстрела, когда переезжали, и вот остался лежать... От Чернова же мы узнали, что та батарея, которая стреляла с перевала, — третья батарея нашего же дивизиона, и шла вместе с нами в одной колонне. У нее очень тяжелые потери, «но всем дадут кресты и на месяц — в тыл», — сказал Чернов. Подъехали мы к немецким позициям непривычно близко: простым глазом видна была корзина, подвешенная под аэростатом, в которой сидят наблюдатели.

Сегодня «колбаса» (аэростат) опять висит, только значительно дальше от нас.

Говорят, ночью двинемся дальше. Говорят, что вчера наша пехота взяла в плен много немцев и много уничтожила и ранила.

Батарея стреляет. Стрельба по всему фронту... Нет времени писать. Писать в вязаных рукавицах трудно.

Немного утихло. На этот момент, когда пишу, выпущено уже 807 шрапнелей и 408 гранат. Немецкие снаряды перелетают через нас, потому что мы за горой, в «мертвом пространстве». Все почему-то стали уверенными, а в моей душе живет какая-то тревога... Даже стыжусь признаться, сказать об этом вслух.

Горы

18 октября.

Стоим за этими горами, в этом «мертвом пространстве», и я хочу верить, что может быть такое место за горой, куда снаряды не упадут. Однако и здесь как-то ненадежно...

Вчера дотемна стреляли. Наступил вечер... Мороз берется. Ноги на подмерзшей озими не проваливаются. Луна посреди седых, уныло-холодных туч движется, бежит стремительно...

Роем окоп: я, Пашин и Беленький. Ссоримся, нет ладу. Пашин нас обоих обзывает «аристократами» и землю выбрасывает целыми глыбами, как богатырь. Беленький — за архитектора, ругает Пашина и меня за неумение строить укрытия, а сам копнет раз-другой и поминутно садится пот вытирать. Я таскаю с хутора жерди для наката и, не видя толку в архитектуре Беленького, ворчу. Ссоримся потому, что всем нам тяжело.

Пошел я на один хутор. Спокойный хозяин не позволяет ничего брать. Торгуется даже из-за оглобель от саней. Говорит по-русски, а кажется — немец, а не литовец. Может быть, шпион? До границы отсюда четыре версты, с горы днем видно Вержболово (говорил подпор. [учик] Сизов). А я и боюсь: ночь, темень, я один на хуторе с этим подозрительным хозяином.

Пошел на другой хутор, хотел выломать какие-нибудь дверцы, слышу, в хате воют... Вхожу: дети гудят, бабы плачут,

руки заламывают, хватают постилки, подушки, мечутся. «Арклю, арклю (конь?)... Важой (ехать)... Ай, ай-я-яй... Дэва, дэва (бог)!..» Хозяин бросается ко мне: можно ли сейчас ехать, не убьют ли их немецкие снаряды, двинется ли наша армия отсюда дальше, вперед? Мальчик немножко умеет говорить по-русски; вероятно, хочет похвастаться этим, говорит: «Нета яйка... Офицерас убили всю курица...» Глупенький! Я пришел не за яйцами, не за курицей, мне доски нужны для окопа. Глажу его по головке — смеется. И хозяин немного успокоился. Сказал я им ласковое слово и ушел без дверец.

— Аристократ! Копайте же сами, черт вас возьми! — ругается Пашин, швыряет лопату, усаживается на кучу свежего песка и принимается курить.

— Вольношляющийся... Дверец не можете раздобыть! — кипятится Беленький, тоже бросая работу, и долго вытирает с лица и шеи обильный пот.

А потом пошли все втроем, сняли у того подозрительного хозяина ворота целиком и приперли на позицию.

Окоп так и не закончили. Набросали в ямку льна, накрыли ее воротами — и так ночевали.

Сегодня слышал, как один пехотинец рассказывал другому, что снарядом убило двух «вольных» на хуторе в то время, когда он с другим своим товарищем покупал на хуторе картошку.

— Торговались, тянули у нас душу из тела, а снаряд как бахнет! Нас не зацепило, потому что мы уже оставили их и отошли, а они, смотрим, готовы... Вернулись мы, забрали картошку даром.

Сизов просто ребенок. Все записывает, даже читал записанное батарейцам. Написал о том, как эти батарейцы угощали картошкой голодного пехотинца, у которого и крошки хлеба не было. Рассказывает солдатам о своей личной жизни (он — единственный сын старенького отставного пехотного капитана), говорит, откуда родом, как учился, как любит Россию и народ, и что готов за них умереть... Солдаты любят его, но некоторые посмеиваются тайком. «Пенсию буду отсылать домой, — признается он, — а то если убьют — санитары у мертвого заберут». У него выползла *беленькая* (то есть вошь) из-под перчатки — покраснел как маков цвет.

Стреляем с двух часов дня до позднего вечера. Дошло уже до тысячи патронов. Бой не утихает по всему фронту. Слышу из трубки: центральная передает кому-то телефонограмму, что наша пехота заняла фольварк Капсоде и засела там под губительным орудийным огнем... Непонятная тревога гнетет меня: рука не хочет больше писать.

Сегодня ночью привезут хлеб — единственная отрада.

19 октября.

Нас сильно обстреливают, — вот тебе и «мертвое пространство». Правда, снаряды то перелетают, то недолетают.

Бой по всему фронту.

20 октября.

Боже, боже! Осколком гранаты убит подпоручик П. К. Сизов. За пять минут до этого говорил с нами в нашем телефонном окопе и угощал нас ситным хлебом... Пошел обедать и не дошел до хаты.

21 октября.

Образ лежащего навзничь П. К. Сизова, в новенькой длинной шинели, в чистеньких валенках, с белым платочком на разбитой осколком голове, — терзает меня. Выпученные мертвые глаза, искривленный рот, посиневшие щеки, на которых уже у мертвого выросла щетина, пробитый череп — все это под платочком. А дальше — стройный, как девушка, как живой, только торчат окостеневшие ноги... Сегодня привязали его к орудийному лафету (без гроба) и с почетным караулом повезли в штаб, хоронить. Коня его вели за ним под седлом, в поводу. Вечный покой!

22 октября.

Вчера переехали на новую позицию. После смерти подпоручика командиру и всем нам было тяжело там оставаться!

23 октября.

Огнем нашего левого орудия подожжен сенной сарай в панском фольварке Капсоде (там снова немцы).

На батарее — четверо легкораненых.

На сегодняшний день нами выпущено 260 шрапнелей и 301 граната. Стреляли по выезжавшей батарее, отступающей

пехоте, по гаубичной батарее, по пехотным окопам. Прицелы наши от 54,5 до 150.

Сегодня рвались вокруг нас «чемоданы».

Вчера вечером и сегодня утром стоял густой холодный туман. Днем показалось тусклое октябрьское солнце. Зябли ноги. Купил у подпрапорщика Федора Смирнова, щербатого человека, одного переднего зуба нет, вонючий казенный кожушок с теплой бараньей шерстью. Заплатил дорого: пять рублей. Теперь осталось только два рубля — вот и все мои ресурсы.

— Подпрапорщик, герой, а казенным торгуеть, — сказал Пашин и ругал меня, что я переплатил «этому подлому гороху».

А я все думаю о смерти Сизова. Скорее бы уж замирение! Пусть ранят, только бы живым остаться.

Сегодня с 12 часов началось, как говорят, наступление 25-й дивизии! Мы тоже ведем бои, помогаем ей. Орудия грохочут, пулеметы трещат.

Мы стреляем почти беспрерывно. Но во время одной передышки я все-таки ухитрился задремать.

Сегодня даже не умывался.

Вчера, когда Беленький пошел стричь капитана Смирнова, мы (я и Пашин) при свечке, которая горит у нас в окопе, искали в одежде. Беленький «искался» перед ужином. Очень сокрушался, что ел свою порцию мяса, не помыв рук. Но у нас воды не было. «Почему супом не помыл?» — в шутку сказал Пашин после ужина. Беленький еще больше горевал. Ели втроем из одного ведра, как всегда. Только хлеб теперь держим отдельно. Так предложил Беленький — не ради себя, ради меня, потому что Пашин очень много съедал хлеба. Я, низкий человек, принял пропозицию Беленького.

От нашей позиции до границы теперь и трех верст не будет.

Штабс-капитан Домбровский опять заболел. «Холуи» говорили, что первую же ночь офицерам спать не давал. Подхватится сонный, как закричит на всю хату: «Пора! Пора! Вставайте! Снаряды падают на дом! Вставайте!» Всех тормошит — красный, большеголовый, с татарским лицом. Жутко. Его снова отправили: пока что будет при управлении

бригады. Интересно, а там устраивает ли он такой же тарарам ночью?

За день выпущено 499 патронов.

Несмотря на обстановку, мне приснился сладострастный сон. На сердце — камень. Надо дежурить — и не спать. Ой, как хочется спать!

24 октября.

Пришло письмо от моего младшего, моего милого братишки. Письмо вскрыто «военной цензурой» — это что за новости? Мне пришлют посылку — вот радость-то!

Приехали после излечения двое солдат, раненных 7-го августа. Командир с ними целовался. Один из них, Драб, из Гродненской губернии, заплакал...

Вчера на батарее четверых легко ранило, а ездового Кучинского переехала телефонка; сильно искалечен, фельдшер боится, что не выживет.

Светит красное зимнее солнце. Ночью — месяц полный, месяц ясный.

Было тихо, только на левом фланге какая-то батарея нашей бригады выпустила залпом несколько очередей. Изредка бабахали «чемоданы». Порой играл пулемет. Светили ракеты. Но мало. Тревоги не было.

Бомбардир-наводчик Володин (костромич) рассуждает о войне: «Когда только она кончится? Связались с дрянью, и надо же было нам из-за сербов влезать, они там каждый год воюют. Сколько нашего брата ушло на войну, а нам от этого какая корысть: прибавится ли хоть по десятине земли, или как? Чего не хватает богатым чертям, что лезут в войну? Кажется, и сыты и пьяны. С жиру бесятся, сволочи, а ты за них жизнь отдавай». Говорил рассудительно и степенно, прихлебывая горячий спитой чай. И меня угощал чаем.

Катастрофа

Пишу после обеда (24 октября). Выехали... так как оказалось, что немецкие окопы — пусты. Ночью немцы тайком удрали.

Едем...

Осеннее солнце спокойно гуляет. Ветряные мельницы заснули. Пустынно. Однако там-сям начинается сонное движение. Жители, как пчелы весной из улья, осторожно выползают из своих домов.

Вот по обочине шоссе идет, прихрамывая, штатский человек. Поднял с земли каску, раздавленную колесом, подержал двумя пальцами и швырнул в канаву. Двое парней собирают гильзы. Подняли поломанное ружье, но увидели солдат, бросили его и наутек.

На гати в яме лежит издохший конь. Вздулся, как гора, и уже смердит. А в трясине брошен пустой снарядный ящик. На пригорке — длинная аллея старых лип, неизвестно зачем безжалостно срубленных.

Тянутся окопы немцев. В них — перины, скамейки, столы, железные печки, горшки из литовских хат. Валяются бутылки, гороховые консервы, обертки от шоколада. Пачки патронов. Целые кучки гильз. Тянутся ряды проволочных заграждений.

И... знакомые места! Вот та горка с деревьями, по которой мы вели огонь 4-го августа.

Тоска и тревога на сердце. Не радует и победа. Грустные картины.

Кресты в поле, на лесных опушках, за придорожной канавой. Смывает дождь неяркие карандашные надписи: «Здесь покоятся русские воины, убитые при взятии г. Столюпенена 4-го августа 1914 года». Видимо, в общей могиле похоронены и немцы, потому что на одной из них стоит второй крест с надписью: «Здеся покоятся германские воины, убитые при обороне города С. 4-го августа 1914 года» Еще несколько шагов, и доска: «Могила воинов-евреев».

Некоторые кресты из связанных палочек. И уже покосились, и уже скоро упадут. И затеряется место последнего упокоения воина.

25 октября.

Вчера устроились на ночлег рано, еще засветло. Сегодня выехали в восемь часов утра (пишу на привале).

Прапорщик Валк (латыш) дал мне вчера большой, фунта два или более, кусок беленького хлеба. Я дал понемно-

гу каждому телефонисту, сам только попробовал, и кусочек спрятал в ранец. Вскорости полез в ранец — хлеба нет. Хотел учинить скандал, но раздумал, оставил так. Думал на Ехимчика, думал на старшего... А кто его знает, кто так подшутил.

На немецкой земле отовсюду веет на меня каким-то запахом тлена. Слышу мертвечину, хоть ты что...

Слишком спокойно расселись мы на чужой земле на глазах у врага. Быть не может, чтобы за нами не следили. А мы тут — душим кур, варим поросятину — ой, нехорошо!

— Начальству лучше знать! — отрезал старший в ответ на такие мои и Беленького рассуждения, но и сам скрывал в голосе недовольство положением дел и тревогу.

Сегодня часу в десятом началось.

Едем без опаски, — вдруг ни с того ни сего — пу-ухсь! — легкая шрапнелька над самой батареей.

— Немцы с правой стороны!

Тут же на дороге снялись с передков и построились к бою. Командир влез на передок и стоял с биноклем в руках, кое-как загородившись орудийным щитом.

Стоим. Ничего не видно, не слышно. Пехота куда-то убегает с дороги.

— Ох уж эти разведчики!

Опять несколько шрапнелек расплылось белыми кудрявыми клубочками.

Мне стало жутко.

— Нас окружают, — сеет какой-то пехотинец панику. — Командир нашей дивизии, немецкая морда, небось знает, что делает.

Может ли это быть? Генерал-лейтенант N? Такой гордый, стройный на коне, с задранной головой... Седая бородка...

Неужели — плен?

Необычайно ярко вспоминаю вчерашний сон... Я в своей деревне... Красные-красные, прямо черные, сливы возле Павлюкова сада, на земле, на дороге, у плетня... Идет Максим, сын солдата Захаренка, с ним его жена, и у нее на руках их «своевольный» ребенок... И какой-то кот царапает его личико... Я с ними здороваюсь, как это у нас принято. Но, миную их, замечаю, что одна нога у меня будто короче. А держусь героем! Пошел дальше... Встретил свою давнюю сим-

патию — Зину, сестру этого самого Максима. Задержала на мне пристальный взгляд, а я будто ничего и не заметил...

Все опять утихло. Никто ничего не знает, откуда и кто стрелял, что это такое? Наш командир недовольно говорит о чем-то с командиром дивизиона. Тот разводит руками...

Строимся, успокаиваемся, едем дальше. Телефонки с командиром — впереди. Перед нами идет батальон пехоты, за нами — тоже.

Опять все спокойно...

Вот только лихолетье нагнало зайцев. Откуда их столько? Один бросился прямо через дорогу. Командир перекрестился и почему-то свернул (один, без ординарца и разведчиков) далеко от дороги вправо. Мы продолжаем двигаться по дороге. А он, вероятно, захотел объехать стороной то место, где заяц перебежал дорогу...

Стоим. Снова какая-то тревога далеко впереди, на дороге... Чего ждем? Командир куда-то уехал со старшим. Что же это происходит? Что-то все-таки не так... Тревога, тревога наполняет сердце тягостным предчувствием...

(Конец дневника)

* * *

Снова пишу. Пишу по прошествии многих дней после тех событий.

...Немного успокоившись, мы двинулись дальше. Вокруг нас все было тихо. Молчало пустое осеннее поле, молчали безлюдные разрушенные немецкие селения, обгорелые остатки каменных стен. Уснули в тиши холмы, изрытые окопами.

Кто-то нам сказал, что обстреляли нас немцы из легкий пушки, подвезенной на автомобильной платформе по шоссе. Такое объяснение всех нас разозлило: где же была наша разведка? О чем думает начальство?

Ехали дальше...

Неожиданно летит по полю к батарее, словно вихрь или бомба, разъяренный казак... Без шапки, расхристанный, мокрый от пота, с ободранным до крови боком у коня.

— Где начальство? — грозно крикнул он нам, зарыв с разбегу коня ногами в землю.

Наш командир сам поспешил к нему:

— В чем, казак, дело?

— За версту отсюда наступает немецкая пехота!! — как громом поразил нас и полетел дальше.

Я не могу вспомнить, как и что потом происходило. Видел только испуганные лица пехотинцев нашего батальона, которые залегли под горкой. Некоторые долбили мерзлую землю лопатками, чтобы сделать себе ямочки; слышал какие-то крики — команду, что ли; где-то с левой стороны и спереди эхом разнеслись в воздухе первые одиночные винтовочные выстрелы.

Батарея скатилась с дороги вниз, к узкой, но глубокой и быстрой речушке, саженях в ста от дороги. Батарейные передки помчались вдоль реки, выискивая, где бы перебраться на ту сторону; ездовые кинжалами рубили ольшаник, чтобы набросать в речушку и сделать хоть какой-то мост-переправу. Мы не успели ни окопы вырыть, ни телефон провести в дивизион. Батарея сразу же начала стрелять, и я должен был дрожащими от волнения и тревоги руками записывать команду. Командир влез на передок, стал во весь свой высокий рост — и с биноклем в руках командовал. Хотелось склонить голову перед его героической фигурой — готовой мишенью для врага. Над нами закружился аэроплан и стал сбрасывать какие-то сверкающие в воздухе ленты, показывая своим, где мы. Когда я немного пришел в себя, гул боя — орудийный, пулеметный, винтовочный — заглушил все. Батарея оказалась под обстрелом. Ольховые деревья раскачивались и крошились от снарядов, ветки сыпались в реку, со всех сторон свистели над головой пули. Потом зашпокали и злорадно зафьюкали шрапнели. Услышал я — стонут раненые, увидел одним глазом, не отрываясь от записей команд, что тянутся куда-то окровавленные люди, увидел санитаров с красными крестами на рукавах и с полотняными носилками.

Ко мне подполз бледный, с синевой, с му́кой в глазах, наш старший телефонист и попросил отвести его на перевязочный пункт. Я бросил записывать («Зачем теперь эти записи?» — подумал я) и с большими трудностями повел его

вдоль реки, не находя переправы. Здесь, в норках под берегом, сидели пехотинцы из нашего батарейного прикрытия; некоторые, словно страусы, только голову спрятали в ямку. Один пехотинец помог мне вести старшего, потому что старший с трудом переставлял ноги; он был ранен пулей в спину между лопатками и стонал от боли. Когда так шли, пехотинец заметил у себя на сапоге кровь, потом захромал от боли, но не бросил вместе со мной вести старшего дальше. Мы уже отдалились от батареи на значительное расстояние, путь этот казался нам невероятно долгим и трудным, а перевязочного пункта все еще не нашли. И тут мы увидели, что с противоположной стороны едет госпитальный фургон, и напрямик, через поле, направились к нему. К нашей радости, фургон остановился. На нем развевалось на палке полотнище с красным крестом, и я, наслышанный о международных законах войны, с радостью подумал, что здесь нас уже не обстреляют. Но как только до фургона осталось саженей пятьдесят, рядом с ним бухнулся и со страшным грохотом разорвался «чемодан», подняв вверх гору земли величиной с большую хату и окутав все черным смрадным дымом. Зазвенели, загудели осколки. Одна лошадь завалилась и задрыгала ногами, вторая вставала на дыбы. Нам надо было бы сразу же лечь, а мы изо всех сил устремились к фургону, будто бы в нем было для нас спасение. Потом я обнаружил, что пехотинца с нами нет: он лежал сзади. Тотчас же выскочили из фургона санитары, безжалостно, как попало, схватили потерявшего сознание старшего и вбросили его в фургон. «И тот шевелится!» — крикнул санитар своему товарищу и побежал к пехотинцу; схватив его сзади под руки и пятясь спиной к фургону, он приволок и его. И этого вбросили в фургон. Возница обрезал ремни на убитой лошади, сел верхом на другую, понукая ее руками и ногами, — и огромный фургон с одной лошадью в упряжке бешено покатил по открытому полю прочь от меня. Я, кинув взгляд на удаляющийся фургон, что есть мочи побежал назад...

Я бежал и перекидывал из руки в руку шашку и револьвер старшего, чтобы сдать их, выбился из сил. И тут недалеко от батареи, в глубокой канавке, увидел батарейного трубача; на плече у него была труба с кистями, которую он

всегда носил при себе, но ни разу, от самого лагеря, не играл. «Заиграет отбой, когда окончится война», — шутили иногда солдаты. «Трубач должен находиться там, где командир, почему же он здесь прячется?» — пришло мне теперь в голову. Однако я, радуясь, что уже не один, присел возле него и с наслаждением затянулся цигаркой из его махорки. Немного погодя я сказал ему, что мы должны сейчас же идти на батарею... Но я первый не поднимался, и его тоже будто приковало к земле, хотя он и испытывал некоторый стыд и не смотрел мне в глаза. Потом он немного осмелел и успокоил мою и свою совесть тем, что «все равно мы там теперь ничем не поможем, что *батарея пропала*, так зачем нам почем зря идти на погибель...». Выкурив еще по одной цигарке, мы, однако, вскоре почувствовали страшную тоску, невыносимое одиночество и, радуясь появившейся причине (один снаряд попал и в нашу канавку), сорвались и побежали туда, где обязаны были быть со всеми вместе. Все же досада за то малодушие так и осталась у меня на сердце.

Подходя к батарее, я заметил, что огонь стал как бы полегче, или, точнее говоря, определился и стал нормальным, привычным. Но сердце сжалось от боли, когда я наткнулся у речного обрыва на трупы двух наших ездовых с зажатыми в руках кнутами, увидел разбитую опрокинутую телефонную двуколку, немного дальше — целую упряжку убитых лошадей, брошенный снарядный ящик и разбросанные орудийные патроны. Пехотинцы из прикрытия подбирали патроны и несли на батарею, а с ними ходил наш прапорщик, латыш Валк, молоденький белобрысый парень, и просил: «Носите, братцы, носите!» Я приложил руку к козырьку и задал глупый вопрос: «Ваше благородие! А что мне делать?» — «Что хотите», — безучастно, занятый своими мыслями, ответил он. Я увидел, как тяжело тщедушному пехотинцу нести патронный лоток — жестянку с четырьмя снарядами, ухватился за вторую ручку, и мы понесли вдвоем. Я прежде никогда не носил и не знал, что они такие тяжелые. С трудом перебрались мы по мосткам на другой берег речки, едва не упали в воду... Но я был снова на батарее. Огонь, было заметно, ослаб. Батарейцы успели, работая попеременно, вырыть неглубокие окопчики — по пояс человеку. Вспомнив о своей

обязанности рисовать план позиции, я принялся за это и увидел, что наши передки стоят на том же берегу, где и батарея, невдалеке от нее, в укромной низине. Командир, как и прежде, стоял на одном из брошенных здесь передков с биноклем у глаз. Вдруг он соскочил на землю и слабым, мягким, впервые услышанным мною голосом быстро сказал капитану. «Антон Антонович!.. Беда с правого фланга... Четыре орудия наводите под прямым углом...» Я находился поблизости и услышал. Эти слова обожгли меня. А командир, подхватив полы шинели, сам бросился к ближайшему орудию и вместе со всеми ухватился за колесо. Спустя мгновение одна половина батареи стреляла, как и до этого, по прямой к фронту, а вторая — по правому флангу, под углом в 90°. Я вгляделся туда, в правый фланг, откуда мы утром выехали, а теперь туда стреляли, и увидел менее чем за версту колонну всадников. Сперва можно было подумать, что скачут наши казаки, но тут же четыре наших орудия засыпали их шрапнелью, и всадники скрылись за постройками. Это была немецкая кавалерия — со страхом понял я.

Когда она перестала лететь на нас, огонь немецких батарей усилился (или так только показалось), а чем дальше, тем становился все сильней и сильней. Нас засыпало снарядами, которые летели не только прямо по фронту, но и с правой стороны, и даже как будто чуть справа-сзади. Пулеметные и винтовочные пули летели мимо нас вслепую, зато артиллерийский обстрел становился еще более ожесточенным. Помню: не столько из-за действительной надобности, сколько ради того, чтобы не бездействовать, я пошел за лотками еще раз. Под крутым берегом лежало много перевязанных раненых — и батарейцев, и пехотинцев, санитары все несли и несли новых, на санитаров покрикивал наш лысый фельдшер Лебедкин, в шапке набекрень и с нарочно облитой йодом рукой. Я нес лоток вдвоем с каким-то старым-старым бородатым пехотинцем. Нес не столько он, сколько я, он всего лишь тащился, уцепившись за ручку, но пока что шли благополучно. Оставалось до наших орудий уже немного — мальчик палку может добросить, но тут налетел очередной шквал огня. Лоток выпал из наших рук. Куда девался бородатый, я не заметил, потому что сам кубарем скатился в орудийный окопчик. Там было полно номеров, и мое появ-

ление их не обрадовало, потому что там и так не было места, но — сколько могли — потеснились. Я пристроился с краешка, спрятав между ними голову и плечи. Номера огорченно шептались, что у нескольких наших орудий сбиты прицелы, в одном заклинило патрон, в другом еще что-то неладно, и невозможно стрелять. И действительно, когда я прислушался, батарея жутко молчала. С правого фланга над самой нашей головой со свистом проносились шрапнели, однако со значительным перелетом. А с фронта гудели и по обоим берегам речки рвались гранаты. Осколки от гранат буквально истребляли батарею. «Если до ночи не заберут, может быть, выберемся отсюда живыми», — услышал я разговор. В эту же минуту с гулом и грохотом ударил снаряд совсем близко, в то место, где мы бросили лоток, не дальше. Страшный миг ожидания... и посыпались комья земли, зазвенели маленькие и загудели большие осколки. Меня что-то сильно толкнуло в правое бедро, даже немного подбросило меня. Я подумал, что ударило отлетевшим камнем или мерзлым комком земли. Пощупал рукой — мокро, глянул — кровь?.. И слабость пошла по телу; я попробовал шевельнуть ногой, чтобы понять, в чем дело, — так нет, одеревенела, как бывает, когда отсидишь и она занемеет. Я посмотрел вокруг: где же тот камень, который так сильно резанул меня? «Вольноопределяющегося ранило!» — крикнул над ухом один из номеров, которого я помнил только в лицо, а имени не знал. Кто-то тотчас же отпорол от моих штанов пришитый личный бинтик, расстегнул мне одежду и туго перевязал ногу, наложив бинт на голое тело (грязноватое, и мне почему-то было стыдно!). Я изгибался, насколько было возможно, чтобы увидеть рану, но она оказалась вне поля зрения — и снова мне было стыдно и даже как-то обидно, что в такое место ранило. «Ползите, ползите!» — приказал взводный, и я пополз назад, к реке, под прикрытие берега. Наступило затишье до очередного залпа, и я хотел ползти, но потом встал и пошел, волоча ногу и опираясь одной рукой на шашку, а другой — на карабин. Радовался, что не убило и что ранен, уеду с фронта, но корчился и стонал неизвестно почему больше, чем надо, — боялся, чтобы вдруг не убило, чтобы счастье не подвело, поэтому умышленно преувеличивал свою боль неизвестно перед кем, а просто вот гляди, не трогай уже меня.

Прапорщик Валк шел мимо и участливо спросил: «Вы ранены?» — «Няўжо ж не!!» — по-белорусски и грубиянским тоном ответил я, и эта грубость была неожиданной для меня самого. Валк и не расслышал или, может быть, не понял, что я сказал, и пошел дальше.

Я, вероятно, почти час лежал потом под крутым берегом реки, один, продрогший, и сотню раз, отупев, шептал: «Когда это кончится? Когда это кончится?» Канонада не утихала. С шумом падали в реку ветки, иногда в воду шлепались пули. Мимо меня один раз пробежали, пригнувшись и гуськом, пехотинцы; один зацепился за мою раненую ногу, и я что-то дико прохрипел от нестерпимой боли.

Батарея молчала... Потом радостно и дерзко бухнуло первое орудие: заклиненный патрон удалось вытащить. За ним сразу же выстрелило второе... Ой, сколько радости! Батарея живет, батарея сражается! И я не смог улежать: осмелел и потащился туда, где фельдшер перевязывал раненых. Ползу... вдруг батарея снова умолкла... Молчит зловеще... Бросился куда-то со всех ног фельдшер, за ним санитары... Что случилось? Страшно... Какая-то недобрая тишина прокатилась по всей батарее. Но вот батарея снова ухает, однако медлительно, уныло выпускает патрон за патроном. Плетется назад фельдшер, без шапки, совершенно лысый человек. Смотрю: у него на глазах слезы? «Вольноопределяющийся! — горестно говорит он мне. — Командир наш... царство небесное!» — и сглотнул, всхлипнул и крестится мелкими крестиками, вытирает кулаком, измазанным йодом, свои рыжие обвисшие усы. Я каменею, поняв страшную правду. Командир был убит наповал, шрапнельной пулей в лоб так, что она пробила как раз посередине звездочку на шапке. Это и фельдшер отметил, и я сам подумал: герою — геройская смерть.

Что происходило на батарее потом, я не знаю. Меня повели на перевязочный пункт двое наших ездовых. Затем они передали меня нашему телефонисту Пашину и одному легкораненому пехотинцу. Перевязочного пункта мы не нашли и сбились с дороги. Приближалась ночь. Пашин страшно матерился, ругал все перевязочные пункты на свете, и я теперь уже без неприязни воспринимал его костромскую на-

туру. Он не хотел, чтобы о нем подумали, будто он умышленно прилепился к раненому, чтобы не быть под огнем на батарее, но и бросить меня не хватало духу. Пехотинец же готов был вести меня хоть до Вильно, только бы дальше отсюда, и он долго рассуждал о Боге и о «великом грехе нашем — матерной ругани». «Наша матерь — земля, а мы ее так бесчестим, вот Бог и карает нас».

Была ночь, когда мы выбрались на проезжую дорогу. Небо над нами — темновато-синее, усыпанное звездами, воздух — ядреный, и хотелось слушать, вспоминая ночь и тишину в родном поле, в спокойное время. Но, когда я слушал, мне казалось, что фронт выгнулся дугой и немецкие снаряды бухают где-то за Вержболовом, а летят как раз над нами, только высоко-высоко в небе. Долго и звонко, ясно, даже красиво летят... Но — тс-с! Стыдно любоваться такой красотой. А главное-таки — страх...

Пашин идти дальше не мог... Посадил меня на краю придорожной канавы, поцеловался со мной и вернулся искать батарею.

Мы сидели с пехотинцем вдвоем, потому что идти я не мог, даже опираясь на него, и почему-то все время страшились плена. Пехотинец сам боялся и меня пугал, хотя и молчал, этот незнакомый, неведомый мне человек. Боялись каждого шороха, боялись темени — и рады были, что темно. Мне стало холодно, время от времени меня бил озноб, и ой как скверно было, что сидим... ни туда ни сюда... Только бы он меня не бросил! Но вот услышали, что кто-то едет, и пехотинец потащил меня подальше от дороги, на пашню. Затаив дыхание, слушали... Говор русский. Пехотинец крикнул: «Братцы, остановитесь!!» — и пошел на дорогу. Это ехали двое казаков. Посовещавшись между собой, они сделали так: один остался с нами, а другой поскакал на хутор, который был недалеко и откуда они ехали. Он вернулся с каким-то деревянным, для упаковки, ящиком, поставив его на раскатник на двух колесах и прицепив каким-то образом этот раскатник к своему казацкому коню. Меня посадили в ящик и, поддерживая ящик с двух сторон, повезли на хутор, который находился где-то впереди, у дороги.

На хуторе казаки зарубили шашкой и сварили, не опалив, хорошего породистого поросенка, такого белотело-

го, упитанного. В погребе нашли бутылку наливки. Только я уже не мог ни пить, ни есть... Даже противно было. Потом, когда я уже дремал, чувствуя болезненную, вялую дрожь во всем теле, один из казаков, а какой — я их не мог различить, все стучал и стучал во всех углах, взламывал замки, нашел разную утварь и среди прочего старенький микроскоп. Я слышал, как они, казаки и пехотинец, говорили, что это, вероятно, какое-то шпионское приспособление. Не пожалели меня, разбудили, чтобы показать мне, потому что я человек ученый. Когда я объяснил, что это такое, казак, нашедший микроскоп, спросил, дорогая ли это штука, и искренне обрадовался, что дорогая. И непритворно сожалел, что я не хочу выпить наливочки ради здоровья. А я чувствовал, что мне совсем плохо...

Выехали с хутора еще до рассвета. Теперь посадили меня верхом в седло того казака, который взял микроскоп. Он шел и вел коня. Был ко мне исключительно добр, но у меня страшно болела нога и лихорадило...

Вокруг в разных местах горели хутора, освещая наши — людей и лошадей — фигуры. А дорога была совершенно пустынной, только где-то по другой дороге тарахтела отступающая русская батарея или, может быть, обоз; время от времени вспыхивал немецкий прожектор и короткими очередями стрекотал наш или не наш пулемет. А мы все плелись потихоньку.

Казаки привезли меня в полевой госпиталь соседней с нами дивизии, стоявшей далеко слева, что меня очень удивило. Непонятно, как мы могли сюда попасть, если, кажется, все время ехали просто назад. Было верст десять или более от той дороги, по которой наступала наша батарея.

Обоз

Утром к хате, в которой размещался полевой госпиталь, подогнали много убогих крестьянских подвод. Положили в них тяжелораненых, по два человека на подводу, укрыли

тонкими и ветхими серого цвета солдатскими одеялами, — только бледные лица смотрели в небо да белели бинты у раненных в голову. Легкораненых — серую солдатскую массу с белыми повязками, чаще всего на руках, отправили пешком, вместе с санитарами. И так поехали. И так пошли и поехали на станцию Вильковышки, в тридцати верстах отсюда.

Погода была хорошая: хотя и холодная, как всегда в октябре, но сухая.

«Чтобы только не пошел в дороге дождь, — думал я. — Ну, однако же, до вечера погода, вероятно, постоит, а мы успеем доехать».

Я был доволен; я был рад ехать на свежем воздухе и смотреть, лежа, на серое небо.

Однако вскоре стало немного досадно, что едут невероятно медленно, не более версты в час. Часто останавливались, снимали кого-то, перекладывали, что ли. И это было еще досаднее, хотя тогда не трясло.

Телеги были очень тряские, подстеленное сено сразу слежалось, а дорога становилась чем дальше, тем все хуже, каменистая и неровная...

Вначале я крепился, опирался на руки, сжимал зубы, напрягал живот и все тело. Потом невольно стал терять терпение и добродушное настроение.

Когда очень подбрасывало на ухабах, стал кричать сквозь стиснутые от боли зубы:

— Тише, тише!.. Остановитесь же, остановитесь! Замучите!

Так трясло и так подкидывало на каждом камне, на каждом ухабе, что боль в ноге уже невозможно было терпеть.

Обоз растянулся на полверсты или более. То одна, то другая подвода останавливалась, отставала, потом догоняла переднюю, когда та останавливалась. И я слышал и спереди и сзади стоны на подводах, злое ворчание, жалобы. Только санитары и легкораненые весело шли рядом или сзади, обгоняли, останавливались, курили и разговаривали, даже рассказывали что-то веселое и смеялись.

Мой сосед, который лежал рядом, с левой стороны, какой-то пехотинец, сначала очень стонал, потом все тише и

тише и, наконец, совсем утих. Я со страхом подумал, как бы он не умер, лежа тут рядом со мной на одной телеге.

Когда не очень трясло, я думал о том, что такое боль, почему ее нельзя представить себе, когда перестает болеть, и почему ее чувствуют все живые существа. Что такое боль? Раздражение нервов; следовательно, боль существует как бы только в мыслях того, кому больно. Но, может быть, и дереву больно, когда его рубят топором, только мы этого не знаем.

Я проклинал войну, проклинал скверную медицинскую помощь, с горечью думал о том, что медицинская наука еще очень слабая наука, хотя и пишут в газетах и журналах о разных необыкновенных операциях, будто и в сердце могут что-то вычистить, разрезать, зашить — и вылечить. Я проклинал все тряские телеги в мире, с досадой думал о том, что крестьянину ведь очень просто сделать что-то более удобное, не такое тряское, но где уж это сделать таким медлительным, бестолковым жмогусам-возницам.

Теперь мне было больно, когда и не трясло. К ноге нельзя было притронуться, нельзя было хоть чуть-чуть повернуть ее. А здоровая нога зябла, и всему мне становилось скверно и холод.

Я думал, сколько часов мы уже едем. Может, два? Может, четыре?

Сосед пошевелился и попросил курить. Жмогус не слышал, и я сердито крикнул ему в спину:

— Остановись! Остановись же ты!

Старик-жмогус услышал, ничего не сказал и остановил коня. Затем посмотрел через плечо, а затем слез с телеги.

— Он курить просит... — сказал я капризно.

Дед-жмогус, с седенькой небритой щетиной на лице, достал кисет, свернул две цигарки, раскурил сперва одну, потом другую и уже раскуренную дал раненому. Тот взял ее слабой рукой и поднес к губам.

— Пожалуйста, и мне сверните, — попросил я таким капризным, болезненным голосом, что даже самому стало стыдно.

Старик, ничего не говоря, свернул и мне, я взял и прикурил от его цигарки сам. Закурив, поехали, но раненый за-

тянулся всего несколько раз и бросил недокуренную. Проехали еще немного, и я увидел, что пехотинец перекрестился бледной, немытой с того времени, как его ранило, рукой, с грязью между пальцами. Я смотрел на него с опасением: доедет ли он, не помрет ли в дороге, очень ли он слаб? Старик стал почаще оглядываться на него.

— Остановите... Остановите... — снова попросил раненый.

Старик остановил лошадь, а я бросил цигарку на обочину.

— Помираю, братцы... — сказал пехотинец, и горькая гримаса появилась на его синем худом заросшем лице.

Досаду и жалость вызвали у меня его слова.

А старик-жмогус смотрел с состраданием, но не очень встревоженно, как смотрит посторонний добрый человек.

— Прости меня, братец! — сказал раненый, скосив на меня глаза.

— Бог простит...— прошептал я неохотно слова, которые положено говорить, если так просят на исповеди или перед смертью. Я с любопытством смотрел на синее лицо умирающего, и он не выдержал, отвел глаза.

— Прости меня, дед! — перевел он глаза на жмогуса.

— Бок простийт...— прошамкал жмогус, и по его морщинистой небритой щеке поползла слеза. Я даже удивился.

— Санитары! Сюда идите, санитары! — приподняв голову, вдруг громко крикнул я.

Но их пришлось ждать.

Подошел один, подошел второй с носилками. Вовсе не торопились, посмотрели, стоит ли его снимать с телеги, потом сняли, положили на носилки и понесли к едущей сзади лазаретной линейке — полотняной будке с красными крестами по бокам.

Старик-жмогус взял в руки вожжи и снова сел спереди, а на освободившееся место санитары указали легкораненному, и тот после пешего марша с удовольствием взобрался на телегу. Это был бородатый рыжий здоровый солдат, у которого только рука была на перевязи, а на кисти намотано столько бинтов, что она была как подушка.

Я отвернулся от него и молчал. Боль притупилась, я уже был безразличен к боли. Закрыл глаза, потому что резал свет с высокого серого неба. Мерещилось, что это Стефан везет меня в школу, нога мерзнет, и брат сел на нее, чтобы согреть. Постепенно тепло разливалось по всему телу.

И было хорошо, только все боролся с какими-то помехами, никак не мог добиться полной удачи, чтобы было совсем хорошо, куда-то ехал и не мог доехать, видел, что матери это не нравится, но она все молчит, а я и не хотел всего этого, да так уж вышло... То становилось легче, я видел перед собой небо, сумерки, то снова становилось хуже, и ни на что не хотелось смотреть. Покорно ждал, хотя и томительно тянулось путешествие, но тяжело было так долго ждать. На ухабах подбрасывало, боялся выпасть — и тут сознание подсказывало, что я ранен, что вижу сны, а нога невыносимо болит, и лучше спать, чтобы не ждать, когда все-таки доберемся до станции.

Очнулся я в черной темени. На лицо сыпались мелкие капельки дождя. Не только ныло тело, но страшный холод забрался под одеяло, промерзла вся спина.

Транспорт стоял в каком-то большом селе или местечке.

По левую сторону от телеги горел свет в огромных окнах, далеко впереди тоже светились окошки, а вокруг было черно.

Никого поблизости не было, где-то вдали слышались голоса, там же фыркнул конь. Кто-то взошел на крыльцо, в этот дом с освещенными окнами, но на мой голос не отозвался.

Я звал, стонал, просил, чтобы меня взяли в дом погреться, потому что меня трясло, как осину ветром-холодом.

Никто не слышал, санитарный транспорт стоял, шел дождь, было темно... Где-то далеко и глухо, как в страшном и забытом сне, прогремели пушечные выстрелы. А может, только показалось?

Я не помнил и не понимал, каким чудом слез с телеги, взобрался на высокое крыльцо, прополз в темные сени и открыл дверь в теплую светлую кухню. Там в плите горели

дрова, лежали на полу солдаты, и я лег с ними. И хотел бы лежать так вечно, только бы транспорт не ушел без меня...

А когда вскорости приехали на станцию и наяву засветились огни, синие и желтые, и крикнул паровоз, я удивился и не мог сообразить, был на самом деле в кухне или нет, и кто меня оттуда снова посадил на телегу. Тут дождь пошел сильней, и так хотелось поскорее оказаться в вагоне-теплушке, где сухо, тепло, на нарах не трясет и где так давно-давно я не был. И когда паровоз снова крикнул, а потом мимо прошумел, — радость охватила меня. Наконец дверь теплушки отодвинулась, в освещенном квадрате появилась сестра милосердия в белом переднике, подошли санитары с фонарем и носилками. Меня сняли, положили, подали в вагон. Нечаянно толкнули, и острой болью резануло в паху, однако что ж: торопятся, сколько еще раненых там ждет на телегах. И стыдно немножко, что так много со мной хлопот, но ведь заслужил. Только ради чего, ради чего все это? Сколько понапрасну тратится времени, сил, денег! Не надо войны...

Какое счастье лежать в теплом вагоне! Меня положили на верхние нары, у стенки, как в хате на полатях, и было слышно, как по крыше вагона барабанит дождь.

В теплушке уже лежало человек десять. Сестра была немолодая и не очень красивая, но ласковая. Два санитара — ополченцы.

Меня раздели, укрыли, дали чаю в белой чашке и твердую лепешку.

Так хотелось есть — и не елось...

Приятно потянуться и уснуть. А поезд тронется — и укачает... Конец мучению.

Госпиталь

Нога согнута другой, если пошевелить, болит страшно. Писать запрещают. Да и руки не слушаются. Нудно лежать в госпитале, хотя и хорошо после позиции.

Вечная память нашему славному командиру-герою. А кто же теперь командует батареей? Вероятно, капитан Смирнов.

Так было в госпитале в первые дни.

А потом — Боже, как не хотелось умирать! Почему от меня скрывали, что могут отнять ногу? Что такое — *глубокая флегмона*? До сих пор ведь все было хорошо. Почему теперь так скачет температура?

И стыд какой — этот вечер перед операцией... Дикая боль, и истошный плач, и вопли детские, неискренние:

— Дайте мне цианистого калия. Я не могу так мучиться! Я не могу! Я не хочу! Спасите!

И слезы под натянутым на голову одеялом. Дали не цианистого калия, а брому. Потом старшая сестра ласково стыдила:

— Эх вы, интеллигенты!

Правда, стыдно: мог бы быть более терпеливым.

И операция... Страшно... Будут делать под хлороформом. А что, если сердце не выдержит? Прослушивают — один доктор, второй доктор... Почему они молча переглядываются? Сестрица бренчит операционным инструментом, раскладывает какие-то блестящие ножички и всякие штуки. И она ж нервничает... дура!

На столе лежал голый, в одной рубахе, без кальсон. Здесь стыда нет. Но все же неприятно... Сестра молоденькая, славная...

Положили на лицо сеточку, запахло хлороформом. Разобрало любопытство: как наступает этот сон?

Мне показалось, что я опускаюсь куда-то, опускаюсь, полетел...

— Считайте до пятидесяти, — говорит старый доктор.

— Один, два, три, четыре, пять...

И считал, и считал: пятнадцать... двадцать... тридцать... тридцать один... тридцать два... И думал: «Вот, может быть, и не усну... Еще будет хлопот...» Только тело куда-то все глубже и легче летит, летит, летит... Приятный и болезненно-легкий туман обволакивает мысли... Вниз, вниз, вниз... Сорок два, сорок три... Шепотом: сорок че-ты-ре... Еле слышно: сорок... пять... Конец.

Сознание угасло. Досчитал до сорока пяти — и умер. Так, видимо, и умирают люди, с такой же постепенной потерей сознания.

Когда тело резали острыми ножами, когда перебирали щипчиками жилы, когда сквозь дырочки в живом мясе протягивали дренажные трубочки, когда заталкивали в раны

тугие тампоны,— мычал и утихал. И часто слушали сердце: бьется ли?

Потом бледного, обескровленного, но живого отвезли в палату и положили на прежнее место. Была вялость, мутило — и было отрадно-легко. Операцию сделали.

— А где же та пуля? Вынули?

— Молчите, не разговаривайте! Потом!

* * *

И так день за днем... И день за днем.

Я поправляюсь. Я набираюсь сил. Сладкое томление в сердце и во всем теле.

Приходят какие-то дамы-благотворительницы. Приносят гостинцы: яблочко, конфетку, евангелие. Нет, дайте газету! Грустно в газетах. Где ты теперь, дорогая батарея? Где вы, милые товарищи? Не здесь, не здесь, не с этими дамами-благотворительницами и сестрицами моя душа, а там, там, в окопах. И невольно наворачиваются слезы. Надо спрятаться с этими слезами. Тут, среди этих воинственно настроенных жителей тыла, никто не может представить себе, что переживает батарея. Они спрашивают и спрашивают, как там нашим бедненьким солдатикам в окопах, но противно говорить с ними об этом. Отцепитесь, отцепитесь!

Из дому пишут: тревожатся, отец хочет приехать в госпиталь, от Стефана давно нет вестей, с тех пор, как его забрали, и еще многих забрали, многих, многих, рады, что операция позади, ждут домой, на Рождество... Эх!

Температура до сих пор скачет. Доктор ежедневно заботливо осматривает рану и огорчается. Что-то не так сделали? Осколка в ноге не нашли, а куда же он мог деваться? Не вылез же сам?

Я капризный, нетерпеливый больной, но разве я виноват, что столько времени лежу плашмя и на девятнадцатый день после операции еле-еле могу шевельнуть ногой?

А эти адские муки на перевязках, когда мне в живом мясе протягивают дренажные трубочки... Эх!

* * *

Палата небольшая, и все в ней тяжелораненные. Как раз напротив меня — Саксан, тяжелораненный солдат-немец из Саратовской губернии.

Саксан всех ненавидит, и перестилать свою постель позволяет только няне или той сестре, которая под диктовку писала письма его родным. И зачем ему перестилать, и зачем подкладывать воздушные пузыри, если у него пролежень на пролежне и мясо на нем гниет, дух тяжелый, даже дыхание спирает, и только подкожными впрыскиваниями, морфием держится человек... Он умрет. И уже не жалеют для него морфия и дают, только бы он молчал.

А он часто не молчит, и как придут к нему, он кричит:

— Уходите от меня, а то как схвачу стул, так всех вас бить стану...

Умирал он ночью в конце ноября. Позвал няню. Она пришла.

— Что вам? — спрашивает, а сама боится, видит, что у него глаза бегают.

— Прощай! — хрипло и зло шепчет Саксан. — Я попрощаться позвал... — и протягивает няне руку из одних костей.

— Не надо руку, — хрипло шепчет и няня, а сама боится взять руку. — Что вы напридумали, вы еще будете жить.

— Нет, не лги... — и достает из-под подушки два серебряных рубля.

— Не надо мне... Зачем вы мне даете?!

— Не дури, няня... бери. Дай попить...

— Ну, спрячу, но отдам, как встанете на ноги, — и подает воду. Наливает из графина, и графин дребезжит о стакан, руки у нее трясутся.

Я смотрю и думаю: «И зачем все это? И что же это такое? Жил человек — и умирает. Просто все. И нет ничего высшего... И вечная загадка... А я вот поправлюсь, буду еще жить». И совестно мне. И слышу: булькает вода в горле у Саксана, — помирает. Эх!

* * *

И так день за днем...

Приходит няня, начинает разговор. А на койке, где был Саксан, теперь лежит больной грудью, на днях привезли с австрийского фронта.

Няня вспоминает Саксана, вспоминает два рубля, которые дал ей перед смертью.

— Как отдал, вскоре и помер. А перед этим собака на улице выла. Саксан знал, что помрет. Бывало, принесут ему подушечки дышать, так он как швырнет: «Зачем вы мне даете их? Все равно помру...» Все его очень жалели. И все сестры очень плакали... У старого доктора рука тяжелая, — понизив голос, сообщает няня. — После его операции многие помирают. А у черноволосого рука легкая.

— Меня резал черноволосый, почему же не поправляюсь?

Няня смеется.

— Через месяц плясать на вечеринке будете. Вся ваша хворь от мыслей. Меньше думайте.

Потом вздыхает.

— Всяко бывает... Я тут уже много чего насмотрелась. Один давеча на улице помер, когда из вагонов выгружали. Второго принесли к нам, минуты три пожил, попросился на басон и на басоне скончался. Я басон держала... вот страху-то... Один тут вот рядом с вашей койкой лежал. Рука у него. Как пристали, как пристали: у вас будет антонов огонь, никак нельзя оставить, мы вам отрежем. И уговорили. Под ножом помер.

Приходит сестра и деликатно усылает говорливую няню из нашей палаты в «легкую».

И так идет день за днем, ночь за ночью. Нога согнута дугой, и я все еще не могу ею двигать без страшной боли.

Писать запрещают, да и руки не слушаются.

Приезжал с батареи и был у меня подпрапорщик С. Командует теперь капитан Смирнов. Вечная память нашему славному командиру-герою.

По приказу капитана Смирнова все мои записи мне из батареи отправлены. Спасибо ему. Привез подпрапорщик С.

С. мне с радостью и откровенно похвастался, что заходил к жене одного своего приятеля, тоже подпрапорщика, который теперь на войне. Она его очень хорошо приняла, угощала, чаем поила, просила, чтобы побольше рассказал про мужа, про войну — и из большого расположения пригласила его ночевать у нее и спала с ним, говоря без умолку.

— Славная женщина! На редкость! — говорил С. И мне это не было противно и даже нравилось. Каждую ночь вижу сны, что я в батарее, что нас обстреливают, конец, конец... Тра-та-тах! — над головой. Бросаюсь в окопчик. Чувствую: в спину, в ногу впиваются огненные мелкие пули. «Ранило! Не в живот ли? Может, я уже умираю?..» И просыпаюсь в страхе.

Смертельная скука... Сестра спросила у меня, хочу ли я вернуться на позицию. От этих умных сестер житья нет. Кажется, в газетах, проклятая, пишет. Воинственно настроена... Ну, иди сама, воюй.

А в другой палате говорливая няня распустила о ком-то слух: «Помрет... Нечего и говорить. В горячую воду доктор посадил».

Соседу моему сегодня делали операцию: отняли руку. Всю ночь не давал спать, а накануне лежал весь день как мертвый. А теперь: «Братцы!.. За родину!.. Осторожно!.. Бросим ранцы... Командир полка... братцы!..»

И когда он кричит, мне снится: страшный грохот от разрыва снарядов. Пули впиваются в ногу, будто иголками кто колет...

Потом видел во сне больную маму. Проснувшись, не мог сдержать слез.

Десятки раз снятся белые гнилые яйца, зеленые маленькие груши, темно-красные сливы. Рана еще гноится.

Ездил с сестрицей в рентгеновский кабинет. Свежий морозный воздух опьянил меня.

Люди бегут и едут по улице, там где-то поют, танцуют, справляют Рождество. Здесь трудно представить батарейную жизнь.

Мой овчинный кожушок очень грязный и, главное, ужасно вонючий.

Меня отпускают домой! Долой тоску! Пусть процветает жизнь!

Нет... тоска. Рана не заживает, осколок сидит в ноге, а я должен сидеть в госпитале... Будь проклята, война!

* * *

Пятый месяц войны. Людское стадо еще не успело отрезветь от патриотического угара, и шикарные N-ские фабрикантихи и дородные купчихи наперегонки играют в благотворительность. Угощают «бедных солдатиков» гостинцами со своих собственных фабрик и расспрашивают их о войне. С особым удовольствием слушают рассказы о штыковых боях. Малограмотным и безруким пишут письма. С внешне учтивым смирением образованного человека исписывают они солдатскими поклонами аж по четыре страницы...

Тихо и спокойно в палатах перед самым вечером, — в такое время, когда с мутного зимнего неба ползут уже сквозь двойные рамы печальные ранние сумерки.

Раненые спят или безмолвно лежат наедине со своими думами. Приятная пустота окутывает человека.

Но зажигают электричество, и исчезает унылая темень, и оживают при свете звуки. В зале — голоса, и даже смех, и разговоры о рождественских подарках.

Зеленая душистая елочка с самого утра стоит в зале, однако ее не наряжают, потому что она, как обычай, перенятый у немцев, не есть дозволена, хотя и не есть запрещена каким-то циркуляром духовного ведомства. Сестры бегают с кисетами, похожими на те, в которых мужики носят табак и принадлежности для высечения огня: смолку, огниво и трут. Кисеты стянуты шнурками, в них воткнуты маленькие еловые лапки, и бока привлекательно распираются.

Как только я пришкандыбал на своих трех скрипучих костылях из палаты в зал, так и мне сестричка Пудра поднесла кисетик. И я брал его с фальшиво-безразличным видом, а на самом деле было интересно, что в нем, и благодарил для приличия.

Повертевшись в зале, я вскоре поковылял в свою палату, почти пустую после очередной эвакуации. Сел на свою койку, хотя нога, когда сидел, немного болела. Развязал кисет. Наверху лежала записная книжка, а под ней — яблоко, сладкие сушки, конфеты и орехи.

Как завзятый лакомка, сразу же начал есть. Ел-ел, и все хотелось есть. Думал: «У меня такая дурная натура: если попадет ко мне сладкое, то никак не отстану, пока не съем все дочиста».

И так проходил этот глупый праздничный вечер: в пустых разговорах и поедании сладостей, которые запивал водой.

А потом болел живот. И я предался грустным рассуждениям о том, что сегодня не каждый может получить такой кисет, как этот, что на позициях холодно, что «край наш бедны, край наш цёмны — хвойнік, мох ды верасок»*, что в эту проклятую лихую годину он сплошь залит слезами, спеленут нуждой, искалечен, обездолен.

Я думал о своих братьях-крестьянах.

— Что вы так загрустили? — спросила сестрица Пудра и тотчас же покраснела, и потупила свои глазки, опушенные стрельчатыми ресницами. Она сентиментальна, и часто краснеет, и часто поправляет свою белоснежную косынку, и, должно быть, хочет замуж.

— Не каждый может получить сегодня кисет, а на позициях холодно, — ответил я и сморщился и скрючился от боли в животе.

— Да... война, война... ужас, — вздыхала и сестрица Пудра, но я слушал невнимательно, так как все ждал и думал, когда же она уйдет в какую-нибудь другую палату, и тогда я тоже выйду по своей надобности, чтобы перестал болеть живот.

А сестрица Пудра прислонилась к спинке моей койки, посмотрела на меня игриво-призывно, строя мне глазки, и многозначительно заметила:

— Вы должны теперь записать в эту книжечку фамилии всех наших сестер.

---

* Строки из стихотворения Якуба Коласа.

— Знаете, книжечка такая изящная, что как-то жаль ее пачкать... — бухнул я, не подумав, можно ли так сказать.

Сестра обиделась очень. И ушла. А у меня и в мыслях не было ее обижать. Было стыдно за нечаянно выскочившее неудачное слово. «А... сказал, так и сказал!» Укрылся одеялом, подтянул к самому животу здоровую ногу, отвернулся от света и притих.

Выходить — не хотелось уже тревожить себя, решил, что боль и так пройдет, за ночь брюхо станет мягче.

На том и задремал, подумав только: «А все же я еще очень болен».

— Казак! На войне был? Курятину ел?

В большую палату, где помещаются более здоровые, ходячие, любят все сходиться из разных палат. Там часто возникают беседы. Каждый старается рассказать какую-нибудь забавную историю или посмешить всю компанию какой-нибудь шуткой. В этой же палате лежит один очень типичный служака, унтер-офицер с тремя Георгиевскими крестами, которые всегда пристегивает на халат, и ходит, и лежит в халате с самого утра до позднего вечера, пока не наступает время раздеваться перед сном. У него бравый солдатский вид, волосы на голове коротко острижены и спереди стоят ежиком, а светлые усы — старательно подкручены, будто шильца. Как и все такие солдаты, герой, между прочим, любит похвастаться перед пехотинцами дружбой с артиллеристами и своей вольностью в обращении с казаками.

Когда в наш госпиталь привезли молодого угрюмого казака, вихрастого блондина с отрубленными пальцами на правой руке, и когда он после операции стал приходить в большую палату играть в шашки, герой всегда как только в дверях покажется высокая вихрастая фигура с рукой в белых бинтах на перевязи, громко и театрально кричит ему:

— Казак! На войне был? Курятину ел?

Казак — молчаливый, хмурый детина, и это обстоятельство заставляет героя отступить назад, к койке. Однако, усевшись поудобнее для длительного разговора и поправив одной рукой свой халат и кресты (вторая по локоть отнята), он начинает столько говорить, что успевает и за себя и за казака. За время своей военной жизни он набрал большой

запас разных историй для бесед. Правда, те, которые ему больше полюбились, пересказал он в этом госпитале уже по несколько раз, но всегда умеет, если захочет позабавить общество, сочинить и что-нибудь новенькое.

— Казак! На войне был? Курятину ел?

С этих слов начинает герой свой разговор и тогда, когда в рассказываемой истории фигурируют казаки.

Слушатели тесней обступают рассказчика, особенно ополченцы и вообще всякие «молодые», «серые» и «шляпы», с почтительностью смотрят на героя, а он, подкрутив здоровой рукой свои светленькие шильца и задорно вскинув голову, начинает своей московской скороговоркой.

— Я бумажки в оба кармана... Казак тоже... «Много ли?» — грит... Сочли: у меня 870, у него тоже... рублей 900.

Родом из-под Москвы, человек этот очень мерзко ругается, или, как говорят солдаты, «матерится».

— Ловко! Вот это ловко! — уважительно и с явным одобрением хвалит его кто-то из собравшихся, а все солдатское общество в такой момент громко гогочет.

— Однако чего же вы к пану прицепились? — слышится тем временем тихий голос.

Паном москаль называет поляка и белоруса, а тут, в рассказе, им был какой-то лавочник в глухом польском местечке.

— Прицепились чего? — с иронией в голосе повторяет вопрос рассказчик.

— Ах ты, шляпа! — ласково, для красного словца, бранит он, повернувшись, того, кто задал этот вопрос.

— Известное дело, шляпа! — опять взрывом гогота толпа больных и раненых солдат старается засвидетельствовать, что все они, кроме этого единственного, не «шляпы». И немного угомонившись, не подбирая рассыпанных шашек, все снова пристально глядят в рот и на блестящие, два белых и один желтенький, кресты.

— Мы и не думали цепляться: пан сам к нам прицепился! — с еще большей иронией, с еще большим удовольствием пересказывает уже известную историю герой.— Нас, помнится, было трое: два казака и я. Зашли в лавку к пану, набрали всего-всего, чего только хотели: папирос, сушек, шоколада. «Ты не плати, он за всех заплатит», — говорит мне казак, показывая на своего товарища. А тот сначала у дверей

стоял, на улицу смотрел. «Хорошо!» — думаю себе да все пихаю в котомку, чтобы побольше влезло. Подошел тот казак, бросил на прилавок сколько-то там копеек... Вот тогда-то наш пан и взвыл!

— Казак! На войне был? Курятину ел? — с удалью спрашивает он опять у хмурого казака, подбираясь к финалу истории.

А тот молчит, только из вежливости одобрительно кивает головой.

— Пан наш воет, бесится! А один из казаков как выхватит из ножен саблю, как замахнется, — прижал пана к стенке. «Молчать!» — грит... Дух заняло у пана. Тогда они все в мешок, в мешок. Один казак себе на плечи, — айда в сотню. А этот, что остался, как схватит лом в руки, как трахнет, браток ты мой, по денежной кассе, аж пыль, аж дым, куда там! Разбилась касса. «Не зевай... ... ..!» — кричит мне мой казак. Сочли: у меня 870, у него тоже рублей 900. Слышим, кто-то идет. Бросили, выскакиваем на улицу. Ха! — бегут нам на подмогу... Черт вас задери, дуйте, а с нас хватит! Тихим трактом — дальше, дальше... Догнал я свою часть. А через несколько дней, слава те, господи, меня и ранило в ногу, первый раз. Лечился я в Богородске, выписал в госпиталь жену. Переночевала, деньги отдал: поезжай себе, голубка, с богом!..

— Ловко, вот это ловко!

— Как кому повезет...

Все гогочут.

* * *

А тому больному грудью, которого привезли с австрийского фронта, больше подошло бы лежать в больнице для психически больных, чем тут, у нас. Лежит он на Саксановом месте.

Побывка

Мелкий снег монотонно сыплется, а я стою у сенного сарая и гляжу на снег и думаю обо всем.

Еще и месяца нет, как вернулся домой, и вот снова такая обычная, нудная жизнь, как будто не было ни тех окопов, ни той операции. Снова тоскливо и неинтересно...

Очнулся от дум, посмотрел на белую снежную унылость и неторопливо пошагал на улицу.

Злой ветер с жалобным завыванием втискивается в щели дворовых строений. Тихим мычанием жалуются на что-то коровы, вытаскивая из этих щелей паклю. И больше — никаких звуков. В помутневшем вечернем воздухе беспрестанно кружатся мелкие снежинки. Из-за угла дома несется густейшая поземка.

Нечего делать и некуда идти... «Ну что? Ну куда?» Возвращаюсь во двор. Возле повети взял топор, повертел в руках и положил назад. Буян вдруг подхватился с належанного в санях места, завилял хвостом и с бурной радостью прыгнул на грудь.

— А, ттебя волки!

Со всего маху дал ему пинка под брюхо. Бедный пес коротко взвизгнул и утих. Посмотрел на него, стало совестно, но не хотел поддаваться этому чувству.

— А, ттебя волки... Обрадовался!

Из сеней вышла мать, постояла на пороге, позвала:

— Что ты все на морозе стынешь? Шел бы в хату, погрелся.

— А что тебе? Приду...

И показалось, что и она посмотрела на меня такими же обиженными глазами, как Буян. И она тотчас молча скрылась за дверью.

Пойду к Самусевым, у которых обычно играют в карты и так собираются посидеть.

По дороге разгоняю свою противную злость, но без особого успеха. Думаю, злость такая потому, что перед глазами стоит покорная и несчастная мать, а я люблю ее, и горько, что она в таких растоптанных, разлохмаченных лаптях.

И так надо жить всю жизнь, и мучиться — неизвестно зачем...

У Самусевых плавает сизый махорочный дым. За столом в жупанах, а кто и в шапке, сидит несколько человек игроков, занявшихся картами, а на полатях и на лавках — за гребнями бабы. По грязному, замусоренному земляному

полу, в холоде, ползает голоногий, сопливый, замурзанный мальчик и забавляется своими игрушками-поленьями.

— Редко, редко заглядываешь к нам, голубок! — в знак приветствия говорит мне с запечка всегда ласковая и спокойная Самусиха.

— Хоть бы наплел нам чего про войну, — не обидно пошутил и Самусь, приглашая ближе к столу.

— А то и не знаем, как там наши хлопчики воюют с проклятым германцем.

— Что ж я вам скажу: война, ну и война... — стараюсь быть вежливым и обычным. Присел на лавку — и нет никакого желания говорить о том, что осталось так далеко позади, как бы и не было в памяти совсем.

— А правда ли, что, говорят, немцы нашим глаза выкалывают? — будто бы безразлично, однако со скрытой тревогой о муже спрашивает Самусева невестка, хотя ее муж и не на фронте еще, а стоит где-то в Сибири.

— Сам не видел, но всякое бывает...

— Да.

— От, мало ли что бабы плетут! — вступает в разговор сидящий за картами Панаська Артеменков, который всегда на целое лето нанимается к кому-нибудь подпаском или батраком, приходя к отцу только перед Рождеством. Удивляюсь, когда это он успел так вырасти, уже и разговаривает как взрослый.

— Погодь, погодь, Панаська! — качает седой головой Самусиха. — Погодь... сказывали, что и на тебя готовит писарь уздечку.

— Ну и что? Чем тут ежедневно ругаться с невесткой да картошку есть постную... Ха! Там два раза в день говядину солдатам дают.

Сказал дерзко и смело, да вроде послышалось в голосе парня смущение, что так говорит.

— Наешься, сынок... Тс! Без говядины, но зато на своей печке лучше, Панаська ты мой.

Однако слова Самусихи еще больше раззадорили его.

— Ну и что?

И со злостью хлопнул, этакий-то еще молокосос, картой по столу. Трофим Тищенок, владелец карт, ворчит на него:

— Ну, ты не очень... не своими...

— Так что?! Хуже не будет... Пропади она пропадом, своя печь!

* * *

Неинтересно у Самусевых. Выхожу на улицу... Зимняя тишина, метель, занесенные снегом, молчаливые, с замерзшими маленькими окошками хатки... Неприкаянность и тоска... А-ах!

И тогда вспомнил о тех, которые еще оставались там, на позиции, когда я уехал, и вот теперь, в этот самый момент, сидят в промерзших ямах, с нетерпением ожидая то утра, то вечера, то когда кухня приедет, то когда хлеб подвезут. Жаль их, жаль... Несчастные мои, дорогие мои!

Но с самого дна души вылезает то, что грызет меня здесь, дома. Да, мысли их летят в этот час сюда, под родные крыши, на свою теплую печь, к этим счастливым безмятежным дням, в хату, где тепло и светло. Летят с полей смерти, из тех ледяных ям, из бесконечной трагедии дней. Летят... Они теперь только и думают об этом, больше ни о чем.

Ну, так и пусть сидят, пусть мерзнут... Пусть, пусть!..

Зашел во двор, взял под поветью резгины и отправился на гумно.

Оттуда, из-под ворот, вспорхнули голуби. Однако, подбежав, увидел, что на току их еще сколько-то осталось. Воркуют, топорщат от холода перышки, переваливаются на красненьких, сизых лапках, выклевывают зернышки, вбитые цепами в ток.

Тихонечко прокрался на ток, взял стоявшие у стенки одну метлу и вторую — и заткнул дырки под воротами, потом поднял лопату, спрятался за столб-подпорку и вдруг свистнул изо всех сил, аж задрожал.

Фур! фур! фур! — как перепуганные люди, заметались, оставили наилучший корм и в смертельной тоске кинулись под ворота, бились крылышками, чтобы вылететь.

Шуганул лопатой в голубей — и увидел одного со сломанным, обвисшим крылышком. Схватил его и судорожно сжал в руке. Почувствовал, как бьется сердце у голубя и у самого меня.

Размахнулся и в диком порыве трахнул его головкой о столб так, что у него чуть ножки не оторвались. И гадливо бросил, как набитую опилками, искромсанную детскую куклу.

А потом взглянул на оскверненную таким поступком руку и пошел накладывать резгины.

Взялся за вилы — делать стрясанку. Проворно и высоко подбрасывал солому и сено, чувствовал какую-то легкость на сердце и запел, сначала тихо, а потом все громче и громче:

А ты, скрыпка, іграй шыбка,
А ты, дудка, іграй жудка...

Эх, этапы тихой молодости моей!

Эту песню поют у нас в хороводе, поют красиво, и я всегда любил ее. Теперь пел не всю, а только это обращение, и не столько обращение, сколько припев, который можно тянуть до бесконечности и, если хочешь, то не вслух, а только в душе.

Эх, этапы тихой молодости моей!

Приготовил стрясанку, вскинул резгины на плечи, замкнул гумно и, успокоенный, поплелся с ношей домой.

Ночь, зимняя, темная, долгая ночь сползает на землю. Погода улучшается. Поземка угомонилась, и повалил крупными пушистыми хлопьями снег. Все побелело, прихорошилось.

И в хлеву, когда клал сено под решетку, а конь мешал своей большой головой, с жадностью и аппетитом хватая из рук сено, — не разозлился на него. Обхватил эту гладкую голову и прижался к шее.

— Конек мой! Гнеденький мой! Все будет хорошо!

А конь хрумкал сено и сгриг ушами.

Когда пришел в хату, света еще не зажигали. Сам взялся за лампу и стал искать спички.

— Никогда у вас ничего не найдешь на своем месте.

— Они, кажется, где-то у печки лежали, — оправдывается сварливо-страдальческим голосом невестка.

— А ты, если знаешь где, так взяла бы да сама зажгла... И стекло вот хотя бы немножко почистила.

— Разве ж начистишься?..

— Если бы ты хоть раз его чистила.

И жаль мне ее и досадно... Она горюет о Стефане, а я с ней неласков и груб.

Лампа осветила скупым светом хату.

Стол наш, высокий и плохой, небрежно покрыт грязной скатертью. Маленькая скамеечка шатается на неровных ножках. В окне с разбитым стеклом намокла скомканная старая кофта. На скамейках просыпаны хлебные крошки, валяется мелкое тряпье и всякий хлам. На полу насорено и налито, валяются палки, стружки, грязные ошметки, детские игрушки — как дети играли, так все и осталось. На полатях — смятые, незастланные постели. А вдоль стены там — как попало навалена кучами всякая одежда. Над дверью, на колышках, два хомута, чтобы ременные гужи на дворе не промерзали и не портились; свисающие концы всякий раз на пороге бьют по шапке, будто кто-то нарочно их откидывает. От детской люльки и с печки, где сушатся мокрые сенники, тянет тяжелым зловонным духом. Ушат с помоями, кадка со щелоком, обвязанная маминым фартуком и обсыпанная золой и пеплом, корыто с мукой и желоб с мякиной для свиньи; зеленый, никогда не чищенный самовар с помятым боком и без ручки, глиняный узкогорлый кувшин с дегтем, бутылки с керосином, решето в муке, лапоть с концом оборы... а налито, не вытерто... Тараканы обгрызли на стене газету, приклеенную хлебным мякишем, вылезли и шевелят усами, бегают!..

Как все это далеко от той культуры, которую я видел в крестьянских хатах в Восточной Пруссии.

И как каждый вечер, мама и сейчас вынимает из печки горшки, а отец принес себе воды в ковше из сеней и, набрав в рот, льет воду изо рта на руки, моет их перед ужином. Невестка кормит на зáпечке малыша, склонившись над ним обвислыми голыми грудями, а дети постарше сидят на печке и, засунув лучину в щель балки, тренькают на ней. Развлечение! И я когда-то так забавлялся...

— Прогоните же Буяна за дверь... — говорит мама, когда отец садится за стол.

Буян вертелся возле стола, а теперь спрятался под стол.

— Пошел вон! — вякнула с зáпечка невестка.

— Хлебом его поманите, — назло посоветовал я.

— Ну вот еще, хлебом его кормить, — добродушно возражает мама, хватает сковородник, подсунула его под стол и забарабанила перед мордой Буяна. А тот сидит и ухом не ведет.

— Пусти-ка ты, вот я ему! — быстренько выхватил отец сковородник из маминых рук. И грозно закричал: — Пошел вон! Чтоб ты сдох! Вот я тебе!

Буян взвыл от удара сковородником по боку, с собачьим проворством проскочил по-над скамейкой к закрытой двери и аж заскулил, поглядывая то на щеколду, то на хозяина. Тогда отец чуть приоткрыл дверь и так огрел Буяна по заду сковородником, что бедный Буян взвыл и кувырком выкатился во двор.

— Ты убьешь его так, — осуждает мама отцовский гнев.

— А что на него смотреть? Распустили собаку, а теперь жалеете, — дрожащим голосом говорит отец и старается успокоиться, так как у него даже руки трясутся.

Сели ужинать.

Все едим из одной миски деревянными ложками. Отец, откусив хлеба, подбирает остальным куском и крошки на столе (прижимает кусок к столешнице) и подставляет этот кусок под ложку, чтобы не капало на стол. Детям далеко до миски, так они все проливают на стол, обливают себе грудь... Противно смотреть, как у девочки ползут сопли, а она все время шмыгает носом и наотмашь трет под носом рукавом свой рубашонки. Она болтает ложкой в миске, выискивает в щах гриб получше. Вытащила один, откусила кусочек, пощупала пальцами и плюхнула назад в миску.

Трах! — стукнула ее мать ложкой по лбу...

— Ты ешь, если вытянула, дрянь ты этакая!

Девочка захлебнулась, заревела и полезла под стол.

— Никогда без гвалта не обходится, — говорю сквозь зубы и сразу жалею, что сказал, потому что девочка после этого заревела еще громче.

Тогда невестка, разозлившись, что дочка не умолкает, вышла из-за стола, бросила ребенка в люльку так, что и он заплакал, схватила лапоть с оборой, вытащила девочку из-под стола за ручку и больно стеганула концом оборы. И поднялся обычный для каждого обеда и ужина рев и крик.

— Утихнешь ты или нет?! — кричит невестка.

— У-у-у! — ревет и никак не унимается девочка. Тогда мать снова принимается ее бить.

— Ну хватит уж, хватит! — спасает наконец внучку бабушка, когда видит, что наказания уже достаточно. — Иди же ты ко мне, моя ж ты родненькая! Иди же ты ко мне, моя худенькая ревушка! Не плачь же, не плачь, а то мать снова будет бить... Цыц!

— Не берите ее на руки, сделайте божескую милость! Этак совсем избалуем детей... — почти со слезами кричит невестка.

— Ага, уже... я виновата: я избаловала... — И в голосе мамы полно обиды.

Так начинается ссора.

— Когда шел на войну, пусть бы с собой брал, как мне здеся... никогда... покоя нет...

И невестка заплакала. Сначала все в хате притихло, только она плакала. Но потом она прокляла детей:

— Чтоб уж хоть погибель на них... от головы моей бедной...

— Цыц! — повышает тогда голос отец.— Что ты детей клянешь? Они в чем виноваты?

— А пропади он и паек этот вместе с ними, за него же меня грызут да грызут.

На детей от казны выдают паек, по рублю, по два и три рубля в месяц, но деньги невестка не отдает на хозяйство, и в этом кроется причина ссор.

— Кто тебя грызет и за что? Разве мы собаки какие, а?

Ничего не отвечает невестка на слова отца, чтобы своим молчанием еще больше всем досадить; взяла ребенка, еще сильней захлипала и полезла на зáпечек, не поев крупени.

«Так и всегда, так и всегда, — вертится в голове, но я хлебаю прокисшую уже крупеню с бобами.— Где уж тут скажешь, чтоб в хате убирали».

— Я не буду жить дома... Поеду служить в город... — неожиданно даже для самого себя говорю я, не поднимая глаз, но тихо и твердо.

— А че тебе ехать? *Ай заскучал по городской жисти?* — говорит отец виноватым, но нарочито спокойным голосом, будто ничего особенного не было. — Ну, че тебе ехать? Месяца еще с нами не побыл, не отдохнул после раны... Что ж, делай перегородку в хате, как говорил... Кто без тебя сдела-

ет? Мы так, как те свиньи, весь век в грязи жить будем. А ты ж свет повидал, тебе почище хочется...

— Сгори она! — само собой вырвалось у меня со злобой. — И правда, живем по-свински. К нам пригласить никого нельзя, потому что стыдно за наши порядки.

— Слава богу, до сих пор люди не обходили нас, а живем по достаткам, — обиделся и отец. Помолчав и громко хлебая крупеню, вычерпывая ее уже с самого дна, он прибавляет: — Мы, сынок, не паны и не евреи, чтобы каждому под нос тарелочку подставлять... Мы и из одной миски достанем, только бы бог давал, что доставать...

— А на кой ляд мы держим двух коров, если обе яловки, словно падаль, — кричу я, сам того не желая. — Детям молока нет!

— А для навоза, сынок! — с нарочитой покорностью и жесткостью отвечает отец.— А что яловки — бык в прошлом году попался молоденький совсем...

Потом молятся на ночь богу и ложатся спать.

Отец размашисто крестится, и кланяется, и шепчет то громче, то тише. Мама горячо скороговоркой бормочет, но все на бегу, потому что и помолиться нет у нее времени. Она останавливается только, чтобы перекреститься, а то — стирает со скамейки крошки, приставляет к ней маленькую скамеечку, тянет, как муравей, сенник, чтобы постелить мне постель. Невестка, успокоившаяся тем временем, крестит на полатях детей, взяв маленькую ручонку в свою руку.

— Сохрани, боженька, папу на войне...

— Сохлани, бозенька, папку на войне, — повторяет мальчик и спрашивает: — А далеко ли, мамоцка, война?

— Молись, а не спрашивай... Все тебе знать надо... мал еще... Вот проси бога, чтоб наши коровки молочными были.

А моя, моя мама спрашивает у меня издалека и деликатно:

— Верно, ты и вчера, не помолившись, лег? Очень уж беспокойно спал, что-то бормотал, говорил, стонал...

А мне не хочется даже говорить. Они меня с такой радостью ждали, а я не принес им веселья в хату. Да, редко смеются в нашей хате. И я тут во многом виноват... А, ладно!

Молча вспоминаю свой вчерашний сон. Так ясно, так отчетливо видел вчера во сне, что я на позиции, что немцы

наступают... Шрапнели рвутся над нашей хатой, тут, в нашей деревне, и я прижался к наружной стене, возле которой сплю, и слышу, как шрапнель над трубой хаты: тра-ах! Пули на крыше, по улице: тук! тук! тук! И у са́мой спины, и вот в спину, даже горячо-горячо... Хочу бежать — нога мертвая, не сдвинуть, идти совсем не могу... И думаю: как же мне жить такому, с такой ногой?

Кто-то барабанит в окно:

— Откройте!

— А Господи... — поднимает голову отец. — Кто там? — спрашивает, подойдя к окну.

— Я... разве не узнали?

— Неужто Степанька? — спросонья кричит мама.

— Ну, что ты это?! — родным-родным и ласковым голосом отзывается невестка.

И у всех неуверенно-радостная, печально-тревожная надежда, даже у меня: «Не Степанька ли (старший брат) каким-то чудом вернулся с войны домой?» Даже под сердцем холодеет.

Да нет: голос свата, невесткиного дяди.

Отец открывает и возвращается вместе с ним. Мама зажигает свет.

— В волости был. Мимоездом завернул. Какая-то бумага тебе, сваток... — и подает мне из-за пазухи пакет.

Я уже невольно боюсь всяких бумаг. Нервничая, вскрываю пакет, ловлю глазами буквы...

— Ну? Что там? Что молчишь?

— Это от воинского начальника, — отвечаю неровным голосом. — Для чего-то вызывают на ту среду. Может, за билетом…

Всей правды не говорю им сразу. Там написано, что вышел новый закон и все белобилетники должны явиться на повторный врачебный осмотр.

«Возьмут снова», — жжет у меня под сердцем.

— А писем, дядя, нет? — будто бы равнодушно и спокойно спрашивает невестка. И вдруг всхлипывает, не сдержавшись.

— Нет... Спрашивал... Нету... — виновато отвечает своей осиротевшей племяннице сват и часто-часто моргает глазами. — Чему удивляться: теперь же, то и знай, пропадают письма в дороге, — старается сказать он веселей и очень торопится домой.

— Что-то не пишет наш Стефан, — вздыхает отец.

А мама не говорит ни слова.

Молчит мама...

* * *

И сват ушел, и лампу давно опять погасили, и все уснули, спят, а я не могу заснуть. Много раз лаяли собаки за садом у гумна и по дворам, пели петухи, лилось на пол из-под маленького Василька, племянника моего. Думал я, что будут его, бедного, завтра бить за эту провинность. И думал о своей жизни. Вспомнил, как сам был ребенком, и часто казалось тогда, что очень мне тяжко на этом свете, а не знал, не понимал, что то детское горе будет теперь счастьем казаться.

«Убьют теперь... Вот тебе и новая жизнь... Ну и черт ее бери, такую жизнь, — не жаль...»

Но какой-то ком подкатился к горлу, и все заныло.

И так переходами думалось то о лучшем, то о худшем. А вообще — все неладно, мерзко, тяжко...

Письмо

Дорогой наш товарищ Лявон Задума!

Пишем мы тебе, твои боевые батарейные товарищи с позиции, из Восточной Пруссии, что мы, слава богу, живы и здоровы, чего и тебе желаем, доброго здоровья и всякого успеха в делах твоих.

И сообщаем тебе, дорогой товарищ, что махорочку и бумагу получили, и не так дорог гостинец, как дорога память, что не забыл ты нас, как мы страдаем за матушку Расею и за все на свете. Искренне благодарим Андрея Николаича Сухого и всех тех граждан, его и твоих знакомых, что сложились для нас на махорочку, чтобы веселей нам тут было. Посылаем им всем наш низкий поклон, от ясных очей до сырой земли.

Также и тебе, наш боевой товарищ Лявон Задума, посылаем свой низкий поклон и привет и радуемся, что остался ты при ноге, а не отрезали, и что на побывку домой пустили. Гуляй, веселись там, пока можно погулять, а если заберут снова

и пошлют на фронт, от чего тебя пусть бог хранит, то старайся все-таки опять в свою родную батарею попасть, потому что могут в другую часть послать.

Еще кланяется вам ваш добрый знакомый, старший батарейный фельдшер Семен Семенович Лебедкин, и ваши добрые знакомые, батарейные санитары Абрам Фельдман и Мирон Лобков и желают вам доброго здоровья и всего наилучшего.

Еще кланяется вам старший телефонист Пашин и вся команда телефонистов и разведчиков, а также все батарейцы, которые вас помнят и не забывают.

А что вы спрашиваете про вашего дорогого товарища Гиршу Беленького, то у всех нас тяжело на сердце, сообщая, что в последнем бою погиб наш славный товарищ и Георгиевский кавалер 1-ой и 2-ой степени Гирша Беленький геройской смертью, когда под смертоносным огнем ходил соединять перебитый провод.

А брат старшего телефониста Лаптева писал нынешнему старшему телефонисту Пашину с родины, из Костромской губернии, что умер Лаптев в госпитале в Москве на операции.

Еще убили у нас его благородие прапорщика Вильгельма Георгиевича Валка, пусть будет ему вечная память за доброе сердце и справедливость к нижним чинам.

Еще убили ездового с телефонной двуколки Ехимчика и еще некоторых менее знакомых вам людей из батарейной прислуги. А то больше всего было раненых, и много кого ранило тяжело, так что старых батарейцев теперь осталось в батарее мало, хотя некоторые уже повозвращались снова, однако более всего теперь новые люди, которых вы не знаете. Батареей командует его высокоблагородие, недавно произведенный в подполковники Антон Антонович Смирнов, командир боевой и человек к нижнему чину, можно сказать, справедливый.

Еще на батарее теперь капитан Диамантов, который раньше был в обозе. А также приехал недавно из командировки поручик Пупский, уже произведенный за выслугу лет в штабс-капитаны. И ни в чем он не изменился, так что сами знаете... (Написанное дальше — густо замазано.) Всех повысили в чине и дали награду. Только штабс-капитан Домбровский остался в своем чине, часто болеет и находится теперь, можно сказать, все время в штабе бригады. Также там и подпоручик Кульгацкий, адъютантом, давно уже. А поручик Иванов заболел и лечится в Вильно.

Жена покойного командира батареи прислала всем нам гостинцев на Рождество и каждому батарейцу фотографическую карточку покойного командира, вечная ему память. Так-

же прислал на батарею пуд махорки отец покойного подпоручика Сизового.

Скалозубого подпрапорщика Смирнового разжаловали в фейерверкеры за продажу казенного добра и перевели в другую батарею. Фельдфебель Хитрунов был ранен в плечо и теперь находится в обозе. Также там и Шалопутов, простым ездовым, хоть и юнкер, и где он был все время, неизвестно, а недавно объявился в обозе.

И ты спрашиваешь, боевой наш товарищ Лявон Задума, были ли еще бои и какие изменения и новости. Так что бои были большие, а какие изменения и новости, то мы тебе главные описали. В том бою, когда ты был ранен, бросили мы два разбитых орудия, а шесть, дал бог, вывезли и ночью отступили назад в горы. А теперь снова стоим на его земле и надеемся тут перезимовать.

Еще раз низко кланяемся и желаем здоровья и успеха в делах и чтоб хорошо погулял и поправился.

Остаемся твои боевые товарищи, курим махорочку и вспоминаем тебя.

За всех писал ваш покорный слуга, старший фельдшер 2-ой батареи N-ской артиллерийской бригады, Георгиевский кавалер Семен Семенович Лебедкин.

СОДЕРЖАНИЕ